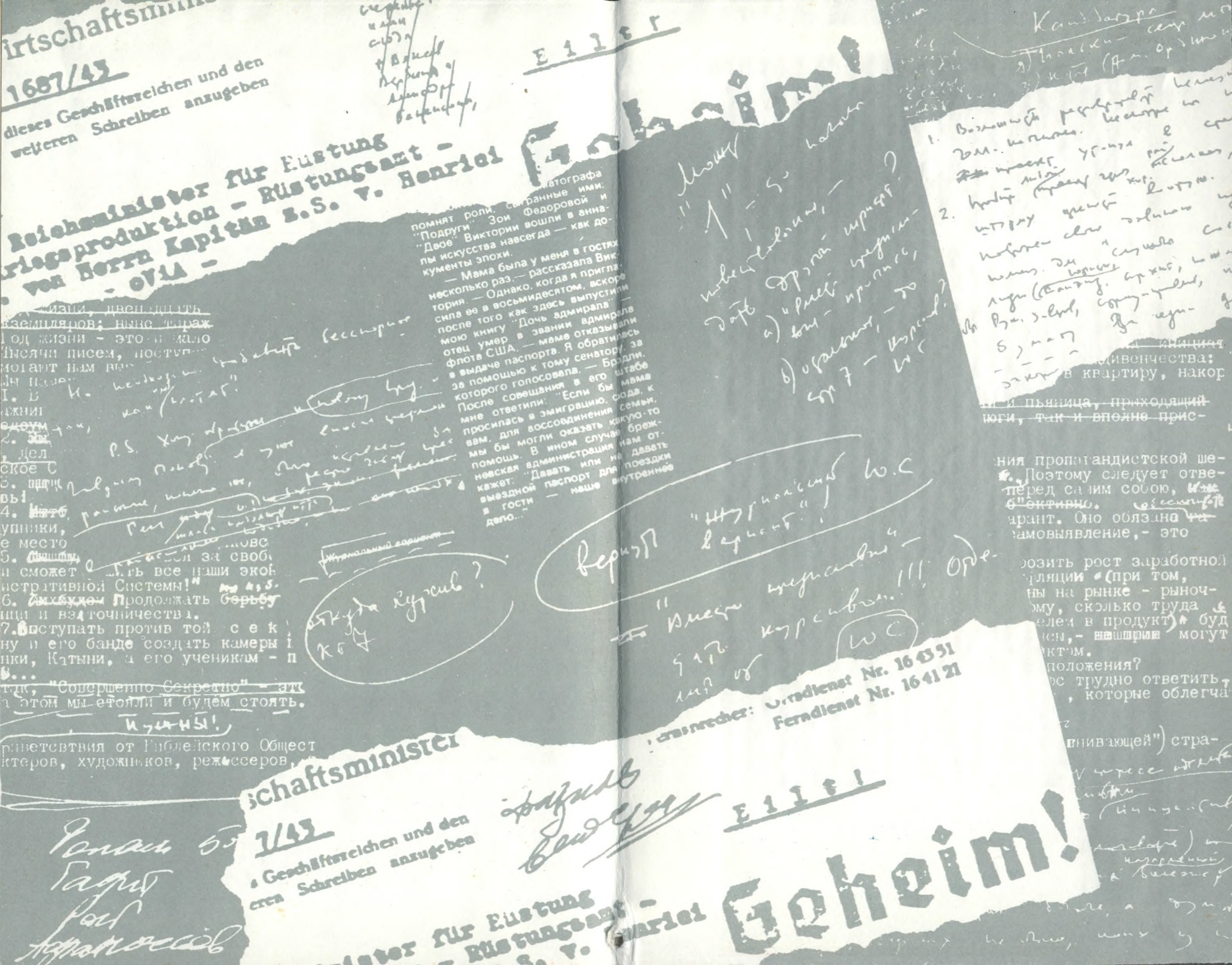
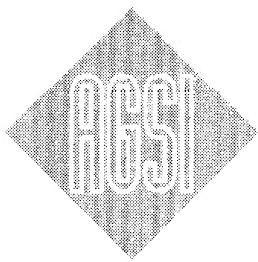
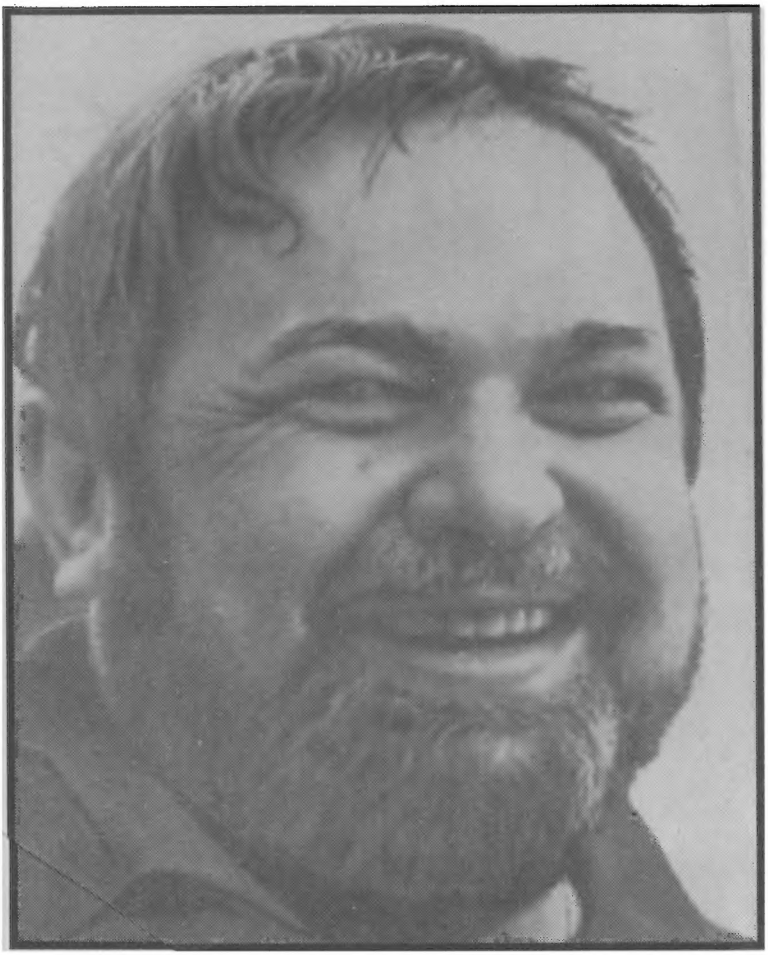
ЮЛИАН СЕМЕНОВ
ЮЛИАН СЕМЕНОВ
17


irtschaftsmini
1687/43
dieses Geschäftszeichen und den
weiteren Schreiben anzugeben
Reichsminister für Rüstung
Kriegsproduktion - Rüstungsamt -
von Herrn Kapitän z.S. v. Henriei
- OVA -
Eilt
помнят роли, сыгранные ими:
"Подруги" Зои Федоровой и
"Двое" Виктории вошли в анна-
лы искусства навсегда — как до-
кументы эпохи.
— Мама была у меня в гостях
несколько раз,— рассказала Вик-
тория.— Однако, когда я пригла-
сила ее в восьмидесятом, вскоре
после того как здесь выпустили
мою книгу "Дочь адмирала" —
отец умер в звании адмирала
флота США,— маме отказывали
в выдаче паспорта. Я обратилась
за помощью к тому сенатору, за
которого голосовала,— Бродли.
После совещания в его штабе
мне ответили: "Если бы мама
просилась в эмиграцию, сюда, к
вам, для воссоединения семьи,
мы бы могли оказать какую-то
помощь. В ином случае нам от-
невская администрация не давать
кажет: "Давать или не давать
выездной паспорт для поездки
в гости — наше внутреннее
дело..."
Год жизни - это и мало
Тысячи писем, поступ
мотают нам
ское С
е место
и сможет ... все наши эко
нистративной Системы!"
6. Продолжать борьбу
щи и взяточничества.
7. Выступать против той с е к
ну и его банде создать камеры
ики, Катыни, а его ученикам - п
так, "Совершенно Секретно" - эт
на этом мы стояли и будем стоять.
приветствия от Библейского Общест
ктеров, художников, режиссеров
ния пропагандистской ше-
Поэтому следует отве-
перед самим собою,
арант. Оно обязано
самовыявление,- это
розить рост заработной
инфляции (при том,
ны на рынке - рыноч-
ому, сколько труда
елей в продукт) буд
могут
ктом.
положения?
ос трудно ответить,
, которые облегча
вающей") стра-
в квартиру, накор
ния пропагандистской ше-
schaftsminister
Fernsprecher: Ortsdienst Nr. 16 43 51
Ferndienst Nr. 16 41 21
Eilt
Geheim!

Антон Семенович

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ





Thomas

Семья

ТОМ СЕМНАДЦАТЫЙ

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Москва
ЭГСИ
1997

ББК 84. ЗР7
С 30

Художники
М. ШЕСТОПАЛ
В. ПОМОЧИЛИН, В. БЕЛЯКОВ

© Ю. Семенов, 1961
© Составление, подготовка текста–Фирма ЭГСИ, 1997

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

ГЛАВА I

1

Струмилин сел в машину и сразу же полез за папиросами. Последние пять лет он всегда очень помногу курил и перед медицинской комиссией и после нее.

«Старая перечница,— зло подумал он о старике профессоре, который загнал его в барокамеру и выкачивал воздух до уровня, соответствующего пяти тысячам метров,— ему приятно играть на нервах, этому эскулапу...»

Старик профессор смотрел на Струмилина, ставшего в барокамере зеленым, вздыхал и грустно покачивал головой. А потом он сказал:

— Плохо, очень плохо, батенька вы мой...

И написал в личном деле Струмилина: «пятая группа». Пятая группа — последняя летная. Дальше — пенсия, достаточная и почетная. И все. Прощай, небо, прощай, Арктика!

Струмилин сидел в машине, курил и смотрел на часы. Чем дольше он смотрел на часы, тем больше злился. Когда он выходил, в вестибюле его окликнул Фокин из отдела перевозок и попросил подвезти.

— Я через пять минут, Павел Иванович,— сказал он,— подождите пять минут меня, ладно?

Но прошло уже десять минут, а Фокина все не было. А Струмилин особенно сердился, когда ему приходилось ждать. Неважно, кого, зачем и почему. Работа в полярной авиации выработала в нем непреложную привычку: опаздывать можно не больше чем на сорок секунд. От силы на минуту.

Однажды, еще в самом начале, в тридцать третьем году, он опоздал на аэродром в Тикси минут на пять. Его первый командир и учитель Леваковский усмехнулся и сказал:

— Опаздывают престарелые кокетки, сутенеры и неврастеники. Точность — вежливость королей, и хотя я против монархии, но тем не менее лучше иметь дело с аккуратным эрцгерцогом, чем с расхлыстанным комсомольцем. Vous comprenez?

Струмилин смешался, покраснел, а потом весь перелет до острова Птичьего мучился из-за того, что не ответил: «Oui, monsier...» Ему тогда казалось, что эта фраза, сказанная с легкой усмешкой, должна была парализовать тот взрыв смеха, который вызвали слова Леваковского у экипажа. Струмилин пролетал с Леваковским четыре года и каждый раз поражался изумительной точности этого человека.

Леваковский не любил, когда штурман, расписывая маршрут и время полета, говорил:

— Будем минут через двадцать пять-тридцать...

— Точнее, пожалуйста,— просил Леваковский.

— Как точнее?

— А вот так. Точнее.

Штурман хмурился, отходил к своему столику и через несколько минут говорил оттуда:

— Вы должны прибыть точно через двадцать семь минут.

— Благодарю вас,— отвечал Леваковский и улыбался, прекрасно понимая, почему штурман делал ударение на слове «вы», а не говорил, как это было принято, «мы». Леваковский весь подбирался и сажал самолет точно через двадцать семь минут.

Сначала Струмилина сердил этот, как ему казалось, никому не нужный и раздражавший педантизм, но потом незаметно для себя самого он стал подражать Леваковскому и сердиться на штурмана, когда тот давал приблизительные данные.

Пролетав с Леваковским два года, Струмилин стал так же поглядывать на часы, если кто-либо задержи-

вался хоть на минуту. И так же как Леваковский, он делал выговор опоздавшему вне зависимости от того, кто был опоздавший.

Однажды Струмилин подошел к самолету, когда собрался уже весь экипаж. Леваковского не было. Струмилин глянул на часы и обомлел: командир корабля опаздывал на три минуты. Когда Леваковский пришел через пятнадцать минут, Струмилин мстительно сказал:

— Опаздывают престарелые кокетки, сутенеры и...

— И неврастеники,— перебил его Леваковский, засмеявшись.

Уже в самолете, когда легли курсом на мыс Челюскин, Струмилин узнал, отчего так опоздал командир. Он, оказывается, сидел на радиоцентре и принимал сообщение из Москвы о том, что у него родился сын.

Струмилин снова посмотрел на часы. Фокин опаздывал теперь уже на пятнадцать минут.

— Ну его к черту,— сказал Струмилин,— пусть в другой раз будет точным.

Он выбросил папиросу и нажал на кнопку стартера. Машина рванулась с места. Когда Струмилин сердился, он ездил особенно быстро. Милиционеры на Кутузовском проспекте узнавали его большую черную машину и никогда не свистели вдогонку, если он выходил на осевую линию, нарушая этим правила движения. Они улыбались ему вслед и вздыхали, потому что тайком завидовали Струмилину. Милиционеры, так же как и мальчишки, всегда завидуют полярным летчикам.

Струмилин обычно собирался сам. Даже когда была жива его жена Наташа, он все равно собирался сам: не торопясь, загодя, очень тщательно подбирая вещи и экономно складывая их в большой желтый чемодан, сплошь заклеенный разноцветными штемпелями отелей всего мира.

Собираясь, он пел, причем всегда одну и ту же песню:

Эх, выехал охотник
Да во чистое поле,
Там птицы летают
В высоком просторе...

Уложив чемодан, Струмилин проверил его на вес: не тяжел ли? Он ненавидел, когда чемодан разбухал и его приходилось из-за этого перебрасывать с руки на руку. На этот раз чемодан был уложен с первого раза точка в точку. Струмилин похвалил себя и поставил чемодан на маленький столик возле двери. Он заметил, что большая желтая наклейка, которую приляпали на чемодан в аэропорту Басры, сейчас почти совсем оторвалась. Сначала Струмилин решил совсем оторвать ее, но потом он вспомнил старика. В джунглях рядом с домом того старика он жил две недели. Это был очень интересный старик, мудрый и спокойный. Он целыми днями сидел на солнце и грел ногу. У него болело колено. И еще все время кашлял. Струмилин замечал, как старик сдавал день ото дня. Однажды вечером, когда Струмилин возвращался с аэродрома домой через пальмовую рощу, он увидел старика. Старик стоял около высокой пальмы и плакал. Потом он медленно обхватил пальцами теплый пахучий ствол дерева и полез вверх, переступая босыми ногами по толстым выступам на коре. Пальма была высокая, и поэтому кора на ней загрубела и стала как камень. Пальма пахла зноем. У нее был запах пустыни — сухой, пряный и резкий. Движения старика были спокойные, а потому сильные. Старик не прижимался к стволу дерева: это было бы свидетельством страха. Он был как наездник сейчас, этот больной старик. Он лез, чуть откинувшись назад, точно как наездник. Пальма, как и конь, друг человека: пальма кормит, конь возит.

Старик лез свободно, почти совсем не прилагая усилий, откинув корпус и подняв голову, чтобы все время смотреть через стрельчатую крону пальмы.

— Что это он? — тихо спросил Струмилин у переводчика.

– Умирает,– ответил тот.– Прощается с небом.

Струмилин усмехнулся и снял чемодан с маленького столика. Он поставил его на пол и пошел искать клей. Ему захотелось получше прикрепить наклейку из Басры, чтобы она не оторвалась совсем во время полетов над Арктикой.

2

Женя пришла домой в десять часов. Струмилин сидел у окна и курил.

– Ты что, папа?

– Ничего, малыш. Просто курю.

– Тебе плохо?

– Нет. Мне совсем не плохо,– сказал Струмилин и вздрогнул.– Давай сходим куда-нибудь, а? Ты не занята?

– Ну что ты...

– Очень устала?

– Совсем не устала,– соврала Женя, потому что она очень устала на сегодняшних съемках. Но отец был как-то не похож на себя: сгорбленный и постаревший. Женя поцеловала его, погладила по щеке и сказала:

– Через пять минут я буду готова.

Они поехали в ресторан «Украина» и сели за единственный свободный столик у самой эстрады.

– Мы не сможем говорить,– сказал Струмилин,– наверное, они очень громко играют.

– Будем кричать.

– Тогда нас с тобой выведут, как мелких хулиганов.

– Кричать – это хулиганство?

– В общем – да. Нужно говорить тихо, если хочешь, чтобы тебя услышали и поняли правильно.

– Папа заговорил афоризмами, у папы плохое настроение,– улыбнулась Женя.– Что ты, папочка?

– Я? – переспросил Струмилин.– Я котлету по-киевски. А ты?

Женя засмеялась и подумала: «У него что-то случилось. Это совершенно точно.» Она обернулась, чтобы посмотреть, на каком столе можно взять меню, и увидела совсем неподалеку второго оператора Нику. Он сидел с приятелем и с двумя девушками. Девушки были такие, о которых друг ее отца журналист Андрей Новиков говорил: «раскладушки». Ника смотрел на Женю нахмурившись, не мигая, зло. Женя почувствовала, как у нее похолодели щеки. Струмилин тоже заметил Нику, краешком глаза глянул на Женю и отвернулся.

«Красавец парень,— подумал он.— Значит, подонок. Боюсь я красивых что-то...»

Струмилин снова взглянул на Нику и сразу же вспомнил своего следователя в кенигсбергской тюрьме. Его подбили под Пиллау, и он попал в плен, обгоревший, израненный, почти без сознания. Сначала его поместили в госпиталь. Там кормили с ложки чем-то очень вкусным. Вкусным тогда ему казалось все кислое. Потом его чуть подлечили, и к нему в палату зашел офицер из «люфтваффе». Он осведомился о здоровье Струмилина. Говорил он на чистом русском языке, с вологодским оканьем, и Струмилина это поразило. Офицер угостил Струмилина турецкими сигаретами, спрятал ему под подушку еще две пачки и спросил:

— Хотите почитать газеты?

Струмилин молчал.

Офицер пожал плечами и сказал:

— Давайте говорить откровенно, ладно?

Струмилин снова ничего не ответил.

— Слушайте,— тихо и грустно спросил офицер,— вы умный человек или обыкновенный коммунист?

— Обыкновенный коммунист,— ответил Струмилин.

— Ясно. Значит, джентльменский разговор у нас с вами не получится?

— С вами — нет.

— Зря. Мы армия, с нами можно иметь дело. Если не мы, тогда гестапо, понимаете?

– Понимаю.

– А знать мы хотим немногое. Раньше вы таскали к нам легкие бомбы, теперь вы таскаете тонные. Чья это техника? Петляков, Микоян или Туполев? И все. Дальше мы примем свои меры. Понимаете?

Струмилин отвернулся к стене и закрыл глаза. Вечером его перевели в тюрьму и сразу же бросили в карцер. Там он сидел два дня. Потом его отвели на допрос. Следователь был красив юношеской красотой, нежной и ломкой. Он был похож на Нику, только он все время улыбался, даже когда Струмилин терял сознание от боли. Следователь прижигал незажившие ожоги спичкой и улыбался, а Струмилин выл и терял сознание.

«Я сошел с ума,– одернул себя Струмилин,– дикость какая! При чем тут этот парень?»

Струмилину стало мучительно стыдно своих мыслей, он виновато посмотрел на Женю, кивнул головой на Нику и сказал:

– Хороший парень, зря ты с ним поссорилась.

– С трусом нельзя ссориться.

– Ты имела возможность убедиться в его трусости?

– Да.

– И ты можешь мне рассказать об этом?

– Конечно. Наш постановщик Рыжов сидит на съемках с температурой, потому что не может болеть дома, пока идут съемки. Ты же знаешь его, он все время волнуется. В Голливуде подсчитали, что самая большая смертность в возрасте до сорока лет – у режиссеров: разрыв сердца или полное нервное истощение. Ну вот... А главный оператор очень спокойно относится к картине, и он,– Женя кивнула на Нику,– все время жаловался мне на главного, что тот спокоен.

– Так это же хорошо.

– Что?

– Если спокоен,– усмехнулся Струмилин.

– Он слишком спокоен,– сказала Женя, нахмурившись,– а это уже рядом с равнодушием: что бы ни снимали, ему все равно. Поставит свет и – жужжи себе ка-

мера... И когда мы собрались на летучке, я сказала, что мы, молодые, очень озабочены операторским качеством отснятого материала. А главный оператор спросил меня: «Кто это "мы, молодые"?» Нас на летучке было двое молодых: я и Ника. Он опустил голову и не сказал ни слова, хотя говорит об этом всем в коридорах. А он обязан был встать вместе со мной. Он не сделал этого. Это даже не трусость, пожалуй. Это подлость. И не крупная, а мелкая, мышиная. Я сказала ему, что не хочу его больше знать. И мне это больно.

— Да?

— Ну, не то чтобы очень больно,— ответила Женя тихо,— а просто такое ощущение, будто надела мокрое платье...

3

Богачев долго раздумывал, пойти в ресторан или пораньше лечь спать, чтобы завтра явиться по начальству первым, ровно в девять ноль-ноль. Но в раскрытые окна доносилась музыка. В ресторане играл джаз. Богачев любил джаз. Поэтому он достал из кармана записную книжку и начал листать ее. Странички с литерами были пусты: книжку он купил только вчера и только из-за того, что ему понравилась обложка, сделанная под черепаховую кожу. Правда, перед отъездом из училища великий ловелас Пагнасюк дал Павлу несколько телефонов в Москве.

— Девочки экстра-пума-прима класс,— сказал он,— море нежности, бездна целомудрия и все такое прочее. Позвони, два галантных слова, тыр-пыр, восемь дыр — и вечер у тебя будет обеспечен. Что касается ночи, то все зависит от степени твоей оперативности.

Богачев достал листок, на котором Пагнасюк записал имена и телефоны, сел к столу и начал звонить. Он набрал первый номер — номер, по которому должна была ответить Роза.

— Можно Розу? — спросил Богачев, когда подошли к телефону.

– Розка! – закричал кто-то на другом конце провода.– Розу вашу просят!

Потом в трубке надолго замолчали.

– Алло,– прошамкал старушечий голос,– кого тебе?

– Розу.

– Колька, что ль?

– Нет.

– Чего «нет»? Не слышу разве? Нет ее, упорхнула твоя Розка в кино.

И повесили трубку.

Богачев набрал следующий номер и попросил Галю.

– Одну минуточку,– ответили ему,– сейчас Галя подойдет.

Богачев закурил и стал рисовать на бланке гостиницы чертиков и женские ножки.

– Я слушаю,– сказала Галя.

– Я тоже.

– Бросьте шуточки, кто это?

– Богачев.

– Какой Богачев?

– Летчик Богачев.

– Вы не туда попали.

– Почему? Туда попал. Вы Галя?

– Да.

– Мне ваш телефон Пагнасюк дал, Леня Пагнасюк.

– Он рыжий?

– Он не любит, когда о нем так говорят. Он белокурый.

Галя засмеялась и спросила:

– Что вам надо?

– Многое.

Она снова засмеялась.

– Многого у меня нет.

– Может, сходим поужинаем куда-нибудь?

– Я уже собралась спать, что вы...

– Жаль.

– Если хотите, завтра.

– Я не знаю, что будет завтра.

Галя сказала близко в трубку, шепотом:

– Сейчас это неудобно по ряду причин...

– Муж дома?

Она засмеялась:

– Конечно...

«Вот сволочь!» – подумал Богачев и сказал:

– До свиданья.

Он не стал звонить по другим телефонам Пагнасюка.

«Все-таки Ленька подонок,– подумал он,– я всегда думал, что он подонок. Неужели ему мало незамужних? В замужних можно влюбляться серьезно, а не так, как он».

Богачев повязал свой самый модный галстук и пошел вниз, в ресторан. Он спускался по лестнице, прыгая через три ступеньки, загадав при этом, что если он сможет спуститься вниз в такой темпе, ни разу не нарушив его, то вечер сегодня будет хороший и интересный. На самом последнем пролете он споткнулся и вошел в зал, прихрамывая: он подвернул ногу, и она заболела тупой, ноющей болью.

В зале было только одно свободное место: за тем столиком, где сидел Струмилин с Женей. Богачев спросил:

– У вас не занято?

Струмилин вопросительно посмотрел на Женю. Она ответила:

– Нет, пожалуйста.

«Какая красивая! – подумал Богачев.– И где-то я ее видел».

– Простите, я вас не мог видеть в Балашове? – спросил Богачев Женю.

– Вряд ли,– ответила она,– я там была, когда мне еще не исполнилось семи лет.

– Вас понял,– сказал Богачев,– прошу простить.

И он занялся меню.

– Хочешь сигарету? – спросил Струмилин.

– Спасибо, пап, не хочется. Я сегодня на съемках перекурилась.

«Она актриса,– понял Богачев,– я видел ее в картинах. Вот дубина, приставал со своим Балашовом!»

Богачев выбрал себе еду, решил выпить немного сухого вина и кофе по-турецки.

– Сегодня Рыжов говорил мне любопытные вещи,– рассказывала Женя отцу. Она наморщила лоб, вспоминая.– Сейчас, погоди, я скажу тебе точно его словами. Он мне объяснял эпизод, когда я могу сделать очень выгодную партию с нелюбимым человеком и нахожусь на распутье. Он объяснял мне так: лавочник, спящий с женой под пуховым одеялом, считает безумцем и чудаком полководца, спящего под серой суконной шинелью. Лавочник не в состоянии понять, что д о с т и г н у т о е – скучно, как скучна стрижка купонов. Понятие д о с т и г н у т о г о широко: это понятие распространяется от зеленной лавки до обладания полумиром. Полководцу будет скучнее, чем лавочнику, если он будет делать все то, что ему хочется. Высшая форма наслаждения – знать, что м о ж е ш ь. Высшая форма самоуважения – знать, что можешь заставить мир положить к твоим ногам яства, богатства, женщин – и не заставлять мир делать это. Лавочник заставил бы...

– Любопытно,– сказал Струмилин,– хотя чуточку эклектично.

Богачев покраснел и сказал:

– А по-моему, это чистая ерунда.

– Чистая? – улыбнулся Струмилин.

– Чистая – в смысле абсолютная.

– Почему так? – спросила Женя.

– Потому, что лавочник никогда не станет полководцем. Это раз. И еще потому, что полководец спит под суконной шинелью раз пять в году – для журналистов, писателей и приближенных историков. Это два. А то, будто высшая форма наслаждения – знать, что можешь,– бред. Это три. Каждый гражданин должен знать, что он все может, и незачем это его созна-

ние считать чем-то исключительным. Наслаждение исключительно.

Струмилин и Женя переглянулись. В глазах Струмилина заблестели веселые огоньки.

— Вы не философ, случаем? — спросил он.

— Нет,— ответил Богачев,— к счастью, я не философ. А ваша работа в кинематографе,— он посмотрел на Женю,— мне очень нравится. Вы здорово играете: честно, на все железку.

Струмилин засмеялся, а Женя сказала:

— Спасибо вам большое.

Богачев смутился и начал внимательно изучать меню, хотя заказ он уже сделал.

«Не хватало, чтобы я в нее влюбился,— подумал он.— Романтичная получится история».

Джаз заиграл медленную, спокойную музыку. Богачев поднял голову, посмотрел на Женю и попросил:

— Давайте пойдем потанцуем, а?

Женя поднялась из-за стола и ответила:

— Пошли.

Они танцевали, и Женя все время чувствовала на себе взгляд Ники.

— Ваш папа не будет сердиться? — спросил Богачев.

— Нет, не будет.

— Вы танцуете так же хорошо, как играете в кино.

— Вы тоже очень хорошо танцуете.

— Я знаю.

Женя улыбнулась.

— Нет, верно, я знаю. Я учился в школе танцев, когда был в ремесленном.

— Что вы делали в ремесленном?

— Вкалывал.

— Вкалывали?

— Ну да.

— А зачем же школа танцев?

— Обидно было. Школьники все пижоны, а мы работяги. Ну вот, я и решил постоять за честь рабочего

класса. Мы ходили к ним в школу на вечера и танцевали, как боги.

— Как боги?

Теперь засмеялся Богачев.

— Это к тому, что нам неизвестно, как танцуют боги и танцуют ли они вообще?

— Конечно.

— Боги танцуют,— убежденно сказал Богачев.— Боги танцуют липси, когда им грустно.

Музыка кончилась. Богачев шел с Женей между столиками. Ника смотрел на Женю. Ей вдруг стало весело и захотелось показать ему язык. Почему ей захотелось это сделать, она не поняла, но желание такое появилось, и оно было острое. Жене стоило труда удержаться и не показать Нике язык.

«Почему его зовут Ника? — подумала она.— Так зовут балованных детей. Это хорошо, что его зовут Никой. Если бы его звали как-нибудь по-мужски, мне бы не захотелось показать ему язык. И мне было бы неприятно танцевать с другим. А мне приятно танцевать с этим парнем, хотя он весь какой-то непонятный и смешной. Но это хорошо, когда мужчина смешной. Значит, он смелый. Или — добрый».

Когда они пришли к столу, Струмилин уже расплатился.

— Пойдем, Жека,— предложил он,— пойдем, дочка, а то мне завтра рано вставать. Спасибо тебе, мне было хорошо. И все стало хорошо, потому что мы зашли сюда с тобой.

Когда они ушли, Богачев подумал: «Ничего страшного. Я найду ее на студии. И ни за что не буду к ней звонить по телефону. Очень нехорошо звонить женщине по телефону».

4

Первый, кого Богачев увидел в кабинете командира отряда Астахова, был давешний мужчина из ресторана, отец Жени.

— Познакомьтесь, Павел Иванович,— сказал Астахов, когда Богачев представился ему,— это ваш второй пилот.

— Здравствуйте. Зовут меня Павел Иванович. Фамилия — Струмилин.

— Струмилин? — поразился Богачев. — Тот самый?

Астахов засмеялся и сказал:

— Тот самый.

— Где вы учились? — спросил Струмилин.

— В Балашове.

— У Сыромятникова?

— Да.

— Он прекрасный пилот.

— Вы лучше.

Струмилин поморщился: парень слишком грубо льстит.

— Я правильно говорю,— словно поняв его мысли, сказал Богачев.— Сыромятников — прекрасный педагог, но как пилот — он же старый.

— Между прочим, он моложе меня на три года,— хмыкнул Струмилин,— так что впредь будьте осмотрительны в оценках.

— Это приказ или пожелание?

Струмилин посмотрел на Астахова. Тот опустил глаза и принялся сосредоточенно просматривать старую газету, почему-то лежавшую на его столе уже вторую неделю.

— Я не люблю приказывать,— пожевав губами, сказал Струмилин,— а тем более советовать. Советуют мамы девицам. И, как правило, без пользы.

— Павел Иванович,— сказал Астахов,— я коротенько обрисую ситуацию, хорошо?

— Конечно, Сережа, я весь внимание.

— Прогноз дали на весну скверный. Лед уже сейчас начал крошиться, а до новолуния еще ждать и ждать. Пурги идут с юга, все время мучают обледенения, жалуются ребята. Я бы просил вас сначала заняться местными транспортными перевозками — надо забросить

грузы на зимовки, а уже потом переключиться на обслуживание науки. Самолет ваш подготовили, так что завтра можно уходить на Тикси. Вот, собственно, и все.

— А в остальном, прекрасная маркиза,— пошутил Струмилин,— все хорошо, все хорошо!

Когда Струмилин и Богачев вышли от Астахова, Струмилин спросил:

— Кстати, вы знаете, что такое чечако?

— Кажется, новичок — по Джеку Лондону.

— Верно. Так вот, если не хотите казаться в Арктике чечако, сбрейте усы. Тем более они у вас какие-то худосочные.

— Вы же не любите советовать. А тем более приказывать.

— А это не то и не другое. Это пожелание.

— Тогда разрешите мне все же остаться чечако.

— Как знаете.

Струмилин козырнул парню и пошел к машине.

И все-таки Богачев позвонил к Жене. Струмилинский номер телефона он нашел в отделе перевозок. Он долго ходил вокруг аппарата в нерешительности, а потом сел на краешек стола и набрал номер.

К телефону подошел Струмилин.

— Можно попросить вашу дочь? — сказал Богачев.— Это говорит второй пилот Павел Богачев.

Струмилин, слушая голос Богачева, даже зажмурился: так он был похож по телефону на голос покойного Леваковского.

— Мою дочь зовут Женя. Сейчас ее нет, она на студии. У нее сегодня ночные съемки.

— Простите, пожалуйста.

— Ерунда.

— Ну, все-таки...

Струмилин хмыкнул и предложил:

— А вы позвоните часов в одиннадцать. Она должна прийти к одиннадцати.

— Это удобно?

— Черт его знает... Думаю, удобно.

– До свиданья, Павел Иванович.
– Пока, дорогой.
– До завтра.
– До завтра.
– В шесть ноль-ноль на Шереметьевском?
– Точно.
– Ну, до свиданья.
– Привет вам. И все-таки сбрейте усы...
– Я не сбрею усов. И если вас не затруднит, спросите вашу дочь, можно ли мне написать ей из Арктики.
– Спрошу.
– Спасибо.
– Не на чем.
– Еще раз до свиданья.
– Еще раз.

И Богачев положил трубку. Он долго сидел у телефона и улыбался.

5

Начальник порта нервничал. Ему нужно было отправить лошадей на остров Уединения, а никто из летчиков везти лошадей не хотел.

Когда начальник порта пригласил к себе Бобышкина, командира дежурного экипажа, тот рассердился и стал кричать:

– Бобышкин – яйца вози, Бобышкин – собак вози, Бобышкин – лошадей вози! Скоро Бобышкина заставят верблюдов возить или жирафов! Хватит! У меня катаральное состояние верхних дыхательных путей, я не обязан возить ваших меринов.

– Не меринов, а лошадей! – крикнул ему вдогонку начальник порта.– И прошу тут не выражаться!

Он почему-то очень оскорбился на «меринов» и долго не мог успокоиться после ухода Бобышкина. Он чинил все имевшиеся у него карандаши и бормотал:

– Меринов, видите ли! А я могу здесь держать меринов и кормить их! Сам он мерин! Яйца ему надоело возить! А есть яйца ему не надоело? Тоже мне мерин!

Начальник порта решил пойти к Струмилину, который только что вернулся с острова Врангеля.

«Если он тоже откажется, мне в пору гнать этих проклятых кобыл по льду. Но об этом не напишут в газетах»,— подумал он, и, поставив, наконец, охапку карандашей на то самое место, которое он искал уже в течение пяти минут, начальник порта поднялся из-за стола и, одернув френч, пошел на второй этаж, в гостиницу летсостава.

Струмилин сказал:

— А, милый мой Тихон Савельич, прошу, прошу!

Начальник порта вошел к нему в номер, присел на краешек кровати, вздохнул и сказал трагическим голосом:

— Ситуация очень серьезная, товарищ Струмилин.

— Что такое?

— Транспортный вопрос местного значения под серьезной угрозой срыва.

— Погодите, погодите,— остановил его Струмилин,— я что-то ни черта не понимаю. Объясните спокойнее, без эмоций.

— Лошади могут погибнуть,— сказал Тихон Савельич,— а их надо перебросить на Уединение.

— Какие лошади?

— Транспорт местного назначения, так в сопроводиловке написано. Здесь у меня уже третий день в складе стоят. Никто не хочет везти. Бобышкин говорит, что ему яйца надоели, кричит, что я ему жирафов каких-то подсовываю, отказывается лошадей везти, а у меня сердце разрывается: животные страдают.

— И вы хотите, чтобы я их отвез на Уединение, да?

Начальник порта вздохнул и молча кивнул головой.

— Ладно,— сказал Струмилин,— не печальтесь. Будут ваши мерины в полном порядке.

— При чем тут мерины, я не могу понять? — удивился начальник порта.— Они такие же мерины, как я кандидат наук. Бобышкин обзывает их меринами, вы тоже.

— Мерином не обзывают.

— Неважно. Мерин — это изуродованный жеребец, а тут все в полном порядке: жеребцы и кобылы.

Струмилин рассмеялся и проводил Тихона Савельевича до двери. Богачев поднялся с кровати, зевнул, потянулся и спросил:

— Снова будем ишачить с грузами?

— Сплошной зоологический жаргон,— усмехнулся Струмилин,— что это сегодня со всеми приключилось?

— Надоело, Павел Иванович. Люди на лед летают, на полюс, а мы как извозчики.

— А мы и есть извозчики. Прошу не обольщаться по поводу своей профессии. Чкалов говорил, что, когда на самолете установили клозет, небо перестало быть стихией сильных. Vous comprenez?

— Oui, monsieur,— ответил Богачев,— je comprends bien!

Струмилин так и замер на месте. Он сразу вспомнил, как хотел ответить Леваковскому, когда тот спросил его «vous comprenez», но ответить он смог бы только «oui, monsieur», потому что больше на знал. А этот парень не засмущался, как тогда он сам, а ответил. И не два слова, а пять.

6

Тихон Савельевич подогнал лошадей к самолету Струмилина. Пурга только что кончилась, снег искрился под солнцем и казался таким же красным, как небо. От лошадей валил пар, потому что Тихон Савельевич гнал их через весь аэродром галопом. Экипаж еще не подошел, у самолета возились бортмеханик Володя Пьянков и второй пилот Богачев. Пьянков прогрел моторы и, выскочив из самолета, подбросил ногой пустую консервную банку прямо к унтам Богачева. Они посмотрели друг на друга, улыбнулись и начали играть «в футбол». Они сосредоточенно бегали вокруг самолета, стараясь обвести друг друга, как взаправдашние футболисты, но унты были тяжелы, а меховые куртки гро-

моздки, поэтому они часто падали и смеялись так, что Тихон Савельевич только сожалеюще качал головой.

«Не тот пошел пилот,— думал он, глядя на ребят, — не чувствуют себя пилотами, всей своей значительности не осознают. Пилот, он по земле как почетный гость ходить должен, а эти носятся безо всякого к себе уважения».

— Когда будем товар грузить? — спросил Тихон Савельевич.— Мерзнет товар, а он живой, у него тоже сознание есть.

— У лошади сознания нет,— сказал Богачев,— у лошади животная сообразительность.

— И привязчивость,— добавил бортмеханик Володя,— граничащая с женской.

Тихон Савельевич шумно вздохнул: он понял, что с этими ребятами ни о чем путном не договоришься. Надо было ждать Струмилина.

Струмилин пришел, как обычно, минута в минуту по графику вылета.

— Все готово? — спросил он Володю.

— Да.

— Все в порядке?

— Да.

— Как левая лыжа?

— Думаю, еще дня два проходим.

— Где будем менять?

— Или в Крестах, или здесь.

— Тихон Савельевич,— спросил Струмилин,— а там могут лыжи сменить?

— Смогут.

Струмилин посмотрел на лошадей, потом обернулся к Богачеву и, почесав нос рукавицей, ставшей на морозе наждачной, сказал:

— Паша, давайте загонять эту скотину.

— Их ведь по трапу не загонишь, Павел Иванович,— ответил Богачев,— они не проходили стажировки в цирке.

— По доскам,— сказал Тихон Савельевич,— вы доски бросьте, а я их заведу.

— А там как?

— Там стреножим и привяжем.

— Как бы нам не привезти конскую колбасу,— сказал Богачев,— зимовщики будут огорчены, очень я почему-то боюсь этого.

Тихон Савельевич заводил лошадей никак не меньше часа. Он и ласкал их, и кричал на них, и бил их рукавицами по мордам, и подталкивал сзади, когда те упирались и не хотели идти по доскам в самолет. Со стороны это было очень смешно. Это очень смешно, если не видеть лошадиных глаз. В них застыла такая смертная, невысказанная тоска, что Струмилин даже закурил, хотя еще в Москве перед вылетом дал себе зарок никогда не брать в рот папиросы.

— Не бейте,— попросил он Тихона Савельевича, когда тот в исступлении начал колотить кулаками по крупу самую последнюю лошадь — большую добрую кобылу с длинной гривой,— не надо ее бить, давайте мы ее по-хорошему заведем.

Струмилин достал из портфеля пачку сахару, открыл ее и стал кормить кобылу с ладони.

— Мы ее по-хорошему уговорим,— приговаривал Струмилин.— Давай, лошадка, не бойся, заходи к нам в гости. Мы же здесь летаем и совсем не боимся.

Струмилин долго уговаривал лошадь, но она так и не пошла за ним в самолет.

Володя Пьянков уже несколько раз поглядывал на горизонт, становившийся все синей и синей. Иногда проносился ветер — он шел длинными стрелами, и там, где он проходил, штопорился снег. Богачев понял его: Володя боялся, что погода сломается и придется сидеть здесь, вместо того чтобы вырваться на Уединение, отвезти злополучных лошадей, а там уже уйти с транспортных перевозок на обслуживание науки.

Богачев смотрел, как Струмилин бился с лошадью и кормил ее сахаром. Он долго наблюдал за Струмилиным, и чем дальше он наблюдал за ним, тем приятнее ему становился командир.

«Он очень добрый,— думал Богачев,— оттого и ворчит на нас. Ворчат только добрые люди. Злые молчаливы и улыбчивы».

Богачев подошел к Струмилину и попросил:

— Павел Иванович, разрешите, я попробую?

Богачев зашел на доски, взял лошадь за повод, обмотал его вокруг кисти и, чуть не падая на спину, потянул лошадь в самолет. Лицо его сделалось красным.

— Не надо так сильно,— попросил Струмилин,— осторожнее, Паша, мы и так знаем, что вы сильный.

Богачев еще туже натянул повод, и лошадь пошла за ним, то и дело закрывая глаза.

Когда лошадей привязали, Тихон Савельевич попросил Богачева:

— Вы там осторожнее, а то товар совсем изнервничается в воздухе-то.

— Довезем,— пообещал Богачев и помахал начальнику порта рукой.

Тихон Савельевич отошел в сторону, Володя запустил моторы, Богачев захлопнул люк, запер его и пошел на свое место — справа от Струмилина.

— А ну-ка, взлетайте,— вдруг сказал Струмилин,— я погляжу, как вы это делаете.

Сегодня он решил в первый раз дать ему штурвал. Богачев поудобнее уселся в кресле, расстегнул кожанку, достал из бокового кармана платок и вытер лоб. Все это он делал спокойно, без рисовки, и Струмилину понравилось, что он вел себя так.

Богачев развернул самолет и посмотрел на след от левой лыжи. Ее немного распороло во время какой-то посадки, и Струмилин очень волновался, как бы ее не разворотило совсем. Достаточно было попасться на взлетной площадке хотя бы одному камешку, и лыжу разворотит, а это плохо, потому что самолет может опрокинуться.

— Вроде без изменения,— сказал Богачев Струмилину, показав глазами на след лыжи.

— Хорошо.

— Можно идти?

— Спросите диспетчера.

— Сначала я спрашиваю вас.

— Благовоспитанность — вот что отличало Павла Богачева с детства,— хмыкнул Струмилин,— завидное качество представителя современной молодежи.

— Беспощадная ироничность,— заметил Богачев,— вот что отличало лучшего представителя старшего поколения завоевателей Арктики.

— Можно давать газ? — перебил Богачева Володя.— А то мы как в японском парламенте.

Струмилин боготворил Володю Пьянкова и прощал ему все: Володя по праву считался лучшим механиком в Арктике и поэтому мог говорить все всем в глаза, не считаясь с «табелью о рангах».

Когда Богачев вырулил на взлетную полосу и диспетчер разрешил ему вылет, Струмилин встал со своего места и вышел взглянуть, что с лошадьми. Как раз в это время бортмеханик Володя стал пробовать перевод винтов. Моторы взревели. Лошади заржали и заметались. Но они были крепко привязаны и поэтому сорваться не могли. Это, наверное, пугало их еще больше, и они ржали до того жалобно, что Струмилин поскорее вернулся в кабину.

— Давайте скорее,— сказал он Богачеву,— там лошади мучаются.

Володя дал газ, и самолет начал разгон.

«Взлет — прекрасен, полет — приятен, посадка — опасна»,— вспомнил Богачев старую присказку пилотов. Взлет прекрасен. Самолет несся по снежной дороге, набирая скорость. Моторы ревели, и в рев их постепенно входил тугой, напряженный и злой визг. Сигнальные огни мелькали все быстрее и быстрее.

— Еще газу! — сказал Богачев и в тот же миг почувствовал, как точно и ровно Володя подбавил газу. Краем глаза Богачев увидел командира: Павел Иванович сидел, сложив руки в желтых кожаных перчатках на коленях, и покачивал головой: по-видимому, в такт какой-то песне.

Богачев осторожно принял штурвал на себя, и машина, задрав нос, подпрыгнула несколько раз подряд, а потом на какую-то долю секунды словно повисла в воздухе.

Володя сбавил режим работы моторов, и машина спокойно перешла в набор высоты.

Струмилин открыл глаза, пригладил виски и сказал:

— Молодец! Красиво.

Лицо Богачева расплылось в улыбке, и он сказал:

— На том стоим, Павел Иванович.

— Хвастовство — вот что отличало представителя молодого поколения завоевателей Арктики.

— Спокойная уверенность в своих силах,— поправил его Богачев,— которая резко отличается от хвастовства.

— Снова японский парламент,— сказал Володя.

— Французский,— поправил его Струмилин.— В японском бьют физиономии, а у нас только словесный обмен мнениями.

Большую часть пути прошли спокойно, видимость была хорошая, и ветер попутный. Но когда стали снижаться, ветер изменился и стал боковым, видимость резко ухудшилась, и началась болтанка. Богачев вышел в туалет, а вернуться обратно не смог. Во время одного из кренов, пока он был в туалете, нога того коня, который вошел в самолет первым, попала между деревянными планками дубового ящика. Конь не удержался и упал. Он упал, словно человек во время гражданской казни, на колени.

«Сейчас я освобожу ему ногу»,— подумал Богачев и хотел было подойти к коню, но та кобыла, которую он затаскивал силой и которая сейчас была ближе всех к нему, взбросила зад и чуть не стукнула его по голове. Богачев успел отскочить.

— Что ты? — спросил он.— Я же хочу помочь.

Он снова пошел к коню, и снова кобыла не пропустила его.

«Они теперь не верят,— решил Павел,— и ни за что не поверят».

Глаза у коня все больше и больше наливались кровью, и он продолжал молчать, а это плохо, когда глаза наливаются кровью и когда молчат при этом. Это значит, гнев так велик, что ему не излиться в крике.

Богачев хотел пройти с другой стороны, но там его не пропустил второй конь. Он тоже взбросил зад, когда Богачев хотел пройти мимо, и тоже чуть было не угодил Павлу по голове.

— Эгей! — крикнул Павел, но в кабине его не слыхали из-за рева моторов.

«Идиотизм какой,— подумал Павел,— что же мне тут — сидеть?»

Минут через десять выглянул штурман Аветисян.

— Что с вами? — спросил он.

— Я в лошадином плену.

— Не можете пройти?

— Вы же видите.

— Плохо дело.

— Куда как хуже...

— А как мы будем их выводить отсюда?

— Не знаю. Думаю, без трагедии не обойдется. Чертовы лошади!

Богачев снова попробовал пройти, но снова кобыла взбросила зад, и он отскочил. Так ему и пришлось сидеть в хвосте до самой посадки...

На Уединении лошадей вывел каюр, работавший здесь на собаках. Он набросил аркан на шею кобыле, отвернул ее морду, а его помощник в это время перерезал веревки, мешавшие ей идти. Так же он вывел второго коня. Когда он вывел третьего коня, вожака, тот заржал и бросился от людей к торосам. Он убежал в торосы, миновал их, упав несколько раз, потому что лед обдуло и снега не было, а поэтому было очень скользко, и оказался в тундре.

Каюр гонялся за ним до ночи. Потом он пришел в зимовку и сказал Струмилину:

— Погубили вы коня. Веры в нем теперь нет.

Он взял винтовку и ушел. А через час где-то вдали сухо хрястнул выстрел. Каюр вернулся и начал чистить винтовку в столовой. Там в это время ужинал струмилинский экипаж. Каюр долго чистил винтовку, а потом сказал:

— Акт подпишите, а то ревизий потом не оберешься.

Струмилин бросил вилку на стол и сказал:

— Торопливый ты стал, как погляжу!

— Старый,— посмотрев ему в глаза, ответил каюр,— старый я стал, Павел Иванович. И не хорохорюсь, как некоторые.

Струмилин вышел из-за стола. Тарелка с гуляшем осталась нетронутой. Богачев поковырял вилкой в своей тарелке и пошел следом за Струмилиным.

— Живодер ты,— сказал Володя Пьянков каюру и стал наливать себе крепкий чай в большую чашку с синим рисунком, изображавшим лето в пионерском лагере.

7

Каюра звали Ефим. Он был старый и добрый знакомец Струмилина. В тридцать девятом году он вез его на собаках сто с лишним километров в пургу — к доктору, на противоположную оконечность острова. У Струмилина из-за воспаления надкостницы началось общее заражение крови. Вмешательство доктора было необходимо. Самолет не мог подняться из-за пурги. Тогда каюр молча пошел в котух, выпустил собак, запряг их; так же молча вернулся в зимовку и стал у двери.

А потом он вез Струмилина через пургу, и Струмилину сквозь забытье слышалось, как Ефим пел частушки.

Он прожил вместе с ним у доктора неделю, дожидаясь исхода болезни. Когда Струмилину полегчало и температура пошла на убыль, он посадил его в сани, укутал дорогим узбекским ковром и повез к ненцам. Те стояли промыслом в самом центре острова. Ненцы

любили Ефима за удаль и простоту. Он поселился вместе со Струмилиным в яранге у стариков и попросил их полечить пилота. Старики кормили Струмилина медвежьим салом и поили оленьей кровью – теплой, приторно-горькой на вкус. И очень сытной. Струмилин выпивал стакан оленьей крови и сразу же засыпал. Старики сидели вокруг него, поджав под себя ноги, и курили. Дней через шесть Струмилин проснулся ранним утром и почувствовал в себе звенящую, тугую радость. Один из стариков улыбнулся и сказал:

– Если ты хочешь любить женщину, значит ты выздоровел.

Каюр Ефим, зевая, заметил:

– Вечно вы, папаша, ерничаете. Тут у человека зубы крошатся, а вы, извините, про это дело разговор заводите.

Струмилин захохотал, поднялся и начал делать зарядку.

Ефим смотрел на него изумленно. А старик ненец молча курил и чуть заметно усмехался.

Каюр заглянул в комнату к Струмилину, когда в столовой зимовки начался фильм. После ужина на всех зимовках Советской Арктики начинаются просмотры кинокартин. Столы в маленькой столовой сдвигаются в одну сторону, на стену вешается экран, из всех пяти или десяти комнат зимовки в столовую приходят люди, и начинается строгий, сосредоточенный просмотр. Одну кинокартину смотрят редко. Как правило, смотрят подряд две или три.

– Ты что, осердился на меня, Пал Иваныч? – спросил Ефим.

– Нет, с чего ты?

– Вилку бросил, гуляш не докушал.

– Ты здесь ни при чем.

– Тогда ладно. А я думал, ты из-за меня. Жаль коня-то, веру он потерял. Да... А как я его стрелять стал, так он левым боком повернулся. Сердцем. Я его и так и сяк – ни в какую. Зуб скалит, пену пускает, хрипит.

У нас уж было так однажды. Только молодой летчик-то вез, неопытный. Ну, я и удивился: ты — и вдруг так коня спортил!

— Это не я. Это небо.

Ефим вздохнул и полез за куревом.

— Как охота? — спросил Струмилин.

— Медведя много.

— Так на него же запрет.

— То-то и оно, что запрет.

— У меня сутки отдыха: время свое вылетали. Давай сходим в океан? Нерпу забьем...

— Когда?

— Когда хочешь...

— Может, завтра поутру? У меня лунка есть хорошая. Там наши океанологи шустрят — лунка большая, нерпа на музыку прет.

— Тебе бы фельетонистом быть, Фима.

— Злости во мне мало.

— Злость — дело наживное, это не доброта.

— Ну-ну... Доброту легче нажить, чем злобу-то.

— Ладно, я с тобой спорить не могу. Легче так легче. Давай завтра в океан махнем, там поговорим на спокойствии.

— Давай. А сейчас поспишь?

— Посплю.

— Хорошее дело. Спи спокойно.

— А ты?

— Я собак пойду кормить.

8

Спать Струмилину не пришлось: в комнату влетел Богачев. Он сел на кровать и стал шумно стягивать с себя унты, продолжая зло чертыхаться.

— Что с вами, Паша? — спросил Струмилин.

— Злюсь,— ответил Богачев.— Кино там показывают про сталеваров — позор, да и только! Розовые сопли.

— Не эстетично.

– Тем не менее.

– Старый, наверное, фильм.

– Позапрошлого года.

– Очень старый. Я в Москве перед отлетом смотрел картину Райзмана. «Мальчик девочку любил». Честный фильм. Мужественный и добрый.

– Я тоже смотрел этот фильм. Он называется «А если это любовь?».

– Верно. У вас хорошая память.

– Только мне этот фильм активно не понравился.

– Да?

– Да.

– Что так?

– Хлюпиков не люблю.

– Кто их любит...

– Выходит, любят, если посвящают им целый фильм.

– Вы не правы, Паша. Фильм посвящен тем, кто его смотрит: людям. И этот фильм людей предостерегает.

– Не надо людей предостерегать,– жестко сказал Богачев,– людям надо все время напоминать об их правах и обязанностях.

– Ого,– хмыкнул Струмилин,– а ну, дальше давайте.

– Дальше? А дальше этот парень из райзмановской картины должен был бы в морду дать каждому, кто не так посмотрел на его чувство. Зубами надо было драться: конституция такую драку одобрила бы, это точно. А так – герой мозгляк, и все.

– Да?

– Да. Надо уметь драться за то, во что веришь по-настоящему.

– У вас курево есть, Паша?

– Есть. «Казбек», только почему-то самаркандский.

– Встречные перевозки.

– В общем он ничего, только суховатый.

Струмилин закурил.

— Нет, вкусные папиросы,— сказал он,— просто очень вкусные.

— Это потому, что запретный плод сладок.

Струмилин улыбнулся.

— Знаете, Паша, меня очень пугает, что вы, ваше поколение категоричны в оценках. И предельно рациональны. А я в молодости плакал над страданиями молодого Вертера. И при этом работал в ЧК — по борьбе с бандитизмом.

Сказав так, Струмилин смутился, потому что ему показалось нескромным то, что он сказал.

— Это неверно,— помолчав, сказал Богачев.— Вы, Павел Иванович, в двадцатые годы тоже были категоричны в оценках. И тоже предельно рациональны. Мы продолжаем вас, только мы теперь в школе изучаем и атомную физику и полеты в космос.

— Умнее вы нас, значит?

— Нет. Просто образовываемся чуть пораньше.

— Ого! — снова хмыкнул Струмилин.

— Так это ж правда,— сказал Богачев и начал раздеваться,— и потом это не наша заслуга. Это ваша заслуга. Нам-то что, нам легче, только нас верно понимать надо. Без этого ссор будет много.

— Кого с кем?

— Отцов с детьми, Павел Иванович.

— Думаете?

— Убежден.

9

«Когда они говорят, они убеждены в своей правоте и верят в то, что их правда — самая верная,— думал Струмилин, глядя на уснувшего Богачева,— и это, конечно, очень хорошо. Он прав, мы были такие же. И мы сейчас тоже такие, только мы вдвое старше их и поэтому делаем больше сносок. Мы больше тяготеем к размышлению, они — к утверждению или отрицанию. Они категоричны, и, он прав, в этом дух времени. Но все-таки всякая категоричность — и отрицания и ут-

верждения – однобока и слепа. Любая категоричность самовлюбленна, а нет ничего страшнее самовлюбленности. Потому что самовлюбленность порождает эгоизм и сухую рациональность. А это ужасно. Это одинаково ужасно и в женщине, и в политическом деятеле, и в ребенке. И потом это порождает фанатизм, а нет на земле ничего страшнее фанатизма».

Струмилин вспомнил, как следователь в кенигсбергской тюрьме кричал:

– Кретин, фанатик! Ты фанатик, понимаешь?! А фанатиков надо жечь на кострах! Их всегда жгли на кострах, и сейчас их надо жечь!

– Не фанатиков жгли,– ответил Струмилин тогда,– а фанатики жгли.

Спора у них не получилось, потому что следователь сначала разозлился, а потом стал избивать Струмилина.

Струмилин смотрел на спящего Богачева и вспоминал, как он, возвращаясь из Ирака, прилетел в Ливан. Он должен был плыть из Бейрута на польском пароходе. Он ни разу в жизни не плавал на пароходе и поэтому взял себе билет не на самолет, а на пароход. У него осталось четыре свободных дня, и он немного поездил по Ливану. Струмилин вспоминал, как он приехал к Нотр Дам дэ Либан. Моросил дождь. Капли дождя о чем-то быстро шептались с накрахмаленной листвой пальм. Далеко-далеко внизу рассерженное непогодой Средиземное море хлестало тугими зелеными волнами в серые прибрежные камни. Водяная пыль висела в воздухе тяжелым табачным облаком. Оно росло, ширилось, поднималось вверх, сюда в горы, к храму Богоматери Ливана – Нотр Дам дэ Либан.

Струмилин долго стоял у балюстрады и смотрел на море. Он любил смотреть в море, когда был один. Но ему не пришлось долго смотреть в море, потому что сзади кто-то осторожно кашлянул. Струмилин обернулся. Рядом с ним стоял человек в черной сутане. Волосы у него были с проседью, борода совсем седая, а глаза удивительно мягкие и добрые.

– Добрый день,– сказал человек в сутане.

– Добрый день,– ответил Струмилин на плохом немецком языке.

– Вы пришли молиться? Сейчас начнется служба, прошу вас в храм.

– Спасибо, но я неверующий.

– Простите?

– Я неверующий.

– Вы мусульманин?

– Нет. Ну, как бы вам это объяснить? – сказал Струмилин смущенно и повертел пальцами.– Я вообще неверующий. Атеист.

Вокруг мягких глаз человека в сутане собрались мелкие морщинки.

– Как вы можете жить без веры?

– Почему же без веры? У меня есть вера.

– А... Я понимаю... Вы – оттуда... Понимаю... Но ваша вера отрицает бога. Вам не к кому обращать молитвы. Или у вас принято обращать молитвы к живым?

Струмилин усмехнулся. И его собеседник тоже усмехнулся. Они внимательно посмотрели друг на друга, и Струмилин увидел в его глазах что-то такое, что его здорово рассердило.

– Христос – легенда. Это знают даже дети. Лучше – «обращать молитвы» к живым, чем к пустоте, к мертвой пустоте.

– Все мои дети верят живому Христу.

– Сколько их у вас?

Человек широко развел руками, словно обнимая мир.

– У вас обет безбрачия?

– Да.

– У вас нет своих детей?

– Нет.

– И вы счастливы?

– О да!

– Не верю я вам,– сказал Струмилин.– Нет жизни без детей.

– Все люди – мои дети. Моя мать со мной,– он поднял скорбные, добрые глаза к огромной скульптуре Богоматери Ливана,– а отец мой – бог. Он несет спокойствие людям, а спокойствие – это счастье.

– Ну, не знаю,– усмехнулся Струмилин,– по-моему, спокойствие – это скучно. И неинтересно.

– Вы же не пробовали быть спокойным. Таким, как я,– сказал человек в сутане.– Вы же сторонники опыта, а не догмы. Попробуйте, потом отвергайте.

Струмилин повернулся на другой бок и усмехнулся.

«Вот сволочь какая! – подумал он.– Правду говорят, русские задним умом сильны. Обыграл меня поп, а я и не понял тогда ни черта. Ладно. Давай-ка лучше спать, новообращенец... Завтра пойду в океан бить нерпу и смотреть медведя. Это занятие на отдыхе. Вообще на отдыхе надо людям в обязательном порядке ходить в зоопарк. Это было бы очень хорошо, если бы люди ходили на отдыхе в зоопарк...»

Струмилин снова посмотрел на спящего Богачева, и снова ему захотелось курить. Но ему захотелось курить по иной причине, не как раньше. Ему вдруг стало очень хорошо и спокойно. Он смотрел на спящего Богачева и думал: «Этого парня не переиграл бы старичок из Нотр Дам дэ Либан. Этот парень врезал бы старичку сполна, потому что он не любит церемониться».

10

Когда Богачев проснулся, койка Струмилина была уже пуста.

– Геворк Аркадьевич,– спросил Богачев штурмана Аветисяна,– а командир где?

Аветисян завязывал узел нового галстука, купленного Володей Пьянковым в Диксоне за баснословную сумму – два рубля девяносто копеек. Он завязывал галстук уже в десятый раз, стараясь сделать так, чтобы на узелке обязательно получился красный цветок. Поэтому он ответил не сразу, а лишь после того, как убе-

дился, что и одиннадцатая его попытка оказалась тщетной.

– Командир уехал на собачках.

– Жаль.

– Что?

– Жаль, говорю, не знал, я бы с ним поехал.

Богачев выскочил из-под одеяла и начал делать зарядку, подойдя ближе к открытой форточке, из которой валил воздух – белый, как дым на пожаре.

– Зачем вы мучаетесь? – спросил Богачев, заметив, что Аветисян снова начал завязывать узел.

– Сколько денег человек уплатил!..– ответил Аветисян, кивнув головой на Володю.– Двадцать девять рублей уплатил, так уж завязать надо как следует.

– Не двадцать девять,– поправил его Богачев,– а два девяносто.

– Я мыслю двумя категориями: дореформенной и пореформенной.

– Но тем не менее галстук вы завязываете неправильно.

– Что говорите?! – рассердился Аветисян.– Стильно завязываю, как надо завязываю!

– Володя,– попросил Богачев Пьянкова,– пусть Геворк Аркадьевич разрешит мне завязать.

– Я сейчас этот проклятый галстук,– сказал Володя,– пущу на ветошь. Аветисян меня с ним изводит, спать не дает, теперь ты. Вам этот галстук, как быкам красная тряпка.

– Не считаете ли вы себя тореадором? – спросил Аветисян.

– Нет. Я считаю себя идиотом. Струмилин делал мне выговоры в течение полугода из-за того, что у меня стертый галстук. Так вот я решил ублажить командира. Ей-богу, Геворк, дайте ему галстук.

Богачев сразу же завязал галстук так, как хотел Аветисян. Тот придирчиво осмотрел работу, покачал головой, пощелкал языком и, чтобы скрыть зависть, сказал неопределенно:

– В Париже это делают лучше, но... и так стильно.

Богачев засмеялся и, взяв полотенце и зубную щетку, ушел умываться. Он вернулся минут через десять и, причесываясь перед зеркалом, укрепленным на стене между окнами, сказал:

— Я бы с тем человеком, который изобрел слово «стиляга», маленько побоксировал.

— Вы меня радуете, Паша,— сказал Аветисян,— ваша непосредственность граничит с детским визгом на лужайке.

— Это не детский визг на лужайке, Геворк Аркадьевич. Слово «стиляга» производное от слова «стиль». Стиль барокко, например. Смешно, если бы про итальянских архитекторов эпохи Возрождения говорили — «стиляги», а? Кого у нас называли стилягами? Тех, кто хорошо и модно одевался. Какой-нибудь идиот, надев широкие брюки, считал себя настоящим советским человеком, а тех, кто носит пиджак с разрезом,— чуть ли не контрреволюционерами. Горький писал, что наши люди должны быть одеты красиво; кажется, он писал, что мы должны прогнать серый цвет из одежды.

— Да, но я люблю серый цвет,— высунув голову из-под подушки, сказал бортрадист Наум Брок.

Все засмеялись. Засмеялся и Богачев, хотя несколько позже остальных.

— А у нас дяди из местной промышленности решили всех одеть стариками и старухами. А тех, кто не хочет одеваться по-стариковски, клеймят и называют стилягами. Чушь какая! Вот молодежь и стала бросаться в другую крайность.

— Сказал старик Богачев,— добавил Геворк Аркадьевич.

— А как ты относишься к фарцовщикам, которые перекупают у иностранцев пиджаки? — спросил Наум.

— Плохо,— ответил Павел,— я считаю их идиотами и подонками.

— Вопросов больше не имею,— сказал Брок.— Какие будут замечания у защиты? Володя, почему ты молчишь?

— Есть хочу.

– Что ты еще хочешь?
– Помидор хочу.
– Приобщаем к делу.
– Слушай, тебе бы прокурором быть.
– В следующем году поступлю на юридический.
– Из тебя прокурор не выйдет.
– Почему?
– Ты добрый.
– Спасибо, утешил.
Богачев сказал:
– А ну вас к черту, ребята, я о серьезном, а вы шутки шутите!
– Есть хочу,– тягуче повторил Пьянков,– и помидор тоже.
– Не глумись,– попросил Брок,– Паша в полемическом запале, а ты о хлебе насущном. Стыдно.
– А ну вас,– повторил Богачев и предложил: – Геворк Аркадьевич, пошли перед завтраком партию бильярда сгоняем, а?
– Только вы не будете меня терзать вашими разговорами, ладно?
– Не буду,– пообещал Павел, и они пошли в маленькую комнату около столовой, где стоял старый бильярд.

После завтрака Богачев надел меховую куртку и отправился гулять. По дороге он заглянул в дом к радисту Сироткину, чтобы передать ему две банки сгущенного молока для медвежонка, прозванного зимовщиками Королем Павлом. Медвежонок был совсем маленький, а поэтому ласковый. Он очень любил сгущенное молоко и игру в футбол. Радист Сироткин спал на кровати, а медвежонок лежал у него в ногах и грыз книгу. Он вопросительно посмотрел на Богачева и сразу же стал теребить Сироткина. Тот проснулся, увидал банки сгущенного молока и сказал:
– Спасибо. Что, снова радиограмму хочешь передать?
– Хочу.

– Молоко – взятка?

– Взятка.

– Сейчас я тебе раскупорю взятку,– сказал Сироткин медвежонку.– А ты пиши текст на бланке.

– Я уже написал,– сказал Богачев и положил текст радиограммы рядом с банками сгущенного молока.

Сироткин прочитал вслух:

– «Кутузовский проспект, 52, 123, Струмилиной. Прилетел на остров Уединения. Живем тут второй день. Здесь солнце ночью. Напишите мне, потому что я жду и загадал на счастье. Богачев».

– Не пропущу,– сказал Сироткин,– это шифровка какая-то.

– Это не шифровка,– вздохнул Богачев,– это значительно серьезнее.

– Понял, Король Павел? – обратился Сироткин к медвежонку.– Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны... Слушай, Богачев, у нас в старину таких радиограмм любимым женщинам не посылали.

– Смущаюсь я,– сказал Богачев и нахлобучил шапку.– Передай, когда на дежурство заступишь.

– Ладно.

– Пока.

– Будь здоров, не гоняй коров.

– Будет сделано.

Богачев сказал эту фразу, подражая Райкину. Сироткин визгливо засмеялся и начал открывать банку молока большим трофейным тесаком.

11

Собаки бежали быстро.

– Эге-гей, кормильцы! – кричал каюр Ефим.– Вперед, вперед, нерпой накормим! Скорей дрогнули, лаечки!

Он запряг собак цугом, и сейчас, после того как они миновали торосы и вышли на хороший наст, упряжка понеслась так стремительно, что заболели щеки от снега и ветра.

Струмилин сидел позади Ефима, обхватив его руками, и смеялся.

«Считают, будто льды однообразны,— думал он.— Ерунда какая! Они прекрасны, эти полярные льды! Я понимаю Деда Мазая, и мне просто жаль тех, кто не понимает его».

Дедом Мазаем зовут в Арктике старейшего полярного аса, Героя Советского Союза, известного всей стране. Летая в Арктике, он заочно окончил Академию художеств. И сейчас, сделав посадку на лед, он сразу же ставит себе палаточку, горелку, достает краски, холст, мольберт и на сорокаградусном морозе пишет льды. Он пишет льды уже много лет, и нет для него большей радости, чем смотреть на суровый ландшафт, окружающий его, и видеть каждый раз новые цвета и оттенки, и стараться поймать их и перенести на холст, и подарить людям ту радость, которую испытывает он сам.

Собаки неслись по снежному насту, поднимая ослепительно белую пыль. Вдали, сливаясь с небом, громоздились льды. Они были красно-синие. Они светились этими цветами изнутри.

— Ты покормил собак, Ефим?

— Разве можно их кормить перед дорогой? Собак можно кормить вечером, когда они поработали. Они получают еду как награду.

— Еду — как награду?

— А как же...

— Это плохо.

— Это для людей плохо, а для собак правильно. Иначе они разбалуются, и мне придется их здорово колотить, пока я из них не выбью дурь.

Сучки, бежавшие слева от упряжки, стали падать и кататься по снегу на спине.

— Блохи?

— Нет. Это к пурге. Ну, дрогнули! — заорал Ефим.— Дрогнули, собачки! Нерпой угостим! А ну, скоренько пошли!

— Думаешь, успеем?

— Успеем.

– А откуда потянет?

Ефим оглянулся и показал рукой на северо-восток. Струмилин увидел там густо-синее небо, которое с каждой минутой все больше и больше светлело вдоль надо льдами. Оно светлело так, будто калилось изнутри. Струмилин поплотнее затянул кашне и приподнял воротник куртки.

Они успели распрячь собак, затопить в палатке газовую печку, очистить ото льда большую лунку – и началась пурга. Она пришла сразу, и все окрест сделалось непроглядно белым.

Струмилин и Ефим сидели около печки. Ефим открывал патефон, а Струмилин подбирал пластинки. Нерпы любят музыку. Они любопытны вообще, а музыку они любят, как старые девы – непременные посетительницы всех концертов в филармонии.

Струмилин выбрал пластинку, которая называлась «Солнце скрылось за горою». Это хорошая солдатская песня, спокойная и мужественная. Струмилин сидел у газовой печки, грел над синим огнем застывшие пальцы, смотрел на зеленую воду океана, которая дышала в лунке, то поднимаясь, то опускаясь вниз, и вспоминал август сорок первого года, пыльные проселки и зной, злость и отчаянье.

– Что, загрустил? – спросил Ефим.

– Да нет, просто вспоминаю войну.

– Из-за песни?

– Да.

– А я так и не попал на войну. Не пустили. А братьев – Федю и Колю – убили. Одного в плену, а другого под Гжатском. Вот и я остался теперь один.

– Так есть же сын?

Ефим ничего не ответил и вздохнул. Он молчал, и Струмилин молчал, и оба они слушали солдатскую песню и смотрели на зеленую воду океана, которая дышала.

– Он мне прислал письмо,– сказал Ефим,– ругается, что я денег ему мало высылаю. А я ему полови-

ну всех денег шлю. Мало, пишет.

— Пошли его к черту. Отец не обязан кормить взрослого сына.

— Сын — всегда сын. Даже взрослый.

— Вот на голову и сел.

— Тебе хорошо говорить, у тебя дочка умница. И глаз за ней отцовский был. А я своего на честность пустил, вот такой и вырос.

— Честный?

— Да нет. Подлый.

— Подлость и честность — такие понятия не вяжутся, Ефим.

Струмилин сразу же вспомнил Леваковского, который погиб в тридцать восьмом году как «враг народа». Его тогда заочно исключали из партии. Все летчики голосовали за его исключение. Все верили, что Леваковский враг, потому что представитель НКВД зачитал его показания. И Струмилин тоже верил и тоже вместе со всеми гневно выступал против человека, который жил рядом, а на самом деле был скрытым врагом, чужим, холодным и расчетливым убийцей. Тогда все хладнокровие и уверенность Леваковского в себе показались Струмилину отвратительными качествами маскирующегося врага.

«Кто бы мог подумать!» — говорили летчики друг другу. Эта страшная фраза была тогда обычной, горькой, но все-таки самоочищающей.

После Пленума ЦК, когда было сказано о «перегибах», Струмилин подумал: «А что, если с Леваковским тоже?» И он написал письмо Берии. Его вызвали в НКВД, и человек в пенсне, с двумя ромбами на петлицах спросил его:

— Вы, что же, не верите нашим славным органам? Имейте в виду, сомневающийся — враг.

— Я не сомневаюсь. Я хочу знать правду и помочь правде, если она запятналась ложью.

— Чьей? — закричал человек.— Чьей ложью? Мы стиснуты со всех сторон врагами! Классовая борьба обострилась, как никогда! Частные ошибки исправле-

ны. Общая линия — кристальна и честна! Мне стыдно слушать вас, Струмилин. Вы ли говорите это: герой и коммунист?

Человек то начинал кричать, то, глухо откашлявшись, переходил на шепот. У него были очень быстрые руки с разработанными кистями. Он то и дело передвигал по полированному столу мраморные туши чернильного прибора.

— Не знай мы вас, можно было бы расценивать ваше письмо как вражеское. Но мы тут посоветовались с товарищами, и я еще раз просмотрел дело Леваковского. Он шпион. Он сам сознался во всем, этот ваш Лева́ковский.

И человек протянул Струмилину два листка бумаги, на которых почерком Леваковского было написано все о связях с немецкой и японской разведками и с бухари́нским подпольем.

Струмилин читал и чувствовал, как у него холодеют руки и ноги: так страшно было все написанное Леваковским. Он кончил читать, возвратил два листка, исписанных убористым почерком, и сказал:

— Спасибо, товарищ комдив. У меня больше нет сомнений.

...Лишь много лет спустя Струмилин узнал, как смогли добиться от Леваковского таких лживых показаний...

— И все-таки ты не прав, Ефим,— сказал Струмилин, поставив новую пластинку,— честный не может быть подлецом. Честный может быть обманут. Только он не может быть ни подлецом, ни трусом. Подлецом может быть враг.

Из лунки высунулась усатая мордочка нерпы. Ефим вскинул карабин.

— Не надо,— попросил Струмилин,— пусть слушает. А собакам мы раздобудем сушеной рыбы в зимовке.

— Жаль бить?

— Жаль. Не мы ее нашли, а она нас. Это не охота, это убийство...

Когда пурга кончилась, Струмилин пошел гулять. Он лазал по торосам, рассматривал медвежьи следы и

жалел, что охота на медведей запрещена: следов было много, все они были свежие, не иначе как ночные.

Потом они приготовили на газовой плитке обед, выпили спирту, и Струмилин, забравшись в мешок, лег спать. Он любил спать на снегу: после такого сна он чувствовал себя помолодевшим.

Вернувшись, Струмилин первым встретил Богачева.

– Павел Иванович, ключ от замка у вас?

– Да.

– Дайте, пожалуйста, а то у меня портфель остался в самолете, а там фотографии – боюсь, отсыреют или покоробятся.

– Бегите скорей.

Богачев быстро вернулся и высыпал на стол несколько фотографий. Струмилин сидел рядом и читал газету. Краем глаза он увидел среди фотографий большой портрет Леваковского.

– Собираете фото полярных асов?

– Нет. Просто Леваковский – мой отец.

ГЛАВА II

1

Женя уезжала на пять дней за город: на натурные съемки. Май выдался на редкость жаркий. Небо с утра становилось желтым и душным. Ветра не было. Работать на съемочной площадке приходилось по восемь часов без отдыха. Рыжов торопился и нервничал. Поэтому сразу же после утомительных съемок шли в дома, снятые у колхозников, и ложились спать.

Отпирая дверь московской квартиры, Женя думала только о том, как она сейчас залезет в ванну и отмоется от сухой пыли. Но, открыв дверь, она замерла в изумлении: весь пол рядом с прорезью для корреспонденции был завален бланками радиограмм. Сердце ухнуло и забилось рывками, глухо.

«Папа! – пронеслось в мозгу.– Что-то случилось с папой!»

Каждый раз, провожая отца в Арктику, Женя боялась за него и всегда с затаенным страхом ждала весточек. Отец посылал радиограммы довольно редко. Он всегда говорил: «В Москве легче попасть под машину, Жека, чем угодить в беду в Арктике. Я же знаю ее на ощупь, как свой письменный стол. И даже немного лучше».

Женя медленно подняла с пола первую попавшуюся под руку радиограмму и, прежде чем распечатать ее, долго стояла, переводя дыхание. Потом она резко вскрыла радиограмму.

«А сегодня солнце синее. Небо красное. А льды голубые. И мне до того хочется видеть вас, что в пору выть. А вы даже ни разу не послали мне ответа. Богачев».

Женя ничего не поняла, а потом прочитала текст радиограммы еще раз.

— Чушь какая-то,— сказала она вслух.

Она посмотрела адрес — правильно. Фамилия адресата — тоже. Женя подняла следующую радиограмму. Распечатала ее.

«Сегодня мы летели на Чокурдах, и я видел двух медведей на льду. Они тоже увидели нас, и остановились, и смотрели на нас, задрав морды. Богачев».

Женя улыбнулась. Подняла еще одну радиограмму.

«Через неделю у меня день рождения. Мне будет двадцать пять. Я бы мечтал отпраздновать его в «Украине» вместе с вами, как в последний день перед отлетом. Богачев».

Женя нахмурилась, вспоминая.

«Боже мой, так это же тот медведь, с которым я танцевала тогда! Почему он в Арктике? И почему летает? Ничего не понимаю!»

Женя стала поднимать радиограммы одну за другой. Десять было от Богачева. Одна от отца.

«Жив, здоров, Жека. Целую тебя. Будь молодцом и не хандри. Привет тебе от Богачева. Отец».

Женя засмеялась.

«Это наваждение,— сказала она себе и пошла в ванну,— папа тоже о нем».

Женя лежала в ванне и перечитывала радиограммы Богачева. Сначала она смеялась, а потом стала вспоминать Богачева. Он представился ей каким-то необыкновенно высоким и сильным. Лица его она не запомнила. Просто ей виделся высокий и сильный человек, но отчего-то все время со спины.

Женя намылила голову шампунем. Она промывала волосы и продолжала думать о человеке, который засыпал весь пол в передней радиограммами. Ей было приятно думать о нем. Так ей было спокойней — думать о нем сейчас.

Во время натурных съемок, после ночной смены, уже на рассвете, в дом, где остановилась Женя, пришел Ника. Он сел к ней на кровать, нагнулся к ее лицу и поцеловал в висок. Женя проснулась.

— Кто? — спросила она испуганным шепотом.

— Я.

— Зачем ты пришел?

— За тобой.

— Уходи отсюда, Ника, мне не хочется, чтобы ты был тут.

— Почему? — тихо спросил Ника и сильно обнял ее.

— Потому, что ты трус. И мне сейчас смешно. А это очень плохо, если смешно, когда обнимает мужчина.

Ника обнимал ее все крепче. Потом, тяжело дыша, он стал целовать ее в грудь.

«Сейчас я разбужу хозяина,— подумала Женя,— будет очень стыдно».

Она попробовала оттолкнуть Нику, но он не выпустил ее из рук. У него были не сильные руки, но очень цепкие. Он снял с нее простыню и лег рядом.

— Ну прости меня, прости, Женечка,— шептал он,— я больше никогда не буду, никогда...

Ей было все время противно, а сейчас, после его слов, стало смешно. И Женя рассмеялась. Он замер на секунду, а потом рывком встал.

Женя продолжала смеяться.

— Что, истерика? — спросил Ника.

— Да нет,— все еще смеясь, ответила Женя,— просто мне очень смешно.

Ника пошел к двери. Женя смотрела ему вслед, уже перестав смеяться, но ей было очень смешно, и внутри все тряслось от сдержанного смеха.

«Сейчас я возьму реванш еще раз,— решила Женя.— Очень нехорошо издеваться над человеком, но он трус, и к тому же еще слабенький».

— Куда же ты уходишь? — шепотом спросила Женя, когда Ника открыл дверь.

Он замер у порога, а потом, осторожно прикрыв дверь, быстро пошел к ее кровати и снова сел на край. И Женя снова рассмеялась ему в лицо. Она увидела, как у него под кожей щек заходили желваки. В рассветных сумерках его худое, тонкое лицо казалось измученным и сильным.

— Ты... ты... ты,— говорил он, задыхаясь,— ты ведешь себя, как... как гетера!

Женя снова засмеялась. А когда он ушел, она подумала: «Боже мой, ко всему он еще и многозначительный дурак».

Женя тщательно промыла волосы, вылила воду и стала под душ. Она стояла под душем, закрыв глаза, подставив лицо острым струйкам воды.

«Смешно,— подумала Женя,— но мы, обидев мужчину, все равно чувствуем обиженными себя. А когда себя чувствуешь обиженной, тогда все вокруг плохо и гадко. Наверное, мама себя никогда не чувствовала обиженной. Это всегда зависит от мужчины. Сильный мужчина никогда не может обидеть. Он может дать пощечину за подлость, но он никогда не обидит».

Потом Женя поставила себе чай и сделала два бутерброда из сухого, хрустящего хлеба с сыром. Она сидела на кухне, пила чай и все время чувствовала, что ей не хватает чего-то. Она никак не могла понять, чего же ей не хватает, и это очень сердило ее.

«Газету я сегодня читала,— вспоминала Женя,— звонить мне явно никуда не надо, я свободна до по-

слезавтрашнего утра, но что-то мне сейчас обязательно надо сделать».

Она поднялась и пошла в ванну. Там Женя взяла со столика радиограммы Богачева, сложенные стопкой, улыбнулась и, возвратившись с ними на кухню, стала перечитывать их еще раз.

2

В Нижних Крестах экипаж Струмилина заночевал. На втором этаже в гостинице летного состава было все забито сверх всякой меры, и экипаж Струмилина поселили в маленькой жаркой комнате, отделенной от общежития пассажиров-транзитников тонкой стеклянной перегородкой. В общежитии три часа без перерыва лысый милиционер играл на гармошке песни. Играл он по-деревенски: виртуозно, громко и с «куплетом». Он вдруг высоким голосом выкрикивал один куплет песни, а потом продолжал играть молча. Так, изо всей песни «Тонкая рябина» он спел только две строчки:

Головой склоняясь
До самого тына...

В «Полюшко-поле» он пропел:

Это Красной Армии герои,
Эх, да Красной Армии герои!

А потом минут десять продолжал вариации на тему этой песни, но варьировал так громко, что Аветисян, не выдержав, открыл дверь в общежитие и попросил:

— Товарищ милиционер, мы не спали шестнадцать часов, в воздухе были,— нельзя ли потише?

— Можно,— ответил милиционер, вздохнув,— только тише я не умею. На гармошке завсегда громко играть положено.

— Прекратите ваше шмонцес, уважаемый раввин,— сказал Брок и поднялся с кровати.— Сейчас я вам покажу, как на гармошке играют тихо.

Он подошел к милиционеру, взял у него из рук гармонь и, осторожно перебрав клавиши своими тон-

кими пальцами с ногтями, обгрызенными до крови, стал играть колыбельную.

Спи, моя радость, усни,
В доме погасли огни...

Милиционер засмеялся. Наум, не обратив на него внимания, продолжал петь:

Мышка за печкою спит,
Дверь ни одна не скрипит,
Спи же скорее, усни,
Малыш...

Потом Наум запел еще тише, по-еврейски:

Шлоф, мейн кинд,
Формах ди ойгн.
Шлоф, мейн тайер кинд,
С'из ан одлер дурхгефлойгн,
Зайн золсту ви эр...

Милиционер замотал головой и, зажмурившись, стал подпевать Науму. Слух у него был прекрасный, он поймал мелодию, и они пели колыбельную на два голоса. А это очень здорово, когда двое мужчин хорошо поют колыбельную песню. В этом нет никакой сентиментальности, в этом есть большая доброта и мужественность.

Когда они кончили петь колыбельную, милиционер спросил:

– А на том языке, что Торре́с поет, можешь?

– Нет.

– Эх, очень я обожаю, когда не по-русскому поют, но чтоб со слезой, по-нашему. Торре́с и Берне́с – нет для меня лучше певцов, душой поют, не горлом!

Ночью милиционер улетел, а на его койку и раскладушку, поставленную около двери, поселили двух уголовников, освобожденных из заключения. Один из них зашел в комнату струмилинского экипажа и спросил простуженным голосом:

– Пилоты, продажного спирту нет?

Струмилин, читавший сказку Сент-Экзюпери, ответил шепотом:

— Тише вы, люди спят!

— А спирту, спирту нет?

— Нет спирту, идите спать.

— Адью,— сказал уголовник и осторожно прикрыл за собой дверь.

Утром уголовники согнали с кровати какого-то старика, летевшего из Якутска к дочке в гости на зимовку, купили в магазине коньяку «Йонесели» и начали пить. Они пили отвратительно и так же отвратительно закусывали. Они пили не глотками, как все, а выливали содержимое целого стакана в горло без глотков, сразу. А потом ели консервы — рыбу в томате — руками, капая на простыню и одеяло. Когда один из пассажиров сделал им замечание, уголовники стали смеяться и громко рыгать. А потом они стали издеваться над всеми пассажирами.

— У тебя нос длинный,— говорили они одному и щелкали его по носу.

— А у тебя курносый,— говорили другому и тянули его за нос.— Закон курносых не любит.

Пассажиры молчали. Богачев, оставшись после завтрака в комнате один, слушал происходившее за перегородкой и тяжело сопел.

«Что же они молчат, как кролики? — думал он.— Один раз дать по физиономии — и все станет на свои места».

— Ты, мордастый,— продолжали куражиться уголовники,— пойди в магазин, купи нам коньяку.

Богачев вскочил со своей койки, рывком открыл дверь и гаркнул:

— А ну, прекратить хулиганство!

— Этому гражданину надоело, кажется, жить,— сказал один уголовник другому.— Коля, подержи мой макинтош... Летчик, не вмешивайтесь в чужую жизнь.

— Если еще раз к кому-нибудь пристанете, шею сверну,— пообещал Богачев.

— Шею сворачивать нам нельзя. Мы исправились. Мы тогда, летчик, посадим тебя на десять суток за хулиганство и за оскорбление.

Двое пассажиров, воспользовавшись этим разговором, быстро ушли из комнаты. Осталось три человека: старик и два молоденьких парня.

— Дед,— просили уголовники, когда Богачев вернулся к себе,— станцуй нам падеспань, а мы тебе похлопаем.

— Да что вы, ребятки! — сказал дед.— Не надо.

— Танцуй.

— Не умею я...

— Танцуй, падла!

Богачева подбросило. Он ворвался в соседнюю комнату, и через минуту один из уголовников лежал на полу с разбитым лицом, а другой, стараясь вырваться из рук Богачева, выл:

— Ой, пусти, пусти, пусти!

Богачев со всего размаха швырнул его на пол.

— Еще раз начнете — изуродую!

Из комнаты выскользнули два паренька и старик. Богачев снова ушел к себе и лег на койку. Через несколько минут к нему заглянул уголовник с разбитым лицом и спросил:

— Пилот, у вас нет продажного спирту?

Тогда второй уголовник стал толкать его в спину и кричать:

— Пусти, Коля, я с него потяну права!

— Молчи, капуста! — цыкнул на него тот, что стоял в двери.— Пилот мускулистый, он сделает тебе форшмак детского питания. Пилот, ответьте на вопрос, будьте вежливы!

— Я сейчас продам тебе спирту,— пообещал ему Богачев и сделал вид, что собирается встать с койки.

Уголовник стремительно отпрянул от двери, сбив с ног того, что стоял у него за спиной.

— Хорошо, хорошо,— сказал он,— только не надо сердиться. Мы уважаем мускулистых пилотов.

Когда экипаж вернулся с аэродрома, Богачев рассказал Струмилину про двух уголовников.

— А что вы хотите? Они кичатся своим воровским кодексом чести, а никакого кодекса нет. У них, как у

животных, сильный есть сильный, он и хозяин. Мы с ними чересчур цацкаемся, в либерализм играем, добренькими быть хотим.

– И с убийцами тоже,– добавил Володя Пьянков.– Он убьет «со смягчающими обстоятельствами» – ножом, а не топором, или топором, но не шилом,– вот ему пятнадцать и дают вместо расстрела. А убийца – он неисправимый. Око за око, зуб за зуб: у Наума предки неплохо продумали этот вопрос. Я человек добрый, но убийцу персонально расстрелял бы и даже водки потом пить не стал для успокоения.

– Пьянков стал Демосфеном,– сказал Брок,– за два года я не слышал от него больше пяти слов за один присест, а тут – так прямо речь.

3

Струмилина вызвали в отдел перевозок.

– Павел Иванович,– сказали ему там,– огромная просьба к вам.

– Огромная?

Струмилинского шутливого вопроса не поняли и поэтому повторили:

– Да, огромная. Наш дежурный экипаж загрипповал. А рыбаки стонут в Устье: рыба в лед вмерзает. Да и у нас тут свежие помидоры для них пришли – третий день в электростанции храним. У вас сейчас по графику что?

– Сначала отдых, а потом горючее на острова надо забросить.

– Может быть, вы согласились бы заменить наш дежурный экипаж? Сходили бы к рыбакам?

– С удовольствием.

– Правда или издеваетесь?

– Недоверчивые вы какие...– засмеялся Струмилин.– Конечно, сходим к рыбакам!

Он вернулся в общежитие и, остановившись на пороге, сказал:

— Подъем, мальчики, рыбу надо возить!

— Когда же настоящее дело? — сонно спросил Павел.— Наука-то когда? Надоело бочки возить.

— А спать вам не надоело? Вы спите, как бурый медведь в зимнее ненастье. Тому, кто первым поднимется и умоется, обещаю помидор.

— Банку болгарских томатов? — поинтересовался Пьянков из-под одеяла. Он спал около окна, форточка была открыта, потому что было жарко натоплено, и он лежал, укрывшись с головой, чтобы не простудиться.

— Нет. Настоящий, свежий помидор, привезенный из парников.

— Что? — быстро спросил Брок и вскочил с кровати.— Неужели свеженький?! Для меня свежий помидор, что для быка красная тряпка! Я готов на бой, Павел Иванович!

— Считайте помидор съеденным, Нёма.

— Дискриминация,— пробасил Пьянков и сразу поднялся с кровати,— я тоже хочу.

— Жду вас у самолета,— сказал Струмилин.— Возьмите у диспетчера погоду. Живей, ребята, живей!

Когда Струмилин вышел, Богачев спросил:

— Геворк Аркадьевич, что это с командиром?

— Вы о чем?

— Он как-то особенно рад этому рыбному полету.

— А, вы об этом... Командир любит летать к рыбакам и на фактории к охотникам. Там у него много старых знакомых. Его всегда направляют на самые трудные трассы — в океан; здесь-то уж все облазили, тут и новички могут. Ну, вот он и рад к знакомцам слетать. Его все колхозники-поморы знают: от Чукотки до Архангельска.

— Читали книжки о нем?

— Нет. По бочкам они его знают.

— Как?

— По бочкам,— повторил Аветисян, улыбаясь.— В первые годы после войны в поморских колхозах — хоть

шаром покати. Тогда бочку в хозяйство заполучить — что золотой слиток найти. Ну, Павел Иванович, глядишь, над одним колхозом в сугроб пустую бочку бросит, потом над другим...

— И колхозники находили?

Аветисян даже присвистнул:

— Колхозники, милый, все найдут. Да еще тогда... Они бы иголку нашли, брось мы ее с самолета. Два выговора Струмилин получил, а денег у него вычли — три зарплаты, не меньше... Ну, вы готовы?

— Да.

— Оденьтесь потеплее.

— Я надел джемпер.

— Можете надеть второй, не помешает — на реке сильный ветер.

Самолет шел низко, повторяя в воздухе причудливый путь реки.

— Я чувствую себя лыжником-слаломистом,— сказал Павел Струмилину.

Тот кивнул головой и спросил:

— А подводным пловцом-аквалангистом вы себя не чувствуете?

Павел засмеялся и отрицательно покачал головой.

Аветисян грыз кончик карандаша и смотрел в иллюминатор. Пойма реки, над которой сейчас шел самолет, была удивительно похожа очертаниями на то место, где он встретил войну. Его перебросили из Читы на западную границу двадцать первого июня сорок первого года. Он приехал ночью на аэродром, расположенный на берегу реки, и пошел купаться с летчиками. Ночь кончалась, занимался рассвет. Вода была теплая и мягкая. По берегу стояла осока. Выкупавшись, Аветисян нарвал охапку осоки и стал натирать ею белье, только что выстиранное им в реке. От осоки, от свежей ее зелени остается хороший запах — так делала его бабушка в Ереване, Аветисян помнил это. А потом с аэродрома прибежал старшина и закричал страшным голосом:

— Война!

Аэродром был перекопан: его переоборудовали. Командир полка пытался возражать: люди, стоявшие на границе, чувствовали, что на той стороне Буга происходит по ночам что-то неладное. Из Москвы командир полка получил нагоняй. Его обвинили в паникерстве и политической слепоте. Аэродром начали переоборудовать. Все самолеты полка были сожжены гитлеровцами в первый день войны. Аветисян отступал с пограничниками. 29 июля его ранило под Смоленском. В госпитале его раздели. Заплаканная сестра, стаскивая с него изорванную, окровавленную рубаху, увидала ссохшуюся осоку.

— Кто это сек вас? — улыбнулась сестра сквозь слезы.

Аветисян ни разу не раздевался тридцать три дня, отступая. Так и пронес он сотни страшных километров у себя за спиной вещественную память мира — зеленую молодую осоку, которая дает такой хороший запах свежевыстиранному белью...

— Здесь по берегам много белых куропаток,— сказал Струмилин,— жаль, что я не взял из дому мелкашку.

— А из пистолета? — спросил Павел.

— Вы не охотник, Паша. Охота — очень гуманный вид спорта, ему противен дух убийства. Бить куропатку из пистолета — ей-богу, это зверство.

— Софистика, Павел Иванович,— жестко возразил Павел.— В конце концов результат один — куропатку бьют. А из чего — из пистолета ли, из ружья — разница не велика, да и куропатку это не интересует. А самоуспокоение — оно вроде бы от христианства, а?

Струмилин поначалу терялся, когда слушал такие резкие возражения Павла. Сначала ему показалось, что это от бестактности, но потом он понял, что это идет от непримиримой веры парня в то, что он утверждает. Отсюда резкость и кажущаяся грубость.

«Это хорошо,— подумал Струмилин,— мы сейчас забыли нашу комсомольскую заповедь: «Все в глаза, как бы горько это ни было». Дипломатия в нас появилась, мягкими хотим быть. А этот рубит, молодец, парень!»

Сзади чертыхнулся Брок.

— Что, Нёма? — спросил Струмилин.

— Я сейчас слушал наших океанологов.

— Это каких?

— Станцию «Наука-9».

Струмилин нахмурился, вспоминая координаты океанологов, высаженных на лед океана.

— Они неподалеку от станции Северного полюса?

— Да. У них очень плохо.

— Что?

— Лед прошило трещиной, теперь там садиться — кружева плести.

— Будут уходить?

— Нет. Передают: ерунда, работа идет хорошо, будут сидеть, аврала пока нет, хотя ледовая обстановка вшивая.

— Какая?

— Отвратительная.

— Это точнее. Как руководство экспедицией?

— К ним вылетает Годенко. Да они же не уйдут, если хорошо работается. Вы же знаете их: одержимые, наука — и все тут.

— Передайте им от меня «88».

— Хорошо.

— Что? — удивился Павел.

— Вы плохо занимались радиоделом, Паша. «88» у коротковолновиков значит: «люблю и целую».

...Та часть рыбы, которую не успели уложить в ящики, вмерзла в синий пузырчатый лед.

— Любопытно,— сказал Павел, опустившись на корточки,— вот в тех пузырях во льду есть жизнь или нет? В общем-то если там воздух, то, значит, должна быть.

— Пашенька, не мучайте себя вопросами такого глубокого философского смысла,— посоветовал Аветисян.— У нас в Ереване живет академик Амбарцумян, он занимается этими вопросами лучше, чем вы.

— Вас понял,— отозвался Павел задумчиво,— перехожу на прием. Академику Амбарцумяну от меня передайте «88».

Аветисян засмеялся и заверил Богачева официально:

— Почту за честь.

Павел не удержался и спросил:

— Геворк Аркадьевич, а почему у вас в Закавказье говорит не «честь», а «чэсть»?

Аветисян ответил сразу:

— Так, дорогой, звучит возвышеннее. Мы, армяне, романтичной души люди, в горах живем, рядом с орлами. Есть еще вопросы?

— Вопросов нет.

— Тогда пошли, поможем загружать рыбу в машину.

Рыбакам трудно загружать рыбу, потому что их одежда покрыта ломкой корочкой льда.

Старый струмилинский знакомый дядя Федя, ответственный в артели за сдачу рыбы, суетясь, говорил пилотам:

— Что вы, ребятки, не тревожьтеся, мы сами зараз управимся.

— Да погрейтесь идите,— предложил Пьянков,— а нам мышцами потрясти, поразмяться — одна радость. Вы ж продрогли совсем.

— Так нешто подо льдом холодно? — удивился дядя Федя и постучал красными квадратными пальцами по ватнику, схваченному льдом.— От холода, обратно же, холодом защищаемся!

— Пошли, пошли, Федя, перекурим, а там подсоединимся к ребятам, пошли — погреешься, ты ж нас ждал два часа на ветру.

— Ветер не огонь, его стерпеть можно.

— Герой, что говорить! Ну, пошли, ребят посмотреть хочу, не виделись бог знает сколько времени.

— Так, Пал Иваныч, ты ж сушей пренебрегаешь, все по воздусям,— отозвался дядя Федя,— над океанами паришь...

Они вошли в маленькое зимовье, срубленное прямо на берегу. Здесь жила артель. Шесть рыбаков сидели вокруг стола. От ватников валил пар, потому что здесь было натоплено сверх меры. Рыбаки сидели, тесно прижавшись друг к другу, и молча ели помидоры, привезенные Струмилиным.

— Поклон поморам! — сказал Струмилин.

У рыбаков были горячие, влажные руки, мозолистые и сильные. Струмилин поздоровался с каждым по очереди, а потом сел рядом с артельным, в центре стола.

— Спирту, папаша,— попросил артельный.

Дядя Федя пошел к нарам и принес оттуда две бутылки спирту.

— Разлейте, папаша, за гостей поднимем.

Дядя Федя разлил спирт ровно и быстро. Струмилин накрыл свой стакан ладонью.

— Что?

— Мне не лейте, нельзя.

— Неуважение будет,— сказал артельный.

— Упадем мы из-за спирта.

— Падать не надо: об лед больно, и обратно, рыбу некому возить будет. Тогда ваше здоровье, Павел Иванович, и всех доблестных летчиков.

— Что это ты высоко заговорил так, Леня?

Дядя Федя хихикнул:

— Он у нас агитатором работает, по линии общества. Со мной тоже так разговаривать стал, хоть шляпу для солидности надевай.

Рыбаки посмеялись, выпили и закусили помидорами.

Артельный Леня выпил последним и сказал:

— Вы, папаша, человек старый и многого в нашей жизни не понимаете, а перед гостями на меня позор наводить — нехорошо. Как я с вами говорил раньше, так и теперь говорю...

— Да я шучу, чудной,— сказал дядя Федя,— нешто гость не понимает?

Потом все подошли к самолету и стали ломиками выбивать рыбу, вмерзшую в лед. Струмилин тоже взял ломик и начал работать вместе со всеми. Он глубоко вдыхал холодный воздух и весело щурился, потому что в ледяных брызгах, искрой вылетавших из-под ломиков, звонко всплескивалось сине-красное солнце и слепило глаза.

Струмилин работал радостно и споро. Он сделался мокрым, плечи болели хорошей усталостью, а дыхание очистилось от папиросного перекура и стало чистым и глубоким.

«Надо обязательно физически работать,— думал он,— без физической работы человек гибнет лет на тридцать раньше, чем положено. Обязательно начну что-нибудь копать...»

Вдруг Струмилин, слабо охнув, опустил руки с ломиком и замер.

— Что, ушиблись? — спросил Аветисян.

— Нет,— тихо ответил Струмилин и почувствовал, что сильно бледнеет,— немного совсем. Чуть-чуть...

Он не ударился. Просто в сердце вошла боль, острая и неожиданная. Так у него было три раза. Он пугался этой неожиданной и страшной боли, но она довольно быстро проходила, а потом оставалась слабость, как после бессонницы.

«Черт возьми, неужели же это настоящее что-нибудь? — думал Струмилин, опускаясь на лед.— Неужели это настоящая болезнь сердца?» Но прошло несколько минут, и Струмилину показалось, что боль прошла совсем. Он положил под язык таблетку валидола и улыбнулся.

«Нет, ерунда,— решил он,— просто, наверное, устал. Поедем к морю с Жекой, и все пройдет. Это уж точно...»

Никто, кроме Аветисяна, ничего не заметил, потому что и Пьянкову, и Броку, и Богачеву не было еще

тридцати. И хотя дяде Феде было за семьдесят, он не знал, в какой стороне груди бьется сердце, потому что всю свою жизнь он занимался только одним: ловил рыбу.

4

— Кто хочет пойти в баню? — спросил Аветисян.

— А где? — удивился Пьянков.— День-то сегодня не банный.

— Ориентировка на местности, милый...

— Где баню сориентировал?

— В подвале электростанции. Вполне приличное помещение.

— Крыс нет?

— Есть, но они сытые и на такого тощего, как ты, не польстятся.

— Тогда я за баню,— сказал Брок и стал доставать из портфеля чистое белье и мыло.

В подвале электростанции было темно и холодно. Летчики шли друг за другом, натыкаясь на какие-то трубы, куски металла и ободья от бочек. Они сдержанно чертыхались. Аветисян пробирался первым и все время приговаривал:

— Ничего, ничего, скоро мы выйдем на цель.

«На цель» они вышли не скоро: Аветисян забыл короткий путь, фонарика они с собой не взяли, светить могли только спичками и поэтому чем дольше шли, тем яростней чертыхались.

— Сейчас, сейчас,— успокаивал Аветисян,— последний отрезок остался.

Когда они пришли в помещение, которое так расхваливал Аветисян, Струмилин присвистнул и сказал:

— Нет, дорогие мои, я в этом спектакле не участвую.

Помещение было темное и грязное. Горячую воду надо было брать из котлов, которые все время глухо урчали и, казалось, должны были с минуты на минуту взорваться. Холодная вода, которой следовало разбавлять кипяток, почему-то из бака не шла.

— Это ничего,— сказал Аветисян,— небольшой перерыв, а потом пойдет. В общем кому не нравится, может отмежеваться. Лично я буду мыться, я уже мылся тут три раза, и очень мне нравилось.

— Я повременю,— сказал Володя и ушел вместе с командиром.

Богачев, Аветисян и Брок остались. Они разделись и только тогда почувствовали, как здесь холодно. Понизу дул сквозняк, и Богачев, как гусь, поджимал пальцы и переваливался с ноги на ногу. Аветисян открыл кран и набрал кипятку в три больших таза. Потом он попробовал долить их холодной водой, но холодной воды до сих пор не было. Где-то рядом работал мотор на плохом топливе, и поэтому через пять минут три товарища стали грязно-серого цвета.

— Скоро будет холодная вода? — сухо осведомился Брок.

— Сейчас, сейчас,— пообещал Аветисян и куда-то ушел.

— Веселая у нас получается баня,— сказал Брок и стал бить себя по спине, чтобы согреться.

Они скакали на месте и били себя по спине и по плечам, чтобы согреться, но им становилось все холоднее, а в довершение ко всему вошел неизвестный дядька в ватнике и закричал:

— Разрешение от Дим Димыча есть?

— Нету.

— А ну, вон отсюда!

— Да что ты, дядя? — взмолился Богачев.— Мы же как негры теперь, дай хоть отмыться.

— Разрешения у вас нету — не могу!

— Потом принесем.

— А почем я знаю, кто вы такие? Электростанция — объект, а не шутки, а вы тут голые бегаете. Одевайтесь, не то за милицией пойду.

В этот критический момент вошел Аветисян.

— Ой, миленький,— застонал он,— а я тебя по всему подвалу ищу, давай холодной воды скорее!

— А разрешение от Дим Димыча есть?

— Есть, есть,— закивал головой Аветисян и вытащил из портфеля, в котором держал белье, два рубля.

Человек в ватнике спрятал деньги и отошел к стене. Там он нажал какую-то кнопку, и сразу же пошла холодная вода.

— Сейчас веников принесу,— сказал он и вышел.

Мылись в молчании, проклиная Аветисяна. Было по-прежнему холодно, а вода отдавала мазутом.

Вернувшись к себе, они сказали Володе Пьянкову:

— Слушай, это не баня, а сказка. Иди, пока не поздно, там и веники есть.

— Давайте, давайте,— сказал Пьянков,— осторожнее на поворотах, здесь пришибленных в детстве нет.

5

Уже около самолета экипаж Струмилина догнал запыхавшийся диспетчер. Он отозвал в сторону Володю и попросил его:

— Отдай на Диксоне Галочке с радиостанции,— и передал две рыбины.

— Нельмы?

— Да.

— На строганинку?

— Да.

— Не возьму.

— Почему?

— Испортятся. Нам еще до Диксона ходить и ходить.

— Да нет же. Сейчас вам приказ передадут: взять на Тикси науку и переходить в Диксон.

— Командир! — крикнул Володя радостно.— На науку нас переводят!

Богачев запрыгал на одной ноге, как мальчишка. Диспетчер засмеялся. Богачев покраснел и стал делать вид, что прыгал он не от радости, а потому, что в унту попал камешек.

Струмилин и Аветисян переглянулись, и Брок увидел в глазах командира ту нежность, которую он уже не раз замечал, когда командир смотрел на Павла.

— Какие будут ЦУ? — спросил Володя диспетчера, забрасывая рыбины в самолет.

— Главное ЦУ — не расплавьте мой подарок, рыбка хорошо заморожена, упаси бог, потечет!

— Я положу в хвост.

— Спасибо.

— Он сейчас нам ОВЦУ даст,— предположил Брок,— все диспетчеры очень любят давать не просто ЦУ, но обязательно ОВЦУ.

Богачев, слушая этот разговор, спросил у Аветисяна:

— Геворк Аркадьевич, они сейчас по-датски изъясняются или как?

— По-советски,— ответил Аветисян.— ЦУ — значит «ценные указания», а ОВЦУ — «особой важности ценные указания». В толковом словаре у Даля таких слов нет, но они экономны и выразительны, в этом спору нет. Они — памятники эпохи.

— Есть спор,— возразил Богачев,— так испортили язык! Я вообще скоро из протеста на славянский перейду. Чтобы поломать эти памятники эпохи.

— Что же тогда делать нам? — поинтересовался Аветисян.— И вообще не националист ли вы, Паша?

— Вы заведете себе переводчика,— сказал Богачев,— или я выучу армянский.

— Последнее меня устраивает, а то с переводчиком себя чувствуешь иностранным туристом.

Когда поднялись в воздух и легли курсом на Тикси, Брок принял радиограмму с предписанием зайти в Тикси и забрать экспедицию.

— Правду говорил рыбак-то,— сказал Богачев,— теперь полетаем по-настоящему.

Самолет шел над тундрой. Солнце катилось по снегу огромным белым диском. Заструги ломались скифскими луками. Снег сливался на горизонте с таким же синим небом, и от этого казалось, что далеко впереди океан.

Брок передал Струмилину радиограмму из Чокурдаха. На бланке он записал направление и силу ветра, температуру воздуха и прогноз. Струмилин бегло просмотрел радиограмму и передал ее Богачеву.

— Сегодня будете сажать машину,— сказал Струмилин.

— Есть.

— Ветер только сильный.

— Ерунда,— сказал Пашка,— я ее усажу, как ребенка.

Струмилин вздрогнул и быстро взглянул на своего второго пилота. Павел поправлял палочку автопилота, выправляя курс. Курносый нос, обгоревший на холодном солнце, шелушился.

«Он совсем не похож на отца,— подумал Струмилин,— а сейчас сказал точную фразу Леваковского. Откуда в нем это? Ведь он не мог знать отца: тот погиб, когда ему было три года...»

— Откуда вы знаете эти слова?

— Какие?

— Ну вот эти — «усажу, как ребенка».

— А... Сыромятников мне говорил, что это любимые слова отца.

— Верно.

— Мне очень нравятся эти слова.

— Мне тоже. Слушайте, Паша, извините за нескромный вопрос, а почему у вас другая фамилия?

— Это мать. Она отдала меня в детдом, когда все случилось. Потом вышла замуж и уехала во Владивосток. А когда меня направили в ремесленное училище, она сказала, что мои метрики пропали и что фамилия моя Богачев. Это фамилия ее отца, а он жил в Минске, а там все записи в загсе пропали в войну, и никто не мог проверить. А уж после того как моего отца реабилитировали и ей вернули его Золотую Звезду, она мне все написала.

— А почему вы сейчас не возьмете свою настоящую фамилию?

Богачев долго молчал, а потом ответил:

— Это для меня — как в партию вступить. Думаю, еще рано. Я — Богачев, а Леваковским мне надо стать.

В Чокурдахе дул сильный боковой ветер.

— Ну как? — спросил Струмилин.— Будете сажать?

— Если разрешите — конечно!

— Разрешаю.

Володя Пьянков занял свое место: на маленьком откидном стульчике между Струмилиным и Богачевым. Он привычно глянул на показатели приборов и сложил руки на коленях, готовый выполнить любой приказ пилота точно и незамедлительно.

Богачев мастерски и легко выполнил «коробочку», а потом повел самолет на снижение. Струмилин не смотрел в сторону Богачева. Он смотрел прямо перед собой и видел ровное снежное поле метрах в ста слева от самолета.

«Слишком большое упреждение берет парень,— думал он, доставая из кармана папиросы,— упадем в торосы, ноги поломаем...»

— Шасси! — скомандовал Богачев.

На щитке загорелся зеленый свет: шасси выпущены.

— Семьдесят метров,— начал отсчитывать высоту Пьянков,— семьдесят метров, шестьдесят метров, пятьдесят метров, сорок метров...

Самолет чуть подкинуло и понесло вперед стремительнее, чем секунду тому назад.

Аветисян и Брок привстали со своих мест и напряженно смотрели прямо перед собой. Они смотрели на снежное поле, которое было слева и которое очень медленно приближалось. Так, во всяком случае, им казалось. Земля быстро уходит при взлете и очень медленно приближается во время посадки.

— Тридцать метров,— продолжая отсчитывать, Пьянков посмотрел на Струмилина,— двадцать метров...

«Неужели вытянем? — думал Струмилин, наблюдая за тем, как самолет неуклонно сносило налево,— тогда он просто гений, этот Пашка...»

Самолет завис в воздухе, и на какую-то долю секунды всем показалось, что движение и время остано-

вились, подчиненные спокойному приказу двадцатипятилетнего парня в кожаной куртке.

Струмилин не понял, дотянул все же Павел до снежного поля или сейчас машина перекувырнется, ударившись шасси в торосы.

«Сейчас,— думал Струмилин,— вот сейчас... Ну, дотяни, голубушка, дотяни же!»

— Все,— спокойно сказал Богачев,— сели, как в аптеке.

Удара шасси о снег все еще не было. Но как только он сказал, все в кабине ощутили спокойный, несильный толчок, и машина покатилась по снежному полю.

Струмилин обернулся и посмотрел на Аветисяна и Брока. Те стояли у него за спиной. Аветисян развел руками, что могло означать одновременно и крайнюю степень восхищения и, наоборот, высшую форму раздражительности.

«Что мне ему сказать? — напряженно думал Струмилин.— Он блестяще посадил машину, но он посадил ее очень рискованно и слишком красиво. Это для авиационного парада, а не для Арктики...»

Богачев обернулся к Пьянкову и спросил:

— Володя, у тебя нет спички? У меня в зуб что-то попало.

Пьянков протянул ему пустой коробок. Богачев отломил кусок фанерки и стал чистить зуб. Струмилин испытующе смотрел на него, а потом не выдержал и засмеялся. И весь экипаж тоже засмеялся. Богачев удивленно посмотрел на Струмилина, на Володю, потом быстро оглянулся на Аветисяна и Брока и спросил:

— Я что-нибудь не так сделал, Павел Иванович?

— Вы все сделали так, как надо, Паша, молодец вы...

— Это вы говорите честно или для того, чтобы поднять во мне дух?

— Я говорю это абсолютно честно.

— Тогда большое спасибо.

И снова все засмеялись, а Богачев, снова посмотрев на своих товарищей, подумал: «Издеваются, черти, а что я сделал такого?»

В Чокурдахе им сказали, что ремонт лыжи, которая стояла на их старом самолете, закончен и что нужно как можно скорее возвращаться в Тикси, желательно без ночевки в Чокурдахе. Подвоз грузов для высокоширотной экспедиции Арктического института закончился, и начинались полеты с научными работниками на борту.

— А вам,— сказали Богачеву,— пришла радиограмма из Москвы, но мы ее в Тикси переслали.

— От кого?

Ему ответили:

— От Струмилиной...

6

— Груза в Тикси много? — спросил Струмилин.

— Да. Мы вам лес загрузим и картошку. И лук.

— Сколько всего?

— Под завязку.

— Ладно.

Струмилин вышел из диспетчерской. Мела поземка. Снег был колючий, как щетина. Низкие рваные облака казались черными, а небо, проглядывавшее сквозь эти низкие рваные облака, было серебряного цвета.

«Будет снег,— решил Струмилин.— Когда небо кажется перламутровым, а облака черными, тогда обязательно начинается снег».

Экипаж сидел в столовой. Володя Пьянков сбегал к своим друзьям чукчам и принес нельму.

— Сейчас я сделаю строганинку,— сказал он.— Паша, ел когда-нибудь строганинку?

— Нет, не ел. Только, может быть, мы поедим сегодня строганины в Тикси?

— Он торопится получить радиограмму,— сказал Аветисян.

— У тебя же нет детей,— сказал Брок,— так что нечего волноваться.

— Успеем и в Тикси. Только сначала я угощу всех строганиной.

Володя стал резать бело-розовое мясо рыбы. Он нарезал много тонких бело-розовых кусков замороженной нельмы, попросил принести с кухни южного, терпкого соуса и побольше черного перца. Потом он быстро подхватил кусок рыбы, сложил его трубочкой, обмакнул в соус, потом в перец и, зажмурившись, положил себе в рот.

– Тает,– сказал он нежным голосом,– снегурочка, а не рыба.

Аветисян жмурился и молча качал головой, а Брок издавал негромкие стоны, выказывая этим наслаждение, какое он испытывал, вкушая мороженую нельму.

– Гарантирую сто лет жизни тому, кто зимой ест такую строганину,– сказал Аветисян,– она полезна, как рыбий жир, и вкусна, как паюсная икра.

– Слишком рыбьи сравнения,– сказал Брок,– не впечатляет.

– Может быть, тронемся? – снова предложил Павел.– Очень вкусная строганина.

– Не торопись,– заметил Брок.– Командир сейчас придет и все нам скажет. Не можем ведь мы лететь без командира.

Вошел Струмилин и, обмахнув веником унты, сказал:

– Ого, строганина, оказывается, появилась!

– Павел Иванович, скоро полетим? – спросил Павел.

– Подзаправимся – и полетим. А что такое?

– Да нет, ничего,– ответил Богачев обрадованно,– просто интересуюсь.

– Он получил радиограмму,– пояснил Пьянков.

Богачев почувствовал, что начинает краснеть.

– От прекрасной незнакомки,– добавил Брок.

Струмилин, продолжая есть строганину, поинтересовался:

– От кого?

Богачев покраснел еще больше и, посмотрев в глаза Струмилину, ответил:

– От вашей дочери. От Жени.

Когда поднялись за облака и пошли в своем эшелоне, Струмилин сказал:

– Володя, очень хочется кофе, поставьте, пожалуйста, воды на плитку, а я потом заварю.

Пьянков поднялся со своего места, на котором он сидел при взлетах и при посадке, размотал тонкий шарф, повесил его на крючок, снял шапку и пошел из кабины в «предбанник». Там в маленьком помещении, отделявшем кабину от грузового помещения, стояли самодельная кушетка, маленький стол, два раскладных стульчика и один ящик, который заменял собой отсутствующее кресло. Володя включил плитку и поставил на нее чайник с теплой водой, взятой в Чокурдахе. Потом он вернулся в кабину и сказал:

– Павел Иванович, вода закипает...

Струмилин сидел у плитки и ждал того момента, когда кофе поднимется. Этот момент ни в коем случае нельзя пропустить, во-первых, потому, что сразу запахнет гарью, а во-вторых, сойдет главное – навар, который дает кофе аромат и крепость.

Как только кофе стал подниматься, Струмилин выключил электричество и досыпал еще две столовые ложки грубомолотых зерен, смешанных с сахарным песком. Это, по мнению Струмилина, делало наш слабый кофе хоть в какой-то мере похожим на настоящий бразильский. Возвращаясь в прошлом году из Африки, он на день задержался в Париже и купил там четыре килограмма бразильских кофейных зерен. Он не стал их молоть, а просто побил молотком и добавлял в нашу заварку две столовые ложки настоящего бразильского кофе.

Попробовав, Струмилин закрыл глаза и, словно дегустатор, несколько секунд шевелил губами и растирал языком на зубах ароматную крепкую заварку.

«Хорошо,– решил он,– очень хорошо получилось. Ребятам будет не так скучно лететь».

Струмилин налил в две кружки, себе и Павлу, кофейник прикрыл «бабой», купленной предусмотрительным Броком, и пошел в кабину.

– Володя, Нёма и Геворк,– сказал он, пробираясь на свое место,– вас кофе ждет. Вам я принес, Паша.

– Спасибо.

Павел сделал один глоток и сразу же вспомнил лето прошлого года, свой отдых, поход по Черноморскому побережью, Сухуми и старика, с которым он познакомился в маленькой кофейне. Старик отчаянно ругал теперешнюю молодежь.

Старика звали Ашот, и он умел ругать молодежь так, что с ним нельзя было не соглашаться. Когда говорят красиво, медленно и убежденно, да к тому же еще старики, как-то неудобно с ними не соглашаться. Старик говорил, что молодые не в полную силу дерутся за хорошее, он говорил, что они равнодушны и удовлетворяются у д о в л е т в о р и т е л ь н ы м. А надо всегда хотеть только о т л и ч н о г о. Особенно молодым.

Павел допил кофе и улыбнулся. А потом вздохнул.

– Что вы? – спросил Струмилин.

– Я вспомнил одного старика. Его звали Ашот. Он говорил очень красивые и очень неверные слова. Я только совсем недавно понял, как не прав старик Ашот. Он не прав только в одном: он настоящий старик, а старики всегда с пренебрежением относятся к молодым. Они думают, что молодые хуже и глупее их. А это неверно. Их поколение делало революцию, но ваше – завоевало полюс и победило Гитлера. А наше поколение взяло Антарктиду, целину и космос.

Струмилин внимательно посмотрел на Павла и спросил:

– Вы очень любите отца, Павел?

– Разве можно не очень любить отца?

– Но ведь вы мне рассказывали про вашу маму. Вы говорили, что...

– Она предала отца, и она предала меня.

Струмилин закурил, а потом спросил в упор:

– Паша, а вы не обижены на советскую власть? За отца? И за детский дом? И – за Богачева?

— Мой отец — советская власть. А тот, кто подписал ордер на его арест и расстрелял потом... Я ненавижу их... Они были скрытыми врагами. А потому они еще страшнее. Они делали все, чтобы мы перестали верить отцам. А нет ничего страшнее, когда перестают верить отцам. Тогда — конец. Спорить с отцами нужно, но верить в них еще нужнее. Так что я не обижен на советскую власть, Павел Иванович, потому что она — это мой отец, вы, Брок, Володя, Геворк...

— Между прочим,— сказал Наум Брок, передавая Струмилину очередную радиограмму о погоде,— старик Ашот, о котором ты говорил, не так уж не прав, как тебе кажется, Паша. После пятьдесят третьего года восемь лет прошло. Нас учат: «Смелее бейте плохое! Ярче возносите хорошее!» Так вот хорошее мы возносить умеем, а что касается плохого, так здесь вариант «моя хата с краю» по-прежнему здорово силен.

— Это точно,— согласился Пьянков,— на рукопашную нет храбрее нас, а как на собрании начальство крыть за справедливое, так здесь мы па-де-труа вычерчивать начинаем: все одно, мол, не поможет.

— Да...— сказал Струмилин.— Надо сильней и смелей критиковать все плохое. Тогда жизнь станет у нас просто куда как лучше. А сейчас иной страхуется: «Покритикую, а начальство, глядишь, квартиры и не даст, вот я в бараке и останусь»...

— А мне кажется, не только в этом дело,— сказал Павел,— мне кажется, все проще. Есть люди честные и смелые, а есть трусливые и нечестные. Честный — он везде честный.

Аветисян заметил:

— Может быть. Но лично я бараки с удовольствием сжег бы, все до единого...

7

— Дай побольше газа, Вова,— попросил Богачев,— еще чуть больше.

– Боишься, что уйдут радисты и ты не сможешь получить радиограмму?

– Тебе в цирке работать. Реприза: «Провидец Пьянков с дрессированными удавами».

– Не дам газа.

– Володенька!..

– Пусть тебе провидец дает газ...

– Вовочка!..

– Пусть тебе удавы дают газ,– бормотал Пьянков, осторожно прибавляя обороты двигателям.

Богачев смотрел, как стрелка спидометра ползла вправо. И чем дальше она ползла вправо, тем радостнее ему становилось. Он обернулся к Пьянкову и сказал:

– Ты гений, старина!

– Ладно, ладно, не в церкви.

– Не сердись.

– Не то слово. Я задыхаюсь от негодования.

Брок засмеялся и сказал Аветисяну:

– Геворк, знаете, мне страшно за Мирова и Новицкого. Наши ребята вырастут в серьезных конкурентов.

Вошел Струмилин еще с двумя чашками кофе и спросил:

– Кому добавок?

– Мне,– попросил Богачев.

Струмилин сел рядом с ним, посмотрел на доску, в которую вмонтированы приборы, отметил для себя, что во время его десятиминутного отсутствия скорость движения возросла, но ничего говорить не стал. Он только подумал: «Жека, Жека, что ты там еще задумала? Неужели тебе захотелось поиграть с этим парнем, который сидит справа от меня, и летает над Арктикой вместе со мной, и пьет кофе, который я завариваю, и прибавляет скорость, хотя этого не надо было бы делать, и беспрерывно курит, потому что хочет поскорее получить твою радиограмму? Ты выросла без матери – раньше, чем надо бы. Когда есть мать, юность продолжается дольше, а это самая прекрасная пора человече-

ской жизни, маленькая моя, сумасбродная Жека, хороший мой, честный человечек. Не играй с этим парнем, у него тоже было не так уж много юности, очень я тебя прошу об этом, просто ты даже не представляешь, как я прошу тебя об этом...»

– Будете сажать машину,– сказал Струмилин.– Вы любите садиться ночью?

– Я еще ни разу не сажал здесь машину ночью.

– Это очень красиво. Садишься – будто прямо на карнавал. Особенно издали. Это из-за огоньков поселка.

– Я понимаю.

– А особенно красиво, когда ночью или ранним утром садишься во Внуково. Там очень много сигнальных огней. Я всегда смеюсь, потому что вспоминаю поговорку «с корабля на бал».

Аветисян рассчитал время точно и так же точно вывел машину на посадку. Он вывел машину так точно, что Богачеву показалось ненужным выполнять обязательную при посадке «коробочку». Выполнение «коробочки» занимает никак не меньше десяти, а то и пятнадцати минут. А в радиоцентре за эти проклятые десять или пятнадцать минут могут уйти люди, в руках которых находится радиограмма, переданная из Москвы Женей.

Павел мастерски посадил машину. Когда он вырулил на то место, которое ему указал флажками дежурный, он услышал в наушниках злой голос:

– Немедленно зайдите в диспетчерскую!

– Кому зайти в диспетчерскую? – спросил Павел.

– Командиру корабля.

– Вас понял.

Все трое – Аветисян, Пьянков и Брок – переглянулись. Они поняли, почему командира вызывают в диспетчерскую. Они не могли не понять этого. Богачев посадил машину, не выполнив «коробочки». Это нарушение правил. Это очень серьезное нарушение правил. Именно за это вызывали командира корабля к диспетчеру. Не за что было вызывать командира корабля, кроме как за это.

Струмилин оделся и пошел к диспетчеру.

Аветисян спросил Павла, который лихорадочно застегивал молнию на куртке и никак не мог ее застегнуть.

– Ты действительно не догадываешься, зачем вызвали командира?

– Конечно, нет, а что?

– А куда ты собираешься сейчас?

Богачев засмеялся и ответил:

– За счастьем.

Он обернулся и увидел три пары глаз. Он никогда не видел Аветисяна, Пьянкова и Брока такими. Лица у них были жестки, а в глазах у каждого было одинаковое выражение. Даже не определишь точно, какое выражение было у них в глазах. Тогда Павлу стало не по себе, и он спросил:

– А что такое, товарищи?

– Ты же посадил машину без «коробочки».

– Так аэродром же пустой. И на подходе никого нет.

– Ну вот это-то никого и не интересует. А старика сейчас вызвали для скандала, понял? – сказал Пьянков.– А теперь можешь бежать за счастьем.

Богачев пулей выскочил из самолета и бросился следом за Струмилиным. Когда он вбежал в диспетчерскую, Струмилин стоял у стола без шапки, а молоденький парень, еще моложе Пашки, говорил:

– А мне не важно! Закон для всех один, ясно? Кто вам разрешал нарушать его, а?

Богачев шагнул к столу и сказал:

– Во-первых, не ругайте нас, пожалуйста, а во-вторых, машину сажал я.

– Что?! Так почему же...

Богачев снова перебил его:

– Не ругайте командира, прошу вас! Я посадил так, ослушавшись его приказа, ясно вам?

– Я потребую отстранения вас от полетов!

– Требуйте!

– Вы свободны!

Богачев вышел первым. Струмилин улыбнулся, надел шапку и спросил:

– А я?

– Вы тоже,– ответил диспетчер, не поднимая головы от стола.

Струмилин вышел из диспетчерской и крикнул:

– Паша!

Но Богачев не отозвался.

Он несся в радиоцентр, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь. Он прибежал туда и спросил:

– Радиограмма Богачеву есть?

– Есть,– ответил радист и протянул ему запечатанный бланк.

Богачев разорвал запечатанный бланк и стал читать текст, наклеенный криво.

«Мне тоже хочется праздновать ваши двадцать пять лет в «Украине». Счастья вам и хороших полетов. Женя».

Богачев нашел Струмилина, Аветисяна, Брока и Пьянкова в гостинице. Они сидели и, смеясь, говорили о чем-то. Когда он вошел, все замолчали.

– Павел Иванович,– сказал Богачев с порога,– мне надо сегодня же вылететь в Москву.

– Общее помешательство? – спросил Струмилин.– Или только частичное?

– Общее,– ответил Павел.

Все засмеялись, и Богачев не увидел в глазах товарищей того, что он видел двадцать минут тому назад. Он увидел в их глазах самого себя. А это очень хорошо – видеть самого себя в глазах людей, с которыми говоришь. Это значит – на тебя смотрят чистыми глазами. А чистыми глазами смотрят только на друзей. На самых настоящих друзей, Павел знал это абсолютно точно.

6

У начальника высокоширотной арктической экспедиции Годенко собралось совещание. Начальника экспедиции называли «некоронованным королем Арктики». Его называли так по справедливости: огромные

просторы океана и суши — от Архангельска через точку Северного полюса к бухте Провидения — такой огромный треугольник «принадлежал» Годенко, ученому и путешественнику.

Все ледоколы и самолеты, зимовки и фактории, аэродромы и поселки, экспедиции, высаженные на лед,— все это подчинялось ему, Годенко, потому что он руководил научными изысканиями, которые впоследствии, после скрупулезной обработки в Арктическом институте, станут достоянием мировой науки и помогут разгадать еще один секрет в мудреном устройстве нашего беспокойного «шарика».

Такая всесторонняя экспедиция была организована в Арктике впервые, и поэтому на Диксоне собралось особенно много народу. Здесь были и ученые, и инженеры, и опытнейшие летчики страны, и писатели, и корреспонденты газет и радио, и кинооператоры, и даже два артиста из ВГКО с номером «Жанровые песни, сцены из опер и оперетт». Все приехавшие на Диксон из Москвы и Ленинграда ждали совещания у Годенко, которое должно было решить точную дату общего выхода на лед. Все транспортные подготовительные работы были закончены, летчики полярной авиации сделали много рейсов над тундрой, а теперь предстоял самый ответственный период работы на льду.

О том, как много мужества надо иметь, чтобы работать над океаном, садиться на дрейфующий лед, спать в палатках, когда крошатся льды, и делать при этом свою работу, сейчас мало пишут в газетах. Считается, что все написано: были папанинцы, была Антарктида — и хватит. Страшный и равнодушный оборот: «Это уже освещено в печати»,— проник и в Арктику. Мужество нельзя «освещать». Мужество не может быть «уже освещено». Это непреходящая ценность.

Только наиболее опытные полярные асы и старожилы, главком полярной авиации Шевелев да еще несколько человек в Москве и Ленинграде понимали,

какую огромную ответственность возложил на себя Годенко, согласившись взять в свои руки руководство этой высокоширотной экспедицией.

Нужны огромная сила воли, железная выдержка и несгибаемая вера в успех задуманного дела, чтобы вот так, как Годенко, улыбаясь, прохаживаться по длинному коридору гостиницы, весело шутить внизу, в столовой, и в перерывах между первым и вторым блюдом рассказывать смешные байки.

И только когда гостиница засыпала, у Годенко начиналась настоящая работа. Он раскладывал на столе радиограммы, полученные со всех станций: высаженных на лед, обосновавшихся на островах или на материке, ото всех самолетов, обслуживавших экспедицию,— словом, со всех точек Арктики.

Ему надо было принять решение, как поступить с «Наукой-9», где прошла трещина по льду, куда высадить станцию «Наука-3», занимающуюся проблемами морской фауны, как обеспечить станцию «Северный полюс-8» горючим на весь зимний период. Много вопросов должен был решить Годенко ночью, после того как на его столе собирались радиограммы со всей Арктики. Он не имел права полагаться на свой многолетний опыт полярника. Он чертил на календаре хитрые записи, а утром, побрившись, улетал на «Науку-9» — делать первую, пробную посадку на треснувший лед. На обратном пути он «заскакивал» на «СП-8», а потом успевал побывать на мысе Челюскин, через который велась переброска грузов перед выходом экспедиции на лед. Возвращался он таким же, как и улетал,— без тени усталости, тщательно выбритым и веселым.

После такого полета Годенко разрешал себе полсуток посидеть за столом: он заканчивал свой многолетний труд по дрейфу льда в самом трудном арктическом проливе — в проливе Вилькицкого. Он кончал писать около пяти утра, с тем чтобы в восемь начать следующий день.

Один журналист показал ему свой очерк, в котором рассказывалось, что Годенко сидит по ночам за

столом и что его освещенное окно знают все на Диксоне: только один начальник экспедиции сидит за работой до шести утра.

Годенко рассвирепел. Обычно доброе и круглое лицо его сделалось красным, будто ошпаренным.

— Эт-то что такое? — спросил он журналиста шепотом, потому что боялся раскричаться и наговорить грубостей.— Позор какой! Как же вам не стыдно, а? Ну подумайте только, какую вы подлость делаете по отношению к летчикам, которые летят ночью на полюс, по отношению к ученым, которые сидят на льду и ведут исследования и в шесть вечера и в три ночи. Я не хочу думать о вас плохо, изорвите это сочинение, неприлично так поступать...

Годенко, бреясь, перестал смотреться в зеркало. Он седел ото дня ко дню. Он скоблился, напевал под нос джазовую песенку и думал: «Все-таки солдатом быть лучше, чем генералом. Это — истина, но, к сожалению, в нее начинаешь веровать только после того, как сам сделаешься генералом — неважно, армейским, от науки или от промышленности. И напортачить нельзя, чтобы разжаловали,— люди страдать будут, напортачь я хоть в мелочи...»

9

Вылет Струмилина был назначен на послезавтра. Он был прикреплен к экспедиции Владимира Морозова, занимавшейся установкой автоматических радиометеорологических станций на дрейфующих льдах.

— А нельзя ли на один день попозже? — спросил Струмилин.

— Почему? — удивился Годенко.— Самолет не исправен?

— Да нет, лыжу нам заменили.

— А что такое?

— Второй пилот у меня заболел. Ангина страшнейшая.

– Большая температура?

– Тридцать восемь было утром.

Годенко обернулся к Морозову.

– Ну, Володя, решайте.

Морозову было приятно, что к его экспедиции прикреплен Струмилин. Еще бы, один из лучших летчиков страны будет работать вместе с ним. Поэтому Морозов сказал:

– День – ерунда. Подождем.

– Хорошо,– согласился Годенко.– Так и занесем в график. Хорошо?

– Есть,– сказал Струмилин.

– Договорились,– сказал Морозов.

Струмилин спустился в столовую, выпил томатного соку, купил московский «Казбек» и пошел к себе в номер. По дороге он заглянул к Богачеву – узнать, как дела. Кровать Павла Богачева была аккуратно застелена.

Струмилин зашел к Аветисяну и Броку.

– Где Паша? – спросил он.– Пошел к врачу, что ли?

– Не знаю,– сказал Аветисян,– к нам он не заходил.

«Может быть, побежал отослать радиограмму,– вдруг подумал Струмилин и улыбнулся, сразу вспомнив Женю.– Сейчас я тоже пойду на радиоцентр и пошлю ей радиограмму».

Он зашел к себе одеться. На столе лежал конверт. На нем было написано: «П.И.Струмилину. Лично».

Струмилин разорвал конверт. Там лежал бюллетень Богачева и записка от него. В записке было написано: «Павел Иванович, я поступаю как настоящая свинья, но я не могу поступить иначе. У меня бюллетень на четыре дня. Меня не будет в Диксоне три дня. Я буду в Москве. Я не обманываю Вас: у меня сейчас уже не тридцать девять, а тридцать девять и три. Запись есть у врача. Сидеть за штурвалом рядом с вами и с ребятами мне не разрешат так или иначе – я заразный, ангина передается через дыхание. Если я не

прилечу через три дня, то можете считать меня законченным подлецом, но только я прилечу. Я обо всем договорился с ребятами из транспортного отряда. Павел Богачев».

10

Шли последние дни съемок. Работали по две смены, нервничали, «гнули картину», чтобы успеть к срокам. Женя так уставала после работы на площадке, что подолгу сидела в костюмерной, не в силах ни переодеться, ни умыться как следует, чтобы сошел грим и не щипало лицо, пока едешь в троллейбусе до дому.

«Скорее бы все это кончилось,— думала Женя, сидя у зеркала в пустой и темной костюмерной,— ужасно устала, просто сил моих нет. Так хочется уехать куда-нибудь за город на неделю, чтобы ничего не делать, а просто спать и ходить по лесу. Боже мой, какое прекрасное название романа о войне — «Мы еще вернемся за подснежниками!» Дура, почему я не учила французский? Кажется, по-французски: «Nous retournerons cueillir les jonquilles». Очень красиво это звучит».

Женя улыбнулась и стала стирать грим.

«Зачем они кладут так много тона? — подумала она о гримершах.— Вся кожа потом горит и трескается».

Женя переоделась, положила полотенце и мыло в сумку и пошла по длинному коридору к выходу. Огромная киностудия работала и ночью. Над входами в ателье висели грозные черно-красные надписи: «Тихо! Идет звукосъемка». За большими закрытыми дверями сидели люди, которые отдавали кино всю свою жизнь, без остатка. Они даже не отдыхали, потому что переходили из одной картины в другую и только через несколько лет получали трехмесячный отпуск — вроде полярников.

«Какое великое таинство! — думала Женя.— Из кусочков, отснятых ценою крови, нервов, бессонных но-

чей, складывается искусство кино, которое так любит наш народ. И ничего не знает о нем».

Вчера Женя возвращалась домой с последним троллейбусом. На задних местах сидела подгулявшая веселая компания молодых людей. Когда троллейбус пошел дальше и огни студии остались позади, кто-то из молодых людей сказал:

– Дом миллионеров проехали!

– Почему?

– А как же! В кино снимается актер, сразу сто тысяч отхватит – и точка!

«Что за чушь? – сердито думала Женя.– Я получаю сто двадцать рублей в месяц и работаю без выходных в две смены. Как же можно говорить так?»

Сначала она решила сразиться с этой веселой, подгулявшей компанией, но потом подумала, что это будет смешно и жалко. Да и какая разница, думала Женя, пусть говорят все, что хотят. Искусство создается не для тех, кто подсчитывает заработки актеров.

Женя шла по длинному пустому коридору киностудии и уже не чувствовала такой усталости, потому что кругом здесь люди творили искусство, а искусство не знает усталости. В искусстве устают только бездарные люди.

«Я пойду домой пешком,– решила Женя и улыбнулась,– очень хорошо пройти по спящей Москве. И ничуть я не устала, я много и хорошо работаю, а это не усталость: просто избыток радости».

Она засмеялась своей хитрости и пошла быстрее, размахивая сумкой, в которой лежало полотенце и дегтярное мыло.

Лифт уже не работал. Женя поднялась на шестой этаж и увидела около своей двери человека. Человек сидел в меховой куртке и спал. Женя опустилась на колени и заглянула в лицо спящего. От лица несло жаром, как от печки. Губы у человека были потрескавшиеся, скулы выпирали, а у переносицы залегли злые морщины.

– Боже мой,– сказала Женя,– это же Богачев!

Богачев открыл глаза, посмотрел на нее красными, воспаленными глазами и сказал:

– Добрый вечер.

Потом он достал из кармана меховой куртки смятый букет ландышей и протянул их ей. Женя села рядом с ним и стала целовать его лицо, воспаленное и горячее.

ГЛАВА III

1

Подошел день вылета, а погоды все не было. Уже второй день подряд мела пурга. В номерах гостиницы было темно. И вечер и утро были одинаковые – серые, тоскливые и непроглядные. Аветисян играл с Броком бесконечную партию шахмат, а Струмилин подолгу сидел у Морозова и его ребят. У него были славные ребята. Они проработали в Арктике много лет. Зиму и лето они проводили в Ленинграде, в Арктическом институте, а осень и весну – здесь, на льду. Морозова и его ребят в Арктике звали не иначе, как «Их было пятеро». Они были неразлучными друзьями, хотя должностное положение каждого из них здесь и в Ленинграде очень сильно разнилось. Морозов был известный ученый, его заместитель Володя Сарнов – инженер, лауреат Ленинской премии, а трое ребят – Геня Воронов, Женя Седин и Сема Родимцев – простые рабочие, помогавшие Морозову и Сарнову совершенствовать и устанавливать в дрейфующих льдах ДАРМСы – дрейфующие радиометеостанции. Но и в Ленинграде и в Арктике они были неразлучны и дружны настоящей мужской дружбой – спокойной, скупой на внешние проявления и очень чистой.

Струмилину нравились люди Морозова, он играл с ними в кинг, причем настаивал, чтобы и ему били картами по носу в случае проигрыша; не торопясь, обговаривал план предстоявших работ, хохотал над анекдо-

тами, которые рассказывал Сарнов, и даже выпил однажды вместе с ними двадцать пять граммов спирту.

Проводя время с ребятами Морозова, Струмилин старался не думать о Богачеве, но чем больше он старался не думать о нем, тем больше и тревожнее думал.

Он понимал, что Богачев нарушил все правила и распорядки; он понимал, что узнай кто-нибудь о поступке Богачева — и прощай его летная карьера; он понимал и то, что обязан был сам доложить о случившемся, но тем не менее знал, что никогда и никому не доложит.

Его отношение к Павлу, поначалу очень сложное, сейчас все больше и больше выкристаллизовывалось в любовь. Он полюбил этого парня за то, что в нем было много от Леваковского. Но не только за это он полюбил его. Он полюбил его, потому что видел в Павле себя самого — младшего. Он был таким же горячим на решения, безапелляционным в мнениях, отчаянным в воздухе. Струмилину нравились люди решительного склада характера. Ему нравились те, которые, говоря д а, имеют в виду д а и только д а. И, наоборот, уж если сказано н е т, так оно должно быть окончательным и жестким. Формулировки вроде «мы посоветуемся», или «мы обменяемся мнениями», или «мы вынесли предварительное решение» казались ему преступно-равнодушными, черствыми и бесчеловечными.

Ему нравилось, что Богачев был предельно искренен и честен. Он говорил только то, что думал. Он мог бы придумать себе какие-нибудь особые боли в горле — а судя по записи в бюллетене, у него действительно была очень серьезная ангина,— и отпроситься в Москву на все время весенней навигации. Но он не стал так поступать. Он просто написал Струмилину, своему командиру, что он, Павел Богачев, идет на дисциплинарное, очень серьезное нарушение. И этой своей запиской он до конца связал Струмилина по рукам и ногам.

И сейчас, сидя у Морозова, Струмилин думал: «Эти ребята тоже похожи на Павла. Они тоже вот так,

не думая о том, что может произойти позже, могли бы сорваться в Ленинград или в Москву, если бы считали, что это необходимо. Я рад за Жеку. Если только она не станет играть с Павлом. Если она будет играть с ним, парню будет очень плохо. Я-то знаю, как Жека может играть с ним».

— Павел Иванович,— сказал Морозов,— у вас есть преферансисты?

— Не знаю.

— Есть,— сказал Геня Воронов,— у них второй пилот преферансист, мне Аветисян говорил.

— Сбегай за ним,— попросил Сарнов,— устроим пульку.

— Он отсутствует,— быстро сказал Струмилин.

— Нет,— улыбнулся Морозов,— я там был полчаса тому назад. Брок сказал, что он сейчас вернется. Он сказал, что Богачев пошел на радиоцентр.

Струмилин быстро поднялся и пошел в номер к Броку.

— Где Богачев, Нёма?

— Я знаю о нем столько же, сколько и вы.

— Подождите, но вы сказали Морозову...

— А что мне ему еще говорить? Сказать, что он решил на минуточку слетать в Москву?

Струмилин присел на краешек стула и спросил:

— Что же делать, Нёмочка?

— Благодарить погоду, Павел Иванович. На завтра прогноз тоже кремационный.

— Да?

— Да. Я только что узнавал.

— Вот ведь негодяй,— сказал Струмилин,— вернется, я ему задам перцу!

— Стоит. Но не очень злого.

— Нет, я ему задам злого, стручкового перца,— пообещал Струмилин.— А где Геворк?

— У Володи Пьянкова. Уговаривает.

— А что такое?

— Володя решил сегодня пойти делать погоду.

— Спаси бог, он ее сделает.

– В том-то и дело.
– Я тоже зайду к нему.
– На вас надежда.

«Делать погоду» в Арктике очень просто. Для этого один из членов экипажа должен выпить и поухаживать за кем-нибудь из официанток столовой. А так как грозный бог воздуха внимательно следит за всем происходящим на грешной земле, то обязательно на следующий же день после выпивки и ухаживания погода ломается и диспетчеры разрешают полеты. Но в полет ни за что не выпустят человека, который накануне пил. На ухаживание глаза закрывают, но пьянка карается самым жестоким образом. Поэтому Володя шел на жертву. Он дразнил грозного бога воздуха, рассчитывая, что завтра, после выпивки, погода установится летная.

– Володя,– сказал Струмилин,– не сходите с ума.

– Я схожу с ума здесь,– ответил Володя.– Три дня сидим, как цуцики. А нам летать надо.

– Полетим послезавтра...

– Павел Иванович...

– Всё.

– Павел Иванович...

– И потом это нечестно по отношению к Богачеву. Уж поверьте мне. Я как раз очень боюсь, что погода установится завтра по его милости и без вашей помощи. И потом здесь не за кем ухаживать.

– А Люда? – застонал Пьянков.

Струмилин и Аветисян рассмеялись одновременно.

– Нечего тогда кивать на погоду,– сказал Аветисян,– просто ты старый ловелас и хочешь прикрыться заботой о погоде, как щитом, в своих низменных целях.

– Стыдно,– подтвердил Струмилин,– и потом Люда – худая, как палка. Мне стыдно, что у моего механика такой дурной вкус.

– Не такая уж она худая,– сказал Пьянков,– она мускулистая.

Вздохнув, он развязал шарф и начал расстегивать «молнию» на куртке. Струмилин и Аветисян переглянулись и вышли из номера: они поняли, что механик никуда не уйдет. В коридоре они встретились с Годенко.

— Познакомьте меня с сыном Леваковского, Павел Иванович,— попросил тот,— интересно на парня посмотреть.

Струмилин растерянно посмотрел на Аветисяна.

— Он ушел гулять,— сказал Аветисян высоким голосом и, откашлявшись, добавил: — Погода хорошая.

Годенко удивленно посмотрел в окно: на улице по-прежнему мела пурга.

— Настоящий полярник,— улыбнулся Годенко,— всякая погода — хорошая погода, да?

— О да,— согласился Аветисян с излишней поспешностью,— конечно, это так.

2

Морозов писал так, как пишут первоклассники: склонив голову набок и прикусив язык от усердия. Он писал письмо матери. Старая колхозница, она плохо читала, и поэтому Морозов выводил каждую букву «печатно».

«...Погода здесь по-прежнему хорошая,— писал Морозов,— тепло и дождей нет. Твои носки и варежки я ношу, спасибо. Неужели ты их сама так лихо соорудила?»

Морозов подумал и, зачеркнув слово «соорудила», написал «связала».

«Все ругаешь меня за мою бобыльскую жизнь, а я и сам себя ругаю, да все как-то не получается. Полгода в Ленинграде ищу невесту, а найти никак не могу. Возьму отпуск, приеду к тебе на полгода, дом новый тебе построю и невесту найду.

Ты спрашивала меня про питание. Хорошее у нас питание, молоко есть и масло тоже. А как у вас? Пьет все председатель или прогнали? Ты бы ему пригрозила: скажи, мол, сын у меня в Ленинграде начальник, доктор наук...»

Морозов улыбнулся, подумав: председатель скажет ей, наверное, что у него у самого в больнице три доктора есть — эка невидаль, начальство тоже!

В университете он учился на пятом курсе, когда к ним поступил на пятый курс Миша Цыбин — молодой кандидат экономических наук. Ему захотелось за год закончить и географический факультет. Он занимался так, что за два месяца сдавал экзамены за курс. Но потом их сняли с занятий и отправили в колхоз, где не было мужиков: одни старики и дети — кормильцы с войны не вернулись. Миша Цыбин ничего не умел делать: ни выкапывать картошку, ни таскать мешки. Его невзлюбил за это председатель, безногий старик. И донимал Цыбина, как никого из студентов. Цыбин плакал по ночам и шепотом ругал старика. Однажды приехал секретарь райкома и увидел плачущего Цыбина.

— Ты не мучь парня,— сказал секретарь старику председателю — он, видишь ли, кандидат наук.

— Ну так пускай учится! Если б он хоть студентом был вроде остальных, а то еще кандидат всего-навсего... Оно и видно, сил в нем никаких, сопля соплёй, одно слово — кандидат!

Морозов вычеркнул слова «доктор наук» и продолжал старательно выводить буквы.

«Дорогая мама, ты только, пожалуйста, не откладывай те деньги, которые я тебе посылаю, на сберкнижку. Я зарабатываю много, а тратить мне некуда, так что живи в свое удовольствие и не беспокойся обо мне...»

К Морозову подошел Пьянков и спросил зевая:

— Что делаешь, Володя?

— Действительность лакирую,— ответил Морозов, усмехнувшись,— письмо пишу маме.

— Очковтирательство и приписка? Теплая погода, полное отсутствие льда и хорошие пляжи на берегу океана?

— Ого! Прямо в точку!

— Мы тут все очковтиратели. Посмотрел бы, какие романы Брок своей жене пишет. Она его ревновать

начинает даже, думает, у него здесь бабенка, если он ее с детьми на наш курорт не берет. Нёма ей про курочек, про лужайки шпарит, про розовое все. А между прочим, трудно быть лакировщиком. Я папаше и тете письмо по месяцу пишу, никак подходящего сочинить не могу, все на пургу меня заносит, а ведь нельзя про пургу. Пурга у нас – вроде как у лакировщика сукин сын в персональной машине,– такого не бывает и быть не может.

– Что ты так нападаешь на писателей, Вова?

– А я писателей и журналистов терпеть не могу. Из пальца навысасывают, а мне потом читай!

– Сердитый ты.

– Точно. Тоска у меня сегодня. У меня всегда тоска, если пурга крутит, а здесь третий день темень.

– Синоптики обещают завтра погоду.

– Тоже не лучше.

– Это почему? – удивился Морозов.

Пьянков смешался и сказал:

– Я не о том. Пока. Пойду тосковать.

Поздно вечером к Струмилину зашел заместитель Годенко и сказал:

– Радуйтесь, Павел Иванович...

Струмилин отложил книжку – он перечитывал переводы Маршака – и спросил:

– По какому поводу?

– Пришла погода. Завтра в шесть ноль-ноль назначен ваш вылет.

3

В гостинице не спали до полуночи. Из рук в руки ходил номер «Правды» с напечатанным в нем отрывком из повести Казакевича «Синяя тетрадь».

Там говорилось о том, как Ленин скрывался от шпиков Временного правительства на берегу озера Разлив. Был там в это время и Зиновьев.

– Зачем это печатать? – говорил пожилой мужчина в очках с металлической оправой, летевший до Тикси.

Кончив читать отрывок, этот человек аккуратно сложил газету и начал расхаживать по комнате, в которой ночевали пассажиры, летевшие рейсом из Москвы в Магадан.— Ленин — и возле Зиновьев...— говорил он, словно обращаясь к себе самому.— Кому это нужно?

Богачев, лежавший на крайней от окна койке, сказал:

— Мне.

— А зачем вам? Вы молодой, вам это знать и вовсе ни к чему.

— А вас это не интересует?.. Было это или нет?

— Ну было. А к чему об этом писать?

— А вот я хочу знать настоящую правду.

— Кому она нужна, такая настоящая правда?! Кому? Она врагам нашим нужна, чтобы лишний раз позлобствовать! Вот кому она нужна!

— Враги и так злобствуют. И будут злобствовать. Врагов бояться не надо — с ними бороться надо. А вот если мой сын меня будет спрашивать о том, что было,— продолжал Павел,— я обязан ему сказать всю правду, чтобы он в будущем никогда не допускал неправды.

— Вы еще сначала сына-то родите,— сказал человек в очках,— а потом об этом думайте.

Богачев поднялся с койки, засмеялся и сказал:

— Сына я рожу, уж вы не беспокойтесь.

Он похудел за эти три дня, глаза его глубоко запали, а рот будто обуглился. Но он весь светился изнутри, словно человек, перенесший туберкулез и выздоровевший. У Павла в ремесленном был друг. Он заболел туберкулезом в трудные послевоенные годы. Целыми днями он валялся в кровати и смотрел в стену. По утрам он плакал, кусая матрац, чтобы не слыхали товарищи. Он не хотел ни с кем разговаривать и, когда к нему приходили, хрипел:

— Проваливайте все к черту!

И подолгу, захлебно кашлял.

Потом его увезли в санаторий. Ему писали, а он не отвечал. Вернулся он через полгода такой же, как Па-

вел сейчас, обугливший, но весь сияющий счастьем. Он тогда сразу же начинал спорить с ребятами, если не соглашался, или смеяться, если рассказывали даже не очень смешное, или стучать кулаком по столу и орать: «Верно!» – если все шло хорошо и в цехе и в классе.

– Мы так расшатаем до конца веру! – продолжал говорить человек в очках. Теперь он говорил громко, потому что в комнате все спорили с ним и не соглашались с ним.– В кого тогда будут верить те, кому сейчас пятнадцать? Я раньше на всей земле верил только одному – Сталину.

– Плохо! – сказал Павел.– Сталин не Христос, лбы бить в его честь – невелика польза. Впрочем, как и в честь Христа. Иконы создавать – преступление! Мы не верующие! Мы верим! А между верующими и теми, кто верит, огромная разница, ясно вам?

– Ты мне мораль не читай! Ишь, учитель нашелся! Да ты что в своей жизни видел?

Лейтенант, подсевший в самолет в Инте, хмыкнул:

– Вы мне не тыкай, я вам не тебе!

– Что с вами спорить,– сказал человек в очках,– самые вы обыкновенные нигилисты, боли в вас нет.

Богачев подошел к нему вплотную и спросил:

– А в вас боль есть? В вас тупость есть. И страх. Как в дрессированной мартышке. А спорить я с вами не хочу – скучно, да и время ваше кончилось!

Павел смотрел в темный потолок и видел на нем узенькую полоску света. «Это от лампы, которая горит у дежурной,– подумал он,– в ремесленном у нас тоже всегда ночью на потолке горел свет, потому что нянечка тетя Фрося по ночам мыла пол и слушала, как мы спим».

В том ремесленном, где учился Павел, было очень много ребят из детских домов. Они жили по-братски, и когда Павел получил пятый разряд, ему стало не по себе: будто надо уходить из родного дома. Старик мастер Николай Иванович в том цехе, куда Павел при-

шел на работу после ремесленного, первым делом вырвал изо рта папироску и бросил в урну.

– Ах ты, г... собачье! Тебе что, жрать нечего? Скажи – накормим. А то ишь – фасон выдрючивает! Тебе титьку сосать, а не папироску, ее с горя тянут да с голодухи. Еще раз увижу, затрещину дам.

После первой получки Павел пошел с парнями постарше в пивной зал: пол-литра на троих не хватило, его послали за четвертинкой. Наутро раскалывалась голова. Николай Иванович подозвал Павла к себе и сказал:

– Нехорошо без мастера гулять с первенькой получки-то, не положено.

В субботу Павел пошел с Николаем Ивановичем в магазин и купил бутылку водки. Потом они отправились домой к Николаю Ивановичу. Там его жена хотела кормить обедом, но старик сказал:

– Не обедать пришли, Маня. Дело у нас. Яиц отвари накруто, хлеба подай и соли. Остальное сыми со скатерти.

Старик налил по стакану водки себе и Павлу, положил ему на тарелку одно яйцо и предложил выпить. Потом на столе появилась еще одна бутылка водки и еще одно яйцо – всего-навсего. Что было потом, после того как мастер принес еще одну четвертинку, Павел не помнил.

Только в воскресенье днем Павел пришел в себя и смог подняться с дивана, на который его уложил ночью Николай Иванович. Он ошалело завертел головой и застонал.

– Всю квартеру заблевал,– весело сказал Николай Иванович, сидевший у окна в майке, с лобзиком на коленях,– давай похмеляться, что ль?

– У-у-у,– застонал Павел, а Николай Иванович зашелся мелким смехом и долго не мог успокоиться. Потом он крикнул: – Маня, обед давай!

Когда сели обедать, старик хвастался своей жене:

– Вот, говорят, у нас с акло... алко... лако... тьфу ты,– рассердился он,– с пьянкой не борются. А я борюся. Вон поборол. Будешь еще водку пить?

— Никогда,— ответил Павел.

Это было, когда Павлу только исполнилось шестнадцать. Он не курил и не пил ни в цехе, ни в аэроклубе, где стал заниматься парашютизмом. Напился он через четыре года, уже учась в летной школе. Он напился второй раз в жизни, когда узнал правду про своего отца. До этого он считал, что его отец погиб на фронте — так говорил дед, так писала из Владивостока мать. А тогда Павел узнал, что его отец расстрелян без суда и следствия в НКВД, как «шпион». Он тогда, напившись, пошел на телеграф и отправил телеграмму матери: «Ты предала отца, ты не мать мне». Потом он шел по улицам и переулкам небольшого приволжского городка, шепча: «Будьте вы все прокляты, сволочи, будьте вы все трижды прокляты! Ненавижу всех... Ненавижу!» Он падал в сугробы, поднимался и шел дальше, продолжая шептать ругательства.

Ночью — вот так же как сегодня, после разговора с очкастым,— он спал часа два, не больше. Сошел хмель, и его будто кто-то толкнул в лицо. Павел сел на кровати и не сомкнул глаз до утра. Он сидел, поджав под себя ноги, смотрел на спавших своих товарищей курсантов и думал: «Я говорил: всех ненавижу. Всех? Это кого же?»

И Павел вспоминал годы, проведенные в ремесленном, Николая Ивановича, рабочих из револьверного цеха, тетю Маню, которая гладила ему рубахи к Первомаю и к ноябрю.

«Они вырастили меня,— думал Павел,— а я оказался скотом, злым и неблагодарным. Ненависть может быть полезной, только когда она идет рядом с добротой и во имя доброты. Иначе это фашизм, когда ненависть во имя ненависти. То, что случилось с отцом, должно вызвать во мне еще большую любовь к тем, кому я обязан жизнью. И ненависть к его палачам. Но ведь палачей — единицы, а тех, которые вырастили меня,— десятки миллионов. Сволочь, я смел кричать, что ненавижу их!»

И сейчас, глядя на лучик света, который пробивался из комнаты дежурной и спокойно лежал на потолке, Богачев раздумывал над тем, правильно ли он поступил, вступив в спор с этим очкариком.

«Нужно ли спорить со слепцами о цвете моря? — думал он.— О цвете моря можно не спорить. Но он ведь говорит о фактах истории. Он нашими клятвами клянется. А смысл жизни для него в том: есть на стене портрет Сталина или нет? Он говорит, что он трудится на ниве просвещения. Если не врет — тогда ужасно! Такие пришли тогда, когда Сталин стал живым богом. Нет,— продолжал думать Павел,— я правильно делал, что спорил с ним. Ведь если он и сейчас, после того, как партия рассказала всю правду о культе Сталина, готов прощать тот произвол, который был в годы культа,— значит нет в нем той боли, которая есть во всех нас — старых и молодых! Я правильно спорил с ним: потому что я очень люблю тетю Маню и Николая Ивановича, у которого в тридцать седьмом году расстреляли сына — комсомольского работника, близкого друга товарища Косырева. Я правильно делал, потому что я люблю своих друзей по ремесленному: многие из их отцов бессмысленно погибли в сорок втором, под Харьковом. Мы все стеной за то, за что ведет ЦК. Тем, кто против, голову свернем, если будут мешать и к тридцать седьмому году тянуть. Молодец, Пашка, что спорил,— похвалил себя Богачев,— а, Жека? Молодец я?!»

Он уснул счастливым. Перед тем самым мгновеньем, когда его свалил сон, он увидел Женю, а потом она исчезла, и что-то огромное, светлое пришло вместо нее. Сначала Павел испугался, а потом подумал: «Это ничего, это чистота пришла, это очень хорошо».

Разбудили пассажиров в три часа ночи.

Богачев вышел из комнаты первый. В коридоре, около кассы, стоял морячок Черноморского флота, невесть как очутившийся в Арктике. Он стоял, облокотившись о стенку, и вздыхал. Пока Богачев мылся в

умывальнике, отгороженном временной стенкой, он все время слышал, как морячок жалобно говорил, постукивая указательным пальцем в закрытое окошко кассы:

– Девушка, мне ж на свадьбу...

Из закрытого окошка доносился глухой голос:

– Машина перегружена.

– Так на свадьбу же,– жалобно говорил морячок.– У меня всего неделя осталась, а она в Крестах живет.

– Самолет перегружен.

– Девушка...

– Товарищ, я вам уже все сказала!

Богачев вышел из умывальника, перебросил мохнатое полотенце через плечо и спросил морячка:

– Что у тебя невеста в Крестах делает?

– Метеоролог.

– А зовут как?

– Нюся.

– Толстая она? Черненькая, да?

Морячок обрадованно закивал головой.

– И давно тут сидишь?

– Второй день. А всего неделя осталась. С дорогой. Я ей по почте листок для загса переслал, теперь только подпись поставить и штамп. А вот...

– Ладно. Подожди меня здесь.

– Куда ж я денусь...

Богачев пошел к экипажу самолета, который сейчас вылетал на Диксон и дальше в Кресты. Летчики уже поднялись. Вылет был назначен через полчаса, и все готовились уходить к самолету.

– Командира нет? – спросил Богачев, остановившись у двери.

– Я командир.

– У меня просьба.

– Пожалуйста.

– Морячка с собой захватите, а? Жениться надо парню. В Крестах у него невеста. Нюся, толстая такая, может, знаете?

– Не знаю.

– Так возьмете?

– Не могу, товарищ. У меня и так перегрузка. И вас еще ко мне посадили. Рейсовый пассажирский через восемь часов будет – уступи́те ему место...

– Спасибо за предложение. Но, может, возьмем парня все-таки?

– Вместо вас, я же сказал. И хватит препираться, мы не в церкви.

– Зря вы сердитесь.

– А вы не лезьте не в свое дело. Договорились?

– Договорились. Только не может быть у вас такая перегрузка, что меня вы берете, а моряка нет. Он тоненький, парень-то...

Командир досадливо махнул рукой и пошел из комнаты. Следом за ним почти все остальные. Богачев остался один.

– «Договорились»! – передразнил он командира и пошел к моряку.

– Ну? – спросил тот.

– Баранки гну. Иди за мной, только на глаза пилотам не показывайся.

– А потом что?

– Потом полетишь. К самолету подходи, когда я сигнал дам, понял?

– Понял.

Богачев быстро оделся и побежал следом за экипажем. Он догнал командира уже около самолета и сказал:

– Вы не серди́тесь на меня.

– А я и не сержусь. На всех сердиться – сердца не хватит.

Самолет был уже открыт, моторы прогреты бортмехаником, пришедшим сюда в два часа ночи, диспетчер дал «добро» на вылет.

«Неужели я опоздал? – подумал Богачев.– Нет, не может этого быть. Не должно этого быть. И – не будет! В конце концов я их разыщу». Он гнал от себя эту страшную мысль и старался не думать о том, что происходило в его отсутствие на Диксоне. Он всегда считал, что надо быть уверенным в хорошем, тогда все и

всегда будет хорошо. Правда, он помнил смешное изречение Твена: «Нет в мире более жалкого зрелища, чем молодой пессимист, если не считать, конечно, старого оптимиста».

«Я молодой оптимист,— думал всегда Богачев,— и пока все мои оптимистические мечты сбывались. Все до одной. Надо только верить и хотеть, все остальное приложится».

Когда экипаж сел в самолет, Богачев сказал второму пилоту:

— Вы идите в кабину, я трап сам приму.

Второй пилот ушел в кабину. Богачев высунулся по пояс из люка и замахал руками. К нему вприпрыжку бросился морячок. Он в долю секунды вскочил по трапу в самолет, Богачев толкнул его в туалет, и морячок моментально там заперся. Богачев убрал трап, положил его около люка и, осторожно ступая между мешками, баками и большими ящиками, в которых на Диксон везли оборудование для научных изысканий, пошел в кабину. Он шел и улыбался.

— Уберите отопление фюзеляжа,— сказал командир механику,— там какой-то скоропортящийся груз.

— Есть.

— Морозить его надо, а то испортится,— пояснил командир механику,— так что мы вроде рефрижератора.

«Морячок мой загнется,— подумал Богачев,— холодно ему будет в клозете».

Богачев усмехнулся.

— Что вы? — спросил радист.

— Да нет, просто так...

«Испытание холодом,— думал Богачев,— между прочим, в любви это прекрасное испытание. Надо всех влюбленных перед загсом запирать в клозет самолета, который идет над Арктикой и не отапливается, потому что везет скоропортящийся груз».

Через час полета штурман вышел из кабины. Он вернулся спустя несколько минут и сказал:

— Что за чертовщина, клозет не отпирается!

– Прихватило замок,– предположил Павел, скрывая улыбку.– Холодно...

– Не может быть!

Штурман взял топорик и снова отправился в клозет. Он вернулся через минуту и сказал командиру на ухо:

– Заперто изнутри.

Командир сказал:

– Вечно вы с шуточками.

– Да уж какие там шуточки...

Богачев стоял у двери и, поджав губы, сосредоточенно думал, что делать. Положение было безвыходное. Штурман явно не собирался сдаваться.

– Пойдемте вместе, если не верите,– настаивал штурман.

Они ушли вдвоем, и через мгновение Богачев услыхал хриплый командирский голос:

– Откройте, или стрелять буду!

Богачев выбежал из кабины. Командир рвал на себя дверь клозета. Замок он сорвал, но изнутри дверь цепко держали. Наконец, упершись ногами в стойку, командир распахнул дверь, не удержавшись, упал, ударившись о край ящика, злобно выругался и, поднявшись, увидел давешнего моряка. Тот медленно поднимал руки, стараясь при этом улыбаться.

– Невеста у меня,– бормотал он,– семь дней, туда и обратно, только штампик – и все дела... Я понимаю, перегрузка, только семь дней с дорогой...

Командир спросил Богачева:

– Ваша работа?

Морячок на секунду замолчал, а потом затянул снова:

– Сами знаете, невесты теперь какие, Нюся в Крестах, семь дней...

Богачев поморщился и сказал:

– Моя...

– Знаете, сколько стоит перелет?

– Нет, не знаю.

– Узнайте и уплатите в отделе перевозок, а я из-за вас выговор получать не намерен.

Командир перевел взгляд с Богачева на морячка, по-прежнему что-то бормотавшего, и, не выдержав, рассмеялся.

— Ну-ка, приятель,— потянул штурман моряка за рукав,— надо и честь знать: такое дефицитное помещение на целый час занял.

В Диксоне, как только сели, Богачев бросился в диспетчерскую: узнавать, где Струмилин. Морячок пробежал несколько шагов за ним. Он кричал:

— Товарищ пилот, как фамилия ваша? Я в газету о вашем благородном поступке напишу.

— Ив Монтан,— ответил на ходу Богачев,— напиши в «Работницу», черноморец!

Он бежал по полю быстро, совсем не чувствуя отчаянного сердцебиения. Он бежал и улыбался, потому что видел, что самолет Струмилина стоит на месте, а возле него прохаживается Володя Пьянков, придирчиво осматривая работу механиков.

— Эй! — закричал Богачев.— Э-ге-гей!

Когда они обнялись, Пьянков сказал:

— Плохи дела, Паша. Списали тебя из авиации.

Богачев замер.

— Да,— вздохнул Пьянков.— Струмилин доложил — и все. Новый теперь у нас второй пилот. Хороший парень, только заика.

— Врешь!

— Да нет...

— Врешь!

Богачев тряхнул Пьянкова. Тот отвел глаза. Но в эту минуту Богачев услыхал радостный голос Струмилина.

— Паша! — кричал тот.— Чертов сын! Сейчас задам тебе перцу!

Он шел по полю вместе с Аветисяном, Броком и еще шестью незнакомыми людьми. В руках у него был портфель. Струмилин размахивал портфелем и смеялся. Павел бросился к нему. Струмилин обнял его, а потом хлопнул рукой чуть ниже спины.

— Ах ты, негодяй! — приговаривал он.— Ах ты, хулиган этакий!

Он говорил так и смеялся, и в глазах у него была радость.

4

— Кто же так чистит картошку? — спросил Струмилин молодого парня, увешанного фотоаппаратами.— Так нельзя ее чистить. Вы режете, а надо скоблить. Вот как надо скоблить картошку, смотрите.— И, взяв из рук парня картофелину, Струмилин ловко и аккуратно очистил ее.

— Вы маг и волшебник,— сказал парень,— я снимаю шляпу.

— Вы лучше оставайтесь в шляпе, только чистите картошку как следует.

— Я весь старание.

Струмилин усмехнулся: ему показалось забавным, что парень говорил фразами-лозунгами.

— Кстати, простите меня, но я запамятовал, откуда вы? Мне Годенко сказал второпях, и я не запомнил.

— Моя фамилия Дубровецкий, я спецкор, из Москвы, из журнала...

— А, вспомнил,— сказал Струмилин,— хороший журнал, только раньше он был лучше. Правда, вы печатаете много цветных фотографий. Читатели любят рассматривать цветные фотографии и репродукции с картин, я, конечно, понимаю...

— Не судите нас строго. Переживаем временные трудности.

Геня Воронов и Сарнов засмеялись. Они готовили ДАРМС к установке, сидя в хвосте, и слушали разговор Дубровецкого со Струмилиным.

— Издевки над прессой к добру не приводят,— сказал спецкор и лучезарно улыбнулся. Если бы он рассердился, то не миновать бы ему тогда острых и злых подъелдыкиваний: Сарнов не любил прессу.

— Послушайте,— спросил Струмилин,— а вы не

знаете, кто из ребят написал в молодежной газете репортаж «Пять часов на льдине»?

— Не знаю, право... А что?

— Да нет, ничего, просто очень нечестный этот журналист. Тот, кто писал репортаж.

— Почему?

— Он летчика под монастырь подвел. Написал для саморекламы, что его вроде бы не брали на льдину — на такую, куда мы сейчас летим,— так он перед полетом забрался в самолет, спрятался там в пустую бочку и таким образом пробрался на лед.

— Я оправдываю его как журналиста.

— Володя,— попросил Струмилин Сарнова,— откройте, пожалуйста, люк...

— Что, выбросим прессу в седые волны Ледовитого океана?

— Я думаю, что пришло время.

— Ой, не надо,— попросил Дубровецкий,— приношу официальное извинение.

— То-то! Во-первых, на лед никто и никогда пустых бочек не возит. Пустые бочки берут со льда. Во-вторых, пилот сам пригласил этого подонка с собой и вез его в комфортабельной кабине. А с пилота потом спрашивали: как, мол, это так? Почему у вас в самолете летают зайцы? Выговор ~~он~~ заработал. А журналист — славу. Пусть он только никогда не появляется в Арктике, этот писака: если встретите — передайте.

— Меня душит гнев,— сказал Дубровецкий.— Картошка готова.

— Только не умирайте от удушья и режьте сало на мелкие кусочки. Придет Пьянков и поставит все это тушить на плитку.

Богачев сказал вошедшему Струмилину:

— Павел Иванович, ветер очень сильный, в бок бьет. Скорость упала. Может, прибавим оборотов?

— Снова торопитесь? Куда теперь, нельзя ли полюбопытствовать?

Богачев улыбнулся и ничего не ответил.

— Смешной корреспондент,— сказал Пьянков.— Спрашивает меня, почему к островам мы летели дольше на час, чем от островов сюда. А я ему говорю: «Так острова Смирения наверху, ближе к полюсу, мы к ним наверх забирались, а обратно мы точно с горки спускаемся. Как на глобусе». Записал себе в книжку, а я, чтоб не засмеяться,— сюда.

Струмилин сказал:

— Не надо этого делать. Парень он молодой, напортачит — и прощай журналистика.

— А что же он глупостям верит?

— Не глупостям верит. Он вам верит, Володя.

— Я — Пьянков, человек веселый.

— Вот и пойдите к нему, веселый человек Пьянков, и скажите, что пошутили. Прессу надо любить: это самые хорошие ребята, поверьте мне.

Струмилин поудобнее устроился в кресле, надел большие синие очки и натянул на руки тонкие кожаные перчатки. Когда предстояла трудная посадка — а первая посадка на дрейфующий лед всегда очень трудна,— Струмилин надевал тонкие кожаные перчатки, чтобы еще острее чувствовать штурвал.

Вошел Владимир Морозов. Он сел на место Пьянкова, между Струмилиным и Богачевым, закурил и сказал:

— Через полчаса должны прийти на место.

— Через двадцать семь минут,— заметил Аветисян.

— Ого...

— «Не ого», а точность...

— Точность — вежливость королей.

— И анкетное данное штурманов?..

— Лед плохой,— задумчиво сказал Морозов.

Струмилин заглянул под самолет: лед был действительно очень плохой — весь в застругах, разводьях и сильно торосистый.

«Я ничего, ничего не помню,— думал Богачев.— Я не помню, как она была одета, и не помню, о чем мы говорили. Я не знаю, сколько времени мы пробыли

вместе: час или сутки. Я только помню музыку. Наверное, когда любишь, всегда слышишь музыку».

Богачев закрыл глаза, чтобы лучше увидеть Женю. И он сразу же увидел ее. Он увидел близко-близко ее глаза. Ему даже стало страшно из-за того, что он увидел ее глаза так близко. На левой щеке у Жени были три маленькие родинки. Они образовывали треугольник: точный, как в учебнике геометрии. А потом он увидел ее губы и почувствовал их; ему стало еще страшнее из-за того, что он почувствовал ее губы как наяву.

Богачев быстро открыл глаза и сразу же увидел на себе взгляд Струмилина.

— Ты что?

Богачев шумно вздохнул. Струмилин еще мгновение смотрел на него, пристально и строго, а потом, улыбнувшись, сказал:

— Пойди позови журналиста, пусть посмотрит из кабины, как садятся на лед, а потом подстроишься ко мне.

«Арктика есть Арктика. Погода здесь норовиста и капризна, подобно характеру трафаретной недотроги из советских комедий. Но если норовистость красавиц — досужий плод фантазии писателей, то капризы здешней погоды — истинная реальность, против которой, как говорится, не попрешь.

Утром небосклон был по-кентовски поразителен: понизу красный, посредине голубой, стылый, прозрачный, а сверху придавленный густым фиолетом. Но к вечеру подул ветер, заиграла пурга этак метров на тридцать в секунду, и скрылось все в непроглядной белой пелене. И идут сюда, к нам в Тикси, тревожные вести: и мыс Челюскин закрылся, и Птичий закрылся, и Темп тоже.

Вот и сейчас руководитель группы по установке радиовех на дрейфующих льдах Владимир Морозов, и ведущий инженер Сарнов, и командир корабля Струмилин, хотя и пытаются вести со мной сдержанно-

светский разговор, но тем не менее я вижу, что им не до меня. С утра до вечера они совещаются о том, как можно поскорее уйти с материка на лед. И я перебираюсь в соседнюю комнату, где члены экипажа и участники экспедиции коротают время за книгами, шахматами и картами. О книгах со мной не говорят, справедливо полагая, что «в доме повешенного не говорят о веревке», хотя журналистика, на мой взгляд, все-таки дальняя родственница литературы, а не родная сестра, как это принято утверждать; всякий человек с мандатом столичного корреспондента принимается здесь как чрезвычайный и полномочный посол Союза писателей СССР. Поэтому количество шишек чуть больше того, чем я, может быть, и заслуживаю.

Здесь я познакомился и подружился с членами струмилинского экипажа: Броком, Аветисяном и Пьянковым. Второй пилот Павел Богачев лежал в изоляторе с жесточайшей ангиной, и Струмилин не рекомендовал мне беспокоить его. Подружился я и с Геной Вороновым и его товарищами из экспедиции Морозова. Славные ребята, чуточку играющие в ремарковский скепсис, они по-юношески влюблены в Арктику, настоящую литературу и французских импрессионистов...

«Под крылом самолета», так же как и «мне довелось» – эти выражения должны быть запрещены по закону в нашей журналистике из-за их штампованной затасканности. Но тем не менее без первого оборота мне никак не обойтись, потому что вот уже пять часов подряд под крылом нашего самолета проплывает пасьянс из битых льдин. Разгадать этот пасьянс куда сложнее, чем красочную чертовщину бубновых королей и пиковых дам. И помогают разгадывать тайну дрейфа хитрые приборы, именуемые ДАРМСами. Что это такое? Это – дрейфующая автоматическая радиометеорологическая станция. ДАРМС – слово резкое, как апперкот, и емкое, как вдох боксера. В недоступных точках Ледовитого океана ДАРМС фиксирует температуру воздуха, ат-

мосферное давление, скорость ветра и направление дрейфа льдов. Из этого конспективного перечисления становится ясно, сколь важны для мировой науки ДАРМСы. Как их устанавливают в центре Арктики на льду океана? Об этом и пойдет речь в моем репортаже. Тот, кому Ледовитый океан представляется безбрежным ледяным полем, заблуждается, и заблуждается очень глубоко. Здесь, в Арктике, только у берегов встречается монолитный, могучий лед. Мы пролетели всего полчаса, и вдоль по горизонту показалась тонкая голубая полоска, будто душное рассветное марево в жарких ставропольских степях. Эта голубая полоска надвигалась на нас все ближе и ближе.

— Ну вот,— сказал мне Герой Советского Союза Струмилин,— вы видите дрейфующий лед.

Дрейфующие льды представлялись мне громадой белых айсбергов, знакомых с детства по переводным картинкам и учебникам географии. На поверку дрейфующие льды оказываются совсем иными. Нет айсбергов, нет гипертрофированной масштабности, нет холодной толщи льда. Есть синяя спокойная вода, есть голубой прозрачной ледок, есть разводья, в которых волны замерзли, да так и остановились белыми пенными гребешками. Вот вам воплощение мечты любого мариниста: сиди себе, пиши пенный океан, он и не шелохнется.

— Здесь мы должны ставить ДАРМС,— говорит Морозов.

— Где?

— Здесь,— спокойно отвечает он.— Поищем льдинку и сядем.

И мы начинаем искать льдинку. Ведет самолет Павел Богачев. Струмилин сидит рядом, полирует ногти и рассказывает смешные истории про охоту. Струмилин рассказывает веселые истории, беззаботно полирует ногти, но глаз у него острый, цепкий, все замечающий: и качество льда, и ширину разводий, и «ювелирную» работу Богачева — молодого, но очень талантливого пилота.

Мы ходим кругами, отыскивая льдину, десять, двадцать, сорок минут.

Наконец Морозов говорит:

— Вроде бы вон та льдинка ничего, а?

— Пожалуй,— соглашается Струмилин, а Богачев ничего не говорит. Он просто бросает машину вниз, и мы идем вдоль по льдине «на брюхе», метрах в десяти надо льдом. Мы утюжим эту льдину раз пять. В руках у Морозова секундомер, он рассчитывает вместе с летчиками, хватит ли места для посадки. Струмилин и Богачев приникли к стеклам: надо все видеть сейчас, все до самой мелочи — нет ли больших заструг, трещин или сугробов. А это можно выяснить, проутюжив льдину раз пять или шесть подряд. Все можно увидеть, только нельзя точно узнать глубину льда, только нельзя быть до конца уверенным в том, что лед выдержит тяжелую машину.

Морозов щелкает секундомером.

— Я думаю, хватит, Павел Иванович,— говорит он.

— Да? Ну что ж, в добрый час.

Паша Богачев командует штурману:

— Геворк, приготовились!

Тот подходит к люку, открывает его, и в самолет врывается тугой студеный ветер. Ревет сигнал тревоги — резкий, злой,— и на лед летит дымовая шашка. По дыму летчики определяют силу и направление ветра. Снова Богачев кладет машину на бок, и теперь я вижу на белом листе льда грифельно-черную струйку дыма.

— Лед тонкий,— говорит Геня Воронов, глядя в иллюминатор,— ох, какой тонкий лед!

Этот тонкий лед, на который сейчас нам нужно сесть, несется на нас с устрашающей, неотвратимой быстротой. Всем существом своим я ожидаю первого удара лыжи об лед. Совсем рядом с иллюминатором — торосы, казавшиеся сверху кусками битого сахара. Было бы ложью с моей стороны писать сейчас, что мне не было страшно. Мне было очень страшно. И меня восторгала, но — где-то в глубине души — зави-

стливо злила спокойная, равнозубая улыбка Павла Богачева. Так улыбаться могут только бесстрашные или не совсем умные люди. А он умен. Значит, мне остается только завидовать, но не злиться. Секунда, еще секунда, секунда и снова секунда — толчок: сели! Геворк Аветисян весь так и высунулся из люка. Он смотрит на след от лыж. Если из-под лыж покажется вода, надо немедленно, не задерживаясь ни мгновения, уходить вверх. Бортмеханик Пьянков не выключает моторов. Моторы работают на всю мощность. На лед выскакивают Морозов, Сарнов и Воронов. Они бурят лед. Их работа стремительна и точна, потому что промедление сейчас смерти подобно. Бур уходит все глубже в лед. Десять, двадцать, сорок, семьдесят сантиметров! Все в порядке, лед надежен, поразительно трудная посадка на дрейфующий лед совершена Павлом Богачевым благополучно. Потом к нам на лед подсаживается второй самолет, с оборудованием, и мы начинаем готовиться к установке ДАРМСа. Мы бурим лед, устанавливаем мачту, крепим ее, обносим полотнищем с надписью «ААНИИ» — эмблема легендарного Института Арктики и Антарктики. Работа отрепетирована и слажена до самых последних мелочей.

И вот ровно в три ноль-ноль Москвы стрелки на четырех приборах автоматического радиопередатчика без всякого вмешательства человека запрыгали, как мне показалось, весело и радостно, будто мультипликационные персонажи, ожившие благодаря великому умению человека. Тишина. Белое безмолвие. И только веселые прыжки маленьких черных стрелок отдались в наушниках радистов Арктики строгими точками и тире — сообщениями о ветре, температуре, атмосферных явлениях и дрейфе льда.

Исторические вехи незримы. Я утверждаю, что работа людей Струмилина и Морозова, первооткрывательская работа — историческая веха в изучении белых пятен Арктики. Мир стал сейчас маленьким, в нем не должно быть белых пятен, об этом заботятся Струми-

лин и Морозов — люди большого спокойствия и великого мужества.

Передано по радио с борта самолета Героя Советского Союза Струмилина».

Дубровецкий положил этот текст перед Наумом Броком и попросил:

— Передайте в редакцию, если вас не затруднит.

— Пишете вы лучше, чем говорите,— сказал Брок, прочитав репортаж,— хотя, по-видимому, поступать наоборот легче. Значит, вы хитрый.

Дубровецкий усмехнулся и ответил:

— Я не хитрый. Просто говорить можно что угодно, а писать что угодно — преступление.

5

После того как поставили первый ДАРМС, Морозов и Струмилин забрались в кабину и, рассматривая карту, долго решали, стоит ли лететь на следующую льдину или целесообразнее вернуться на остров Птичий и завтра с утра начать установку еще двух ДАРМСов.

Пока Пьянков бегал вокруг самолета, осматривая его перед вылетом, Богачев стоял на торосах и, зачарованный, смотрел на сказочный ледовый пейзаж. Богачев несколько раз глубоко вдохнул чистый воздух.

«Здесь пахнет швейцарским сыром,— подумал он,— я чувствую это совершенно точно. Это смешно, и если сказать кому-нибудь, то меня засмеют и обвинят в пустом оригинальничанье».

Ночное солнце стояло в зените. Полярная ночь была светла так, что без синих очков нельзя даже взглянуть на снег, и на лед, и на небо. Здесь, в эту солнечную полярную ночь, все было наоборот: снег был красный, лед — густо-синий, а небо — белое. Оно было такое белое и глубокое, что даже самые спокойные скептики могли бы, глядя на него, поверить в

теорию бесконечности. Скептик вообще-то не верит в бесконечность. Скептик – человек, который во всем и всегда видит конец. Он просто притворяется, что верит в бесконечность, чтобы не прослыть отсталым. А здесь скептики поверили бы, если минут пять без перерыва посмотрели в белое, нескончаемо высокое небо.

– Паша,– сказал Пьянков,– ты что, хочешь остаться с медведями?

– Ни за что,– ответил Павел, по-прежнему глядя в небо.

– Тогда забирайся в летак, сейчас уйдем.

– Увага, увага,– сказал Богачев по-украински,– громадяне пассажиры, летак уходит на Птичий.

И пошел с торосов к самолету.

Когда поднялись на семьсот метров, Струмилин снял свои большие синие очки и долго тер веки. От этого в глазах пошли стремительные черно-зеленые круги. Несколько мгновений Струмилин не видел ничего, кроме этих стремительных черно-зеленых кругов, которые дробились, налетая друг на друга, внезапно исчезали вовсе, но потом появлялись вновь – замедленно, как на фотобумаге при печатанье снимков.

«Сплошная абстрактная живопись,– подумал Струмилин,– только у меня круги двух цветов, а там – десяти. Больше вроде бы разницы никакой нет...»

Он надел очки, осторожно приоткрыл глаза и сразу же зажмурился – так сильно резануло стылой яркостью полярной ночи.

– Сейчас в Москве днем темнее, чем здесь ночью,– сказал Струмилин, осторожно приучая глаза к свету.

– Сейчас, пожалуй, вровень,– заметил Богачев,– всего десять дней до мая осталось.

– Одиннадцать.

Богачев улыбнулся:

– Ну, если одиннадцать, то уже все равно десять.

— Поплюйте через плечо и постучите о дерево,— тихо сказал Струмилин и хитро подмигнул Павлу.— Я научился этому в Испании, под Гвадалахарой, и это здорово помогало мне там...

Струмилин обернулся назад и, посмотрев на Брока, работавшего ключом, хотел спросить, какую дают погоду, но вспомнил, что погоду здесь никто не может дать, потому что вокруг океан.

Привстав на сиденье, Струмилин оглядел небосклон.

— Ого,— сказал он,— что-то на юго-востоке здорово синё.

— Где? — спросил Богачев.

— А вон, видите?

— Вижу.

— Это к сильному ветру.

Богачев закурил и сказал:

— Какое хорошее слово «синё»! Летнее.

— Ну нет,— возразил Морозов, сидевший на откидном сиденье Володи Пьянкова, между Богачевым и Струмилиным,— это, Паша, не летнее, а весеннее слово. Только весной бывает синё вечерами и ранним утром. А особенно у нас, в Ленинграде, в маленьких переулках. Там и дома-то синие ранним утром. Я очень люблю весну,— вздохнул он,— больше всего люблю весну. А последние десять лет не видел ее.

— Почему?

— Все время здесь: с марта по июнь. В этом году хочу постараться закончить все к середине мая, чтобы хоть белые ночи дома встретить.

— Мало вам здесь белых ночей? — спросил Аветисян и, нагнувшись к Струмилину, тронул его за плечо. Струмилин сразу же приподнялся и посмотрел направо, туда, где вдоль по небосклону шла синяя полоска. Сейчас синяя полоска стала фиолетовой и приподнялась надо льдами.

Морозов, Струмилин и Аветисян переглянулись.

— Это к пурге,— сказал Струмилин Павлу,— имейте в виду на будущее: фиолетовый цвет — самый гад-

кий для нас здесь, в Арктике. Сколько еще нам до места, Геворк?

Аветисян отошел к своему столу, помудрил там с логарифмической линейкой и ответил:

— Тридцать одна минута.

— Благодарю вас. Володя, ну как? Успеем до пурги?

— Успеем.

— Да?

— Пожалуй, успеем.

— Такой ответ сейчас мне больше нравится,— улыбнулся Струмилин.

В кабину заглянул Дубровецкий.

— Летчики-пилоты, бомбы, самолеты, очень что-то здорово стало болтать,— сказал он,— в меня вселяется страх.

— Выселите его,— посоветовал Павел.

— Вам хорошо, вы мужественные, а я весь соткан из видимых миру слез и невидимого миру смеха.

— Это наоборот цитируется,— заметил Павел.

— У Гоголя — да,— согласился Дубровецкий,— но самобичующая правда — вот моя походная визитная карточка.

— У вас их всего две? — спросил Морозов, подмигнув Павлу.

— Не понял...

— Что ж тут не понять: одна — походная, другая — стационарная. Одного такого шутника я уже знал.

— Кто же это?

— Двуликий Янус.

— Удар под микитки в шутливом разговоре,— сказал Дубровецкий, подняв указательный палец, как патер,— разрешался только одному человеку...

— Кому же? — спросил Морозов.

— Начальнику отдела сатиры в Мосгосэстраде.

— Квиты,— сказал Морозов, и все засмеялись.

— Подходим, Павел Иванович,— сказал Аветисян.

— Давайте-ка, Паша,— откашлявшись, скомандовал Струмилин,— спустимся и поищем льдинку.

Спускаясь, самолет попал в воздушную яму, и Дубровецкий, стоявший рядом с Морозовым за спинами летчиков, сильно ударился головой о переборки.

— О черт,— сказал он,— не хватало мне только лишиться языка! В Арктике это особенно весело.

— Во-он хорошая льдинка, Павел Иванович,— кивнул головой Павел на большое ледяное поле.

— Слишком хорошая.

— Вы не любите слишком хороших льдин?

— Не люблю.

— Очень хорошая льдинка,— сказал Морозов.— Паша прав...

— Предлагаете сесть?

— Пожалуй, да.

— Дымовую шашку! — скомандовал Струмилин и повел самолет на бреющий полет.

Он долго утюжил льдину, куда дольше, чем ту, с которой ушли два часа тому назад.

— Ладно,— сказал Струмилин,— будем садиться. Люк приготовьте!

У открытого люка стали Морозов и Сарнов. Как только лыжи коснулись льда, они сразу же высунулись, чтобы наблюдать, не появится ли вода. Самолет плавно бежал по льду. Но когда левая лыжа проходила по небольшому сугробу, самолет качнуло, и Морозов, неловко растопырив руки, упал на колени. Сарнов держал тяжелую дверь люка. Он не мог отпустить ее, потому что, отпустив дверь, он сделал бы еще хуже: Морозова вытолкнуло бы немедленно на лед. А при огромной скорости самолета — это верная и немедленная гибель. Морозов пытался ухватиться пальцами, но его ногти скользили по обшивке, он неуклонно сползал вниз, неуклюже размахивая правой рукой и царапая ногтями по обшивке левой. Все это длилось какую-то долю секунды. И еще осталась доля секунды до того, как он вывалится на лед и разобьется.

Дубровецкий, сидевший на запасном бензобаке, не то чтобы бросился к Морозову. Каким-то непонятным, акробатическим движением он вскинул свое грузное тело и, распластавшись, полетел к Морозову. Он плюхнулся рядом с ним, застонал и в самый последний миг успел ухватить Морозова за воротник. Он затащил его в самолет, помог встать, поднялся сам и сказал:

– И все-таки оперативность – лучшее качество советской журналистики.

Сарнов, бледный до синевы, разлепил губы в улыбке.

– Ах, какой же вы молодчина, за вас Морозов должен свечу поставить!

– Религиозный дурман – опиум для народа.

Морозов хлопнул Дубровецкого по плечу и сказал:

– Будет вам, дружище. Что вы хитрите все время? Дуракам надо хитрить. С меня ужин в «Астории».

Подошедший Брок сразу же отреагировал.

– Обыкновенный питерский эгоизм,– сказал он.

– Почему?

– А с нами как быть? С москвичами?

Сарнов ответил:

– Мы пришлем вам коньяку заказной посылкой.

– Вы его еще вынесите нам на подносе, разлитым по стаканам, как дворникам.

– Вы извозчики, а не дворники.

– Зря вы спасали этого гражданина,– сказал Дубровецкому Брок,– понапрасну затраченный труд, который граничил с героикой. Во имя кого?

Сарнов выглянул в люк и замахал руками.

– Вода! Вода! – закричал он.– Вода под лыжами.

Снег, убегавший из-под левой лыжи, становился сначала голубым, потом серым, а потом и вовсе черным. По снежному полю тянулся черный след, будто рваная рана.

Струмилин негромко скомандовал:

– Газ!

— Есть газ!

Моторы взревели, и самолет резко повело вперед.

— Не хватит разбежаться, там торосы,— сказал Богачев.

— Верно. Отставить,— так же негромко и спокойно сказал Струмилин.— Будем разворачиваться. Тормоз, Володя.

Богачев, замерев, следил за работой Струмилина. Его, в который раз уже, поражала точность каждого движения командира. Но сейчас, в этот критический момент, когда все решалось мгновениями, Павел искал в Струмилине хоть каплю напряженности и той «мобилизованности», о которой он читал в книжках, описывающих подвиги. Никакой напряженности в Струмилине не было: он сидел, откинувшись на спинку своего кресла, и, спокойно управляя машиной, успевал перекладывать языком леденец. Он не выплюнул леденец, когда узнал про воду, а продолжал неторопливо сосать его, перекладывая языком с правой щеки за левую.

— Особенно скорости сбрасывать не надо,— тихо пояснил Струмилин,— провалиться можем.

Он объяснял это неторопливо и так же действовал. Но эта неторопливость была кажущейся: на самом деле он был стремителен.

— Полный газ!

— Есть!

— Еще!

— Есть еще!

— Очень хорошо. Поднимайте ее, Пашенька...

— Есть, командир!

Когда Павел поднял самолет, Струмилин закурил и сказал:

— М-да... Все-таки не зря я никогда не верю явному благополучию — в чем бы то ни было. Не верю, и все тут...

Дальше шли в облаках. Сильно болтало, фиолетовая полоска все-таки принесла пургу. Струмилин был прав.

Аветисян подшучивал над Морозовым, который сидел у аптечки и прикладывал к синякам на лбу и на скуле свинцовую примочку. Дубровецкий спал на том месте, где в обычное время отдыхал Пьянков. Струмилин, то и дело оборачиваясь, поглядывал на Пьянкова. Тот, наконец, не выдержал и взмолился:

– Каюсь, Павел Иванович, каюсь! Беру свои слова назад! Да здравствуют журналисты и писатели!

– То-то,– рассмеялся Струмилин,– теперь я удовлетворен. Между прочим, хотите, в завершение я вам стихи прочту? Тихонова Николая Семеновича.

– «Сагу о журналисте»? – спросил Богачев.

– Умница,– сказал Струмилин,– умница, Паша. Кто еще эти стихи знает?

– Ждем стихов,– сказал Аветисян.

Струмилин погасил папиросу, откашлялся и начал читать:

События зовут его голосом властным:
Трудись на всеобщее благо!
И вот человек переполнен огнем,
Блокноты, что латы, трепещут на нем -
И здесь начинается сага.

Темнокостюмен, как редут,
Сосредоточен, как скелет,
Идет: ему коня ведут,
Но он берет мотоциклет -
И здесь начинается сага.

Гарцуют селенья; селькор наилучший
Лежит над горбами оврага.
Он вводит убийцу в судебные тучи –
И здесь начинается сага.

Как шествует житель, как падает бык,
Как ест муравья муравьед,
Как сам муравьед растворен в муравье -
Решеткой сигнального флага,

Решеткою строк накрывать он привык -
И здесь начинается сага.

Газеты, как сына, его берегут,
Семья его – все города,
В родне глазомер и отвага,
Он входит на праздник и в стены труда -
И здесь начинается сага.

Но есть откровенных страстей хоровод,
Играющий скоростью лага,
И в этих морях, развивая полет,
Он женщин за жаркие плечи берет –
И здесь начинается сага.

Он – искра и ветер и рыцарь машин,
Столетья кочующий друг,
Свободы охотничья фляга –
Он падает где-нибудь в черной глуши,
Сыпняк или пуля, он падает вдруг -
И здесь начинается сага.

На острове Морозова ждала радиограмма. Он прочитал ее, улыбнулся и сказал:

– Разрешили все-таки...

Он просил разрешить ему и Сарнову несколько дней посидеть на льду для того, чтобы всесторонне изучить работу ДАРМСов. Ему разрешили, предложив перелететь на станцию «Наука-9», где все океанологические работы подходили к концу. Морозов должен был провести на льдине, «принадлежащей» «Науке-9», неделю, а потом вместе с тамошними зимовщиками уйти на материк. Вывоз полярников на материк с «Науки-9» возлагался на летчиков, работавших на «ИЛ-14».

– Расстаемся, Павел Иванович,– сказал Морозов,– спасибо вам.

– Ерунда.

– Мы очень здорово поставили эти два ДАРМСа.

– В следующем году еще поработаем, мне тоже очень приятно было с вами летать.

– Пойду попрощаюсь с вашими людьми.

– А я – с вашими. Вот вам и челночный полет, совсем как в сорок четвертом.

В ту же ночь экипаж Струмилина получил задание взять на острове груз и перевезти его на станцию «Северный полюс-8». Богачев этому очень обрадовался.

– Мне кажется, что на полюсе все должно быть иное,– сказал он Броку.

– На полюсе все так, как и здесь.

Струмилин рассердился:

– Нёма, если человек может удивляться и радоваться, ему надо завидовать. На полюсе все действительно не так. Там все иначе. Все. Не верь Нёме, Паша. Он старый полярник, ему ничто не в новость. Мне жаль его – он разучился удивляться.

– Пусть удивляются поэты,– усмехнулся Брок,– им это идет на пользу.

Струмилин сказал:

– Нёма, в вас умирает прекрасный критик. Поэтому именно вам сейчас придется пойти к Кассину и взять у него для зимовщиков штук шесть хороших фильмов.

Брок засмеялся и пошел к Кассину, начальнику здешней зимовки – маленькому черному человеку, страдающему непонятным дефектом речи. Он начинал фразу громко, а заканчивал ее шепотом и невнятно.

Брок заглянул к нему в комнату и сказал:

– Мы идем на полюс, к ребятам. Дайте штук шесть фильмов, а мы вам что-нибудь привезем от них в обмен.

– Какие вы хот-ите заать?..

Последнее слово, сказанное шепотом, означало «забрать».

– Хорошие.

– У нас все-е хоошшее...

Здесь последнее слово означало «хорошие».

— Какие? — переспросил Брок, с трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться.

— Хорошие! — прокричал Кассин.— Отличные советские фиимы...

Он смог выкрикнуть только первые три слова, а на слово «фильмы» у него уже не хватило пороху, и он пробормотал его невнятно и, как обычно, шепотом.

Брок выбрал шесть фильмов. Он выбрал «Чапаева», «Карнавальную ночь», три детектива и последний, только что переведенный на узкую пленку,— «Римские каникулы». Брок знал, что Струмилину очень нравился фильм «Римские каникулы», и поэтому он захватил его. Броку казалось смешно, что Струмилину мог по-настоящему нравиться этот фильм.

— Неужели вы совершенно искренне любите эту картину, Павел Иванович? — спросил однажды Брок.

Струмилин, усмехнувшись, ответил:

— Одна моя знакомая дама, молодая совсем, но очень талантливая поэтесса, говорила, что искренни только дети. И родители их за это наказывают. Когда ребенок говорит какой-нибудь вашей гостье: «Тетя, у тебя нос, как куриная попка», или: «Дядя, у тебя изо рта пахнет помойкой»,— вы ребенка наказываете, правда ведь? Ну вот. Так что я вам неискренне говорил, что мне нравятся «Римские каникулы».

Но Брок заметил, что всякий раз, когда на зимовках, где приходилось ночевать экипажу, показывали ночью «Римские каникулы», Струмилин, как бы ни устал, все равно ходил смотреть этот фильм. Поэтому на всякий случай Брок взял его сейчас и на полюс. Вдруг там нет этой картины, а если придется ночевать, то Струмилину будет приятно еще раз ее посмотреть.

6

Чем дальше к полюсу шел самолет Струмилина, тем больше попадалось чистой воды. Иногда казалось, что самолет идет над морем — над теплым южным морем, а не над Северным Ледовитым океаном. Все мо-

ря сверху, из самолета, одинакового цвета. Все, и теплые и студеные. Моря как люди: плохие и хорошие — они созданы по одному образу и подобию.

Богачев часто приподнимался на сиденье, заглядывая вперед: ему хотелось первым увидеть дрейфующую станцию. По этому поводу Аветисян весело перемаргивался с Броком, а Струмилин — с Пьянковым. Богачев не видел этих веселых, дружеских перемигиваний, а если бы даже и увидел, то ни в коем случае не обиделся. В Арктике не принято обижаться на шутки, а тех, кто все-таки обижается, знают наперечет и не очень-то жалуют.

Аветисян то и дело поднимался со своего места и, приставляя карманное зеркальце к астрокомпасу, проверял правильность курса. Струмилин не ждал, что скажет Аветисян: они понимали друг друга не то что с полуслова, а просто-напросто «со спины».

Струмилин слышал, как Аветисян поднимался со своего места; он слышал, как Аветисян поднимался на цыпочки, поднося зеркальце к астрокомпасу, и как раз в тот момент, когда Аветисян, перепроверив курс, нагибался к нему, чтобы сказать, какую надо внести коррективу, Струмилин уже поворачивал рычажок в нужном направлении.

Брок сидел в своем закутке и разговаривал с миром. Его «почерк» был известен всей Арктике. Как только Брок входил в эфир, все радисты знали, что это «говорит» именно он. Брок сердился, если его «переспрашивали». Он почти никогда не отвечал, если его переспрашивали, потому что считал лентяйством не понять сразу переданное в эфир. «А вдруг второй раз передать нельзя?» — всегда говорил он, если при встрече его ругали те, кто не понял его сразу.

Володя Пьянков ушел из кабины и, устроившись на запасном бензобаке, спал. Он ворочался во сне и все время причмокивал. Проходя мимо него, Струмилин укрыл его курткой и поправил под головой унты, служившие сейчас подушкой.

Вернувшись в кабину, Струмилин устроился на своем месте и снова посмотрел на Богачева. Он теперь часто разглядывал его. Он видел, что с парнем произошло что-то значительное, такое, что запоминается на всю жизнь. Богачев вернулся из Москвы совсем иным: подсохшим и повзрослевшим. Спросить его Струмилин ни о чем не решался. Иногда ему казалось, что Павел только и ждет его вопроса. Но он все равно не решался ни о чем спрашивать.

«Это будет глупо,— думал он,— буду интересоваться, как добрый дяденька. Он ездил к Жеке, это ясно. Либо он сейчас счастлив и поэтому весь такой обуглившийся, или ему очень плохо. Так плохо, как быть может плохо мужчине только раз в жизни. Но даже если ему плохо, я все равно ничем не могу помочь парню — я слишком хорошо знаю Жеку. И, наверное, это самое хорошее, что есть в нашем веке: отец не может приказывать дочери. Мы, наверное, даже и не понимаем, как это гуманно. «Стерпится — слюбится» — боже ты мой, какое же это скотство! Так говорили отцы детям, когда вынуждали их выходить замуж. «Стерпится — слюбится» — наверное, отсюда рождались дети-уроды...»

— Черт,— сказал Павел, обернувшись к Струмилину,— что же так долго?

Струмилин засмеялся:

— Скоро приедем.

— Через час,— подсказал из-за спины Аветисян.— Мужайся еще один час, а потом ты станешь настоящим полярником.

— Нёма,— спросил Струмилин,— скоро будут последние известия?

— Сейчас я найду.

Струмилин надел мягкие наушники и закурил. Он слушал эфир: тысячи голосов, тревожные поиски морзянки, обрывки музыки, злые голоса диспетчеров — все это билось в ушах, и от этого у Струмилина почему-то сильно болели мочки. Не перепонки и не голова, а именно мочки ушей болели острой и противной болью.

— Послушайте, хорошая музыка,— предложил Брок,— до последних известий еще шесть минут.

7

Далеко-далеко впереди, среди торосов, казавшихся в лучах солнца красными, Богачев увидел крохотные черные точки. Это были маленькие полярные домики-балки́ и палатки станции «Северный полюс-8». Самолет пошел на снижение, балки́ перестали казаться крохотными, и стало видно, что все палатки жгуче-черного цвета. Посредине ледяного поселка ярким пятном выделялся красный стяг. К ледяному аэродрому бежали зимовщики. Они бежали очень быстро, и Богачев видел, как они обгоняли маленький трактор, тащивший прицеп, на который надо было разгружать самолет.

Все было обыкновенно: и балки́, и палатки, и люди, бежавшие к самолету, и торосы, окружавшие ледовый лагерь, но Богачев видел все именно так, как он хотел видеть. Ведь мимо Сикстинской мадонны можно пройти так же, как проходят мимо репродукций с лакированных, улыбающихся и ничего не выражающих портретов. Надо уметь видеть и х о т е т ь видеть, тогда увидится.

Богачев почувствовал, что он вот-вот расплачется. Он смотрел на людей, бежавших к самолету, и вспоминал отца, и видел Женю, и то раннее утро, когда она отвезла его на аэродром, и еще многое вспоминал он — то хорошее, что наваливается одним виденьем, большим и неясным, но изумительно радостным.

Когда они вышли из самолета и поздоровались с зимовщиками, Струмилин сказал:

— Чувствуешь, какой разреженный здесь воздух?

Павел ответил:

— Я чувствую, что здесь прекрасный воздух.

— Правильно. Только он очень разреженный. Но это ерунда. Ты сейчас этого не почувствуешь. Ты это почувствуешь позже, через двадцать пять лет и семь месяцев.

Богачев засмеялся. Струмилин подтолкнул его и сказал:

– Пойдем в балок к начальнику станции. Я вас познакомлю. Он прекрасный парень, молодой, вроде тебя. И доктор здесь тоже совсем молодой. Тут весь состав зимовки комсомольский. Пошли.

Жизнь на Северном полюсе шла своим чередом: океанологи запускали свои приборы в воду, синоптики выпускали зонды, на кухне готовился обед; монотонно и спокойно трудился мотор, дающий электричество, лаяли псы – старожилы зимовки, проведшие здесь два года.

– Как на суше,– сказал Павел.

– Здесь три километра глубина,– усмехнулся Струмилин.

Богачев вдруг остановился и снял ушанку. Он стоял нахмурившись, молча и торжественно. Струмилин пошел потихоньку: он понял парня и решил уйти вперед.

«Я на Северном полюсе»,– думал Богачев. Все в нем ликовало радостью огромного свершения.

Он засмеялся и надел шапку.

«Сбылись мечты идиота. Кажется, это из Ильфа и Петрова. Черт, я на полюсе! Если бы отец...– Павел одернул себя.– Пожалуй, не надо мне думать о том, что я на полюсе. В конце концов это не моя заслуга. Это то же, что сейчас туристу съездить в Берлин. Он может съездить в Берлин сейчас, потому что многие не вернулись оттуда в сорок пятом, в апреле и в мае...»

Небо над Павлом было поразительно и прозрачно. Такое небо бывает в Подмосковье после первого грибного дождя в самом начале мая, когда все вдруг станет до того чистым и светлым, что и на душе становится как-то по-особому радостно и только тогда понимешь – вот она, весна! Пришла, с ливнем, с грозой, которая очищает все окрест, пришла с теплом и с цветеньем, с тишиной вечеров и несказанной яростью рассветов, когда мир безмолвствует, а птицы возвещают солнце...

«Надо пойти и послать Жене радиограмму с полюса,— решил Павел.— Это будет ей приятно. Я напишу ей, что здесь все как в Москве, только почему-то нет трамваев».

Богачев быстро пошел к тому балку́, в который только что зашел Струмилин. Он приоткрыл дверь и громко сказал:

— Здравствуйте, товарищи!

Струмилин приложил палец к губам и попросил:

— Тише...

Богачев сразу же приподнялся на цыпочки: ему показалось, что он разбудил кого-то.

— Простите,— сказал он шепотом.

— Ничего,— ответил человек, сидевший у стола,— говорите нормально. «Наука-9» передает «SOS».

Струмилин, начальник станции и парторг собрались в балке́ у радиста. В эфире царило молчание. Радист сидел, согнувшись, прижимая левой рукой наушник, а правую руку держал на ключе, готовый в любую минуту передать команду, которой все ждали. Две минуты назад радист передал «SOS» с «Науки-9» на Диксон Годенко. Секундная стрелка на больших струмилинских часах ползла рывками, словно цепляясь за невидимые преграды, расставленные на каждом делении. Прошло несколько долгих секунд — они казались минутами. Прошла минута — она казалась часом.

— Есть! — сказал радист и, бросив ключ, начал записывать на бланке текст, переданный из Диксона:

«Экипажу Струмилина немедленно выйти на помощь «Науке-9». Вылетаю к вам. Годенко».

Струмилин достал из кармана пачку папирос, осторожно открыл их ногтем, закурил и, потушив спичку, сказал радисту:

— Запросите «Науку-9», какая у них осталась посадочная полоса. Сможем ли мы сесть на нашем «ЛИ-2»?

Радист быстро передал струмилинский запрос, и снова потянулись долгие секунды ожидания. Все молча курили, не глядя друг на друга.

Струмилин вспомнил, как его транспортировали из Пиллау в Берлин, в гестапо. Его везли на транспорте по морю. Ночью налетели американцы и транспорт разбомбили. Уцелело всего человек пятнадцать, не больше. Они разместились в двух больших шлюпах. Только в первом шлюпе было тринадцать человек, а во втором – двое: Струмилин и еще какой-то немец с перевязанной рукой. Немец был в черном мундире. Он кричал Струмилину:

– Стань на руль! Скорее стань на руль!

Струмилин пошел к рулю. Он проходил мимо немца, а тот кричал сорванным голосом:

– Надо держать к тому шлюпу, они возьмут нас на буксир!

Струмилин приближался к немцу, придерживаясь рукой за борт: волна был чередующаяся, сильная, и могло запросто смыть. Он поравнялся с немцем и крикнул:

– Смотри!

Немец обернулся, и в этот миг Струмилин что было силы толкнул его. Немец вывалился за борт. Какую-то минуту он еще пытался царапать ногтями борт шлюпа, но потом волна отнесла его в сторону, и Струмилин уже не слышал, что он кричал. Немец кричал еще минуты две страшным, заячьим голосом. Потом он замолчал.

Струмилин опустился на лавку. В ушах стучало. Он тогда подумал, что в ушах стучит очень ровно и точно: наверное, каждая секунда проходит с ударом. Он торопил время, ему хотелось, чтобы секунды шли скорее, как можно скорее, пусть бы в ушах било еще сильнее,– он бы радовался этому, несмотря на страшную боль, потому что шло время. Шло время, и второй шлюп отходил все дальше и дальше.

Струмилин смотрел туда, где мерцал огонек второго шлюпа. Иногда ветер доносил оттуда крик:

– Где вы? Отвечайте! Где вы?

Но была ночь, и шлюп, в котором затаился Струмилин, относило в сторону. И он все время торопил проклятые секунды, которые считал по ударам в ушах.

«Ну же! – шептал он тогда.– Скорее! Скорее же! Еще скорее! Ну! Скорее!»

А потом, когда огонек первого шлюпа скрылся, Струмилин зачерпнул ладонями воды, вытер горящее лицо, лег на дно и уснул. Он ни разу не спал так спокойно за те два месяца, что провел в плену: сначала в госпитале, а потом в гестапо. Он спал без сновидений. Проснулся ранним утром от чьих-то голосов. Открыл глаза и увидел рядом с собой людей в клеенчатых плащах.

– Вы кто? – спросил он по-немецки.

Один из людей ответил:

– Мы рыбаки.

– Я спрашиваю, кто вы? – повторил Струмилин, поднимаясь. Он увидел море вокруг и маленькую рыболовецкую шхуну. «Если немцы – тогда все к черту,– подумал он устало,– тогда надо все кончать».

Струмилин приготовился к ответу. Если скажут, что немцы, тогда он решил прыгать в море и сразу же глотать зеленую воду.

Тот человек, который первым ответил ему, ответил и сейчас. Он сказал сердито:

– Мы не воюем, не бойся.

– Шведы?

– Конечно, шведы. Кто еще сейчас ловит рыбу, как не мы? Кому еще дело сейчас до рыбы? Все остальные заняты тем, что убивают друг друга.

Радист снова встрепенулся и начал писать на бланке приема: «Вся льдина изломана. Осталось метров сто. «ЛИ-2» не сядет. Сарнов тяжело ранен при торошении. Видимость плохая. Сильный туман. Морозов».

Струмилин читал ответ «Науки-9», поднявшись и заглядывая через голову радиста на бланк радиограм-

мы. Тот кончил записывать и протянул радиограмму Струмилину.

– Спасибо. Я прочитал.

Начальник станции тоже поднялся и вопросительно посмотрел на Струмилина.

– Когда сменный экипаж летал на вашем «АН-2»? – спросил Струмилин.

– Примерно месяц тому назад. Мы делали ледовую разведку. Да, точно, месяц тому назад.

Струмилин шел к своему самолету. Разгрузка уже кончилась. Все стояли вокруг молча и настороженно.

– Володя, зачехли машину и скорее к «АН-2». Мы пойдем к ним на «Антоне», иначе там не сядешь.

– Есть.

– Давайте все к «Антону»,– еще раз сказал Струмилин людям. Все бросились к тому месту, где стоял «АН-2». Струмилин пошел следом. Все бежали, а Струмилин бежать не мог, потому что воздух здесь был разреженный и покалывало сердце, особенно когда он начинал быстро двигаться.

8

Для того чтобы подготовить к вылету машину, простоявшую на сорокаградусном морозе месяц, по неписаным инструкциям надо потратить часов пять, не меньше. Надо «оттаять» каждый квадратный метр плоскостей, надо прогреть мотор, надо заново проверить всю систему электропроводки и привода рычагов управления в воздухе.

Сейчас эту работу сделали за час, и поэтому Струмилин, упав в кресло, на какую-то долю минуты замер без движения. Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой: по всему телу разлилась усталость. Это была особая усталость, и Струмилин ее боялся, потому что она приходила с безразличием ко всему окружающему. Точно такая же усталость за год до смерти появилась у его друга полковника Ильи Никонова,

вместе с которым он начинал летать. Струмилин помнил, как в сорок втором году, когда он на день прилетел домой с фронта, Илья пришел к нему усталый, с серыми мешками под глазами. Он сидел в кресле у завешенного черной бумагой окна и беспрерывно курил. У Струмилина работала ванна. Это было редкостью, и поэтому Илья решил выкупаться. Он залез в ванну, Струмилин как следует натер ему спину жесткой мочалкой и окатил горячей водой. Струмилин смеялся, а Илья молчал. Потом началась бомбежка, и большая бомба грохнулась совсем рядом. Повыбивало стекла. В квартире стало холодно и сыро.

— Вылезай,— сказал Струмилин.— Сволочи какие, придется идти в убежище ночевать: там тепло.

Никонов молчал. А когда Струмилин поторопил его, он ответил:

— Ничего не хочу, Паша. Вставать не хочу, идти не хочу, лежать хочу. Понимаешь? Хочу лежать. Я очень устал и хочу просто лежать.

В первый раз такую же безразличную ко всему усталость Струмилин почувствовал год тому назад, когда впервые заболело сердце. Его не испугала боль, стиснувшая грудь и верх живота. Нет. Он знал боль пострашнее. Он испугался опустошающего безразличия, которое пришло вместе с болью.

Сейчас он не чувствовал боли. Он чувствовал усталость после часовой работы. Его ребята сидели рядом: мокрые, без меховых курток, в расстегнутых кожанках.

«Простудятся,— подумал Струмилин,— надо им сказать, чтобы они сейчас же оделись».

Струмилин закрыл глаза, потому что ему потребовалось усилие, чтобы сказать ребятам про одежду. Он глубоко вдохнул через нос и сказал скрипучим голосом:

— Оденьтесь, а то простудитесь все к черту.

— Ничего,— ответил Пьянков.

— Вам плохо? — тихо спросил Аветисян, нагнувшись к Струмилину.

— С чего вы взяли? Просто устал.

— Здорово побледнели, Павел Иванович,— тихо сказал Богачев,— может, простудились?

— Наверное. Давайте запускаться, Володя. Мы слишком много говорим, давайте скорее запускаться.

Мотор зачихал, пропеллер стал вращаться быстрыми, сильными рывками, а потом исчез, потому что начал вращаться на всю мощность.

Струмилин сидел, все еще закрыв глаза.

— Поднимай машину, Паша,— предложил он,— я посмотрю, как ты это сделаешь...

— Вам плохо, Павел Иванович.

— Не говори глупостей.

— Я же вижу...

— Поднимайте машину!

— Павел Иванович...

— Или убирайтесь отсюда! — зло сказал Струмилин. Он натянул свои кожаные перчатки, откашлялся, положил руки на штурвал и коротко приказал: — Володя, пошли!

Струмилин вел самолет на высоте двухсот метров. Ветер был сильный, здорово болтало, и эта болтанка отдавалась в его груди и в животе острой, все время растущей болью.

— Павел Иванович,— сказал Богачев, смотревший на него,— а не делаем ли мы глупости? Может быть, стоит вернуться, если вам плохо?

Струмилин молчал, вцепившись что есть силы в штурвал. Он понимал, что сейчас этот металлический полукруг, обтянутый желтой кожей, был для него то же самое, что для Антея — земля. От штурвала в него шла сила. Он чувствовал это, он не мог ошибаться.

«Ерунда,— думал он,— отпустит. Просто я переработал, когда мы готовили машину. Но не мог же я стоять в сторонке, пока ребята выбивались из сил. Это было бы нечестно. Я — мэтр, а они — мои рабы, что ли? А не можешь летать, так не летай. Но я не могу не летать, поэтому я обязан работать вместе с ними. А как же иначе?»

Летели над чистой водой. Облака прижимали самолет к самой воде. Они неслись навстречу — густые и серые, клочковатые, как дым пожарищ. Машину болтало все сильней.

— Геворк,— спросил Струмилин,— сколько еще?

— Через сорок минут мы должны выйти на них.

— Хорошо.

— Вас подменить, Павел Иванович?

— Нет.

— Вам лучше?

— Да.

Струмилин решил принять немного нитроглицерина. Он попросил:

— Дай мне кусок сахару, Паша.

— Может быть, сварить кофе?

— Кофе осталось в нашей машине, ты что, забыл?

— Забыл.

— Дай мне скорее кусок сахару.

Павел достал из портфеля пачку сахару и вытащил Струмилину один кусок.

— Держи штурвал.

Павел взял штурвал.

Струмилин почувствовал во рту острый привкус нитроглицерина. Он улыбнулся Пьянкову и Аветисяну, склонившимся над ним.

— Что надо сделать? — спросил Аветисян.

Струмилин махнул рукой.

— Что?

— Лететь,— сказал он.— А я минуту отдохну.

Он закрыл глаза и стал дышать носом: неглубоко и осторожно. Он представил себе свое сердце. Однажды он видел сердце, сделанное из синтетического материала в натуральную величину и работавшее как настоящее. Это было на какой-то выставке в Москве, и Струмилину тогда показалось, что не надо показывать людям их работающее сердце. Ему тогда показалось это жестокостью и неуважением к великому таинству вечного работника. Вечного человеческой вечностью.

Струмилин подумал, что спутники запускают только для того, чтобы принести из космоса, а потом из других миров новые знания для человечества. Может быть, со временем люди узнают, как сделать сердце вечным. Они могут это узнать, покорив космос и познакомившись с тамошними обитателями. Только искусственное сердце, наверное, совсем иначе гонит кровь, и поэтому люди тоже станут иными, если узнают тайну вечного сердца.

9

Наум Брок вышел на радиопривод «Науки-9». В наушниках пищало тем громче, чем ближе к ледяной станции приближался самолет Струмилина, который сейчас вел Павел Богачев.

— Они предлагают садиться километрах в трех от них,— сказал Наум, оторвавшись на секунду от приема,— там площадка ровнее.

— Хорошо.

— Только до них потом придется добираться три километра через торосы. Они передают, что там торосы здоровые и идти будет трудно.

— Где у них горючее? — спросил Павел, приподнимаясь в кресле, чтобы лучше видеть лед.

Наум начал быстро выбивать ключом его вопрос.

— Они передают, что горючее в лагере.

— А как же мы будем заправляться? Нам ведь не хватит дойти обратно на нашем горючем.

— Значит передать, что будем садиться прямо в лагере?

— Да.

Радиопривод в наушниках теперь не пищал, а надсадно и монотонно выл, как сирена. Павел смотрел вперед, но не видел палаток «Науки-9».

«Сейчас, Павел Иванович,— думал он,— сейчас, миленький, вы уж потерпите немного. Мы их найдем. Сейчас мы их найдем, вы только не волнуйтесь».

— Где же они?! — закричал Павел.— Геворк Аркадье-

вич, где они?!

Аветисян стоял у него за спиной и смотрел туда же, куда и он. Но впереди был битый лед, и торосы, и зеленая вода. Лагеря не было видно, хотя радиопривод в наушниках выл зло и монотонно.

— Сейчас, сейчас,— тихо говорил Аветисян.— «Eile mit Weile» — «поспешай с промедлением». Сейчас они появятся.

Павел прибавил оборотов. Самолет шел низко надо льдом. Впереди по льду неслась его маленькая тень, похожая на стрекозу. Мотор ревел захлебно и весело, как первый майский жук. Облака опустились и теперь стали еще гуще и темнее.

— Мы идем очень низко,— сказал Аветисян, когда рев привода стал не таким громким,— мы прошли их. Мы не видим их сверху.

Павел заложил крутой вираж и повернул машину в обратном направлении.

— Возьмите южнее,— сказал Аветисян.

— Хорошо.

Брок крикнул:

— Они нас видят.

— Пусть они командуют! — попросил Богачев.— Пусть они ведут нас!

— Хорошо!

Богачев привстал в кресле, потому что звук снова стал тревожным и громким.

«Где же они? — думал он.— Где же они?!»

Богачев чувствовал себя комком мышц. Ему казалось, что ударься об него сейчас пуля — отскочила бы сплющившись. Лицо его тоже окаменело и стало жестким и хищным. Такое лицо бывает у медвежатника, встретившегося со зверем после охоты, когда в стволе остался один-единственный патрон — последняя надежда на жизнь.

Радиопривод снова стал затухать. Павел выматерился. Он почувствовал, что все тело его стало мокрым и холодным. Он ненавидел себя сейчас.

«Чкалов,— думал Павел,— он говорил, что я будущий Чкалов. Я дерьмо, а не Чкалов. Беспомощный кутенок, который тыркается мордой и не может выйти на радиопривод. У, сволочь какая!» — думал он о себе, ложась на новый вираж.

— Вот они! — заорал Аветисян.

Богачев почувствовал, что вот-вот заплачет. Он сопел носом и закрывал глаза. Он почувствовал, что вот-вот заплачет, но не мог сдержать радостной улыбки, потому что понимал, как это будет хорошо, если сейчас он посадит машину к людям, попавшим в беду.

Богачев увидел, что площадка очень мала, но он не думал, что самолет сюда сажать опасно и трудно, он был уверен в том, что сможет посадить самолет на крохотный ледяной пятачок. Он видел вокруг разводья и трещины и торосы невдалеке, но его это не пугало. Он вел машину на посадку.

— Володя, начали!

— Есть!

Пьянков стал на колени рядом с Богачевым. Он сразу же сросся с приборами.

Самолет пошел на снижение.

— Трещина на льду,— негромко и спокойно сказал Струмилин и положил руку на штурвал.

— Вижу! — так же спокойно ответил Павел.

Самолет рвануло вперед, потому что иначе он мог попасть лыжами в трещину. Самолет повело вперед, и надо было в одну долю секунды решить: уходить ли вверх, чтобы делать новый заход, или сажать машину сейчас, рискуя не удержать ее и врезаться в торосы.

— Садимся! — сказал Павел.

Пьянков убрал газ, и машина коснулась лыжами льда. Машина коснулась льда и заскользила прямо на гряду торосов.

— Тормоз! — крикнул Богачев.

— Есть!

Но несмотря на то, что тормоза был включены, машину несло вперед на торосы. Богачев стал заваливаться на спинку кресла, вытягивая на себя штурвал. Самолет несся вперед, неудержимо и накатисто.

Павел снова почувствовал себя комком мышц. Он сморщил лицо, закрыл глаза и, резко опустив штурвал, дал машине свободное движение вперед. Мимо промелькнули лица зимовщиков. Они что-то кричали, но из-за рева мотора не слышно было, что они кричали, хотя можно было догадаться, о чем они сейчас должны были кричать.

Павел отпустил на мгновенье штурвал, а потом взял его на себя что есть силы и сразу же ощутил, что машина останавливается. Теперь торосы уже не неслись на него, а медленно наползали, как в панорамно-видовом фильме.

Он остановил самолет в двух метрах от торосов. Бросив штурвал и не став разворачиваться, Павел поднялся с кресла, секунду постоял, приходя в себя, а потом обернулся к Струмилину.

— Павел Иванович,— позвал он командира.

Струмилин смотрел на него и молчал.

— Павел Иванович...

— Очень плохо быть пассажиром,— прошептал Струмилин,— сильно трясет. А ты — молодец... Помоги мне выйти на лед.

Струмилин сейчас говорил странным голосом, совсем не похожим на его обычный басок. Он говорил фальцетом, будто мальчик, у которого ломается голос.

— Не надо вам выходить,— сказал Павел,— мы сейчас быстро загрузим людей и пойдем обратно.

— Не спорь, Паша,— поморщившись, сказал Струмилин.— Мне трудно повторять, дружок...

Он прилег на спальный мешок, брошенный около палатки. Морозов расстегнул рубашку и приложился ухом к груди Струмилина. Сердце билось медленно и неровно.

— Болит здорово, Павел Иванович?

Струмилин посмотрел на заросшего, серого Морозова, на Сарнова, который без движения лежал на носилках рядом и только тихонько, жалобно стонал; он посмотрел на остальных зимовщиков, таких же заросших, замученных и серых, как Морозов, и заставил себя улыбнуться.

Некоторые больные умеют улыбаться, но лучше бы они не улыбались, потому что тем, кто стоит рядом, делается еще больнее от их улыбки. Струмилин знал это. Он заставил себя улыбнуться не как больной, а как здоровый человек, почувствовавший себя не совсем хорошо.

— Начинайте сматываться, ребята,— сказал он.

Морозов понял, как ему было трудно улыбнуться, и остальные зимовщики тоже поняли это. И, наверное, поэтому всем стало не так плохо и не так страшно, как было.

— Первым рейсом пойдут семь человек,— сказал Морозов и перечислил фамилии.— Хотя нет, шесть. Сначала уйдут шесть человек.

— Семь,— поправил Струмилин, поняв, что Морозов изменил количество эвакуируемых из-за него.— Я не могу сейчас лететь. Мне станет еще хуже, потому что трясет. Я посплю на льду, и все пройдет, а потом Паша вернется. И погода изменится.

— Здесь командую я, Павел Иванович.

— А в самолете — я.

— Павел Иванович...

— Если вы хотите мне зла — можете спорить.

Богачев стал на колени рядом со Струмилиным и сказал:

— Павел Иванович, золотой вы мой, пожалуйста, поедем сейчас, а?

— Мне будет плохо,— ответил Струмилин и, помедлив немного, закончил: — Мне будет совсем худо, Пашенька... Ты скорее возвращайся, я ведь не один остаюсь.

На исковерканной, разбитой льдине остались трое: Морозов, Воронов и Струмилин. Они остались около

палатки, рядом с которой лежали два ДАРМСа и МАЛАХИТ – приборы с ценнейшими научными данными. Сначала Морозов снял со льдины людей, а потом уже он решил увезти эти приборы.

Струмилин не мог повернуться на бок, и поэтому ему было очень трудно следить за тем, как Богачев разворачивал самолет и готовил его к вылету. Воронов приподнял голову Струмилину. Тот сказал:

– Спасибо.

Морозов ушел в палатку, к радиоаппарату, чтобы держать связь с Богачевым при взлете. Полог палатки был приоткрыт, и Струмилин слышал, как Морозов быстро говорил в микрофон:

– Паша, Паша, слушай меня, Паша... Не торопись зазря, но и не медли. Понял?

Струмилин осторожно подложил под бок руку, чтобы не так сильно упираться головой в ладони Воронова. Он приподнялся еще выше и услыхал совсем рядом тонкое и жалобное повизгивание.

– Что это?

– Шустряк,– ответил Геня,– спаситель наш...

– Пес?

– Ну да...

– Почему спаситель?

Воронов не успел ответить: Богачев дал максимальные обороты мотору, самолет понесся от торосов к чистой воде. У него было метров сто для разбега. Это не так уж мало, хотя значительно меньше, чем следует по инструкции. И потом там была трещина. Она была примерно на восьмидесятом метре. Струмилин приподнимался тем выше, чем ближе к трещине был самолет. Вот он подошел вплотную, в тот же миг Богачев слегка приподнял его, самолет перескочил трещину, мотор взревел еще сильнее, и метрах в пяти перед чистой водой, по которой плавал битый лед, самолет поднялся. На какую-то долю секунды он замер в воздухе, а потом начал быстро набирать высоту.

Пса по кличке Шустряк не зря назвали спасителем. Он действительно спас жизнь Морозову, Воронову и Сарнову.

За три часа перед катастрофой Морозов вместе с Сарновым и Вороновым пошли во льды — искать новую площадку для опробования последнего, оставшегося ДАРМСа. Они отошли километра за три от лагеря. За ними увязался пес. Воронов пытался его прогнать, но пес не уходил. Он поджимал хвост, скулил и не уходил от людей.

— Оставь его,— сказал Морозов,— пусть бежит. Медведя учует, может быть.

— Он дурак,— усмехнулся Сарнов,— у него морда как у жандармского ротмистра.

— Которого ты видел во сне,— добавил Воронов.

— Ничего подобного. В театре. Все жандармские ротмистры в спектаклях похожи на собак. Именно потому, что у итальянцев в «Генерале Делла Ровере» полковник-фашист не похож на наших прописных фашистов, мне было очень страшно. А когда у нас показывают дураков-ротмистров или кретинов-фашистов, тогда бывает смешно. И обидно — неужели у нас были такие тупые враги? Тогда что же мы — этакая силища — и так долго с ними возились, а не могли сразу прикончить!

— Ох, уж мне эти лауреаты! — сказал Воронов.— Да еще к тому же скептики. Раз показывают дурака-ротмистра, значит так и было. Ты что, искусству не веришь?

Они шли, весело смеялись, разговаривали, подшучивая друг над другом, и никто из них не знал, что идут они к гибели. К верной и страшной гибели, которая надвигалась на них неумолимо и безостановочно.

— Айда, взберемся на этот айсберг,— предложил Морозов,— с него, как с Эльбруса, все видно.

Они начали взбираться на огромный синий айсберг. Они шли медленно, сохраняя дыхание. Морозов всегда поначалу учил людей, с которыми ему приходи-

лось работать в экспедициях, сохранять дыхание и не делать резких движений. Он шел первым, низко опустив голову, размахивая руками в такт шагам.

Пес взбежал на вершину айсберга, завизжал, присел на задние лапы и стал пятиться назад. Морозов остановился. Сарнов ударился головой о его спину и засмеялся.

Пес бросился назад. Он несся стремглав прямо на Морозова и все время визжал.

— Медведь,— сказал Воронов и снял карабин.

Морозов ощутил под ногами несильный толчок.

— Назад! — закричал он.— Назад!

— Ты что? — удивился Сарнов.

Морозов повернулся, толкнул его в плечо и бросился вниз. Они бежали вниз и теперь уже ощущали под ногами несильные толчки. Они успели спуститься с айсберга, и в эту минуту тысячетонная синяя глыба айсберга стала медленно опрокидываться, кроша вокруг себя лед. Стоял гул, поднялась белая пелена снега, и в ней заиграла радуга. Было три часа ночи.

А потом от айсберга отломилась ледяная глыба и полетела, словно брошенная катапультой. Она ударила Сарнова, и тот молча рухнул на лед, даже не вскрикнув. Морозов поднял его, взвалил на спину и побежал дальше. Он бежал и думал: только ли здесь начал ломаться лед или в лагере происходит то же самое? И еще он думал о том, что, не пойди с ним пес Шустряк, они бы сейчас были уже в холодной зеленой воде. Вернее, их бы н е б ы л о. Их тела, исковерканные и изуродованные льдом, сейчас висели бы в воде, погребенные навсегда и для всех.

10

Ничего не помогало: самолет медленно, но верно обледеневал. Богачев уходил вверх, он бросал машину вниз и шел на бреющем полете, он делал все, что мог, но ничего не помогало. Машину тянуло вниз, на воду. Она сделалась тяжелой и неподатливой. И

чем дальше, тем тяжелее и неподатливее становилась машина. Володя Пьянков теперь сидел рядом с Богачевым, на месте второго пилота, и помогал Павлу удерживать штурвал. Надо было все время тянуть штурвал на себя, чтобы хоть на время отдалить тот миг, когда самолет, сделавшись тяжелым той заграннои, технически недопустимой тяжестью, шлепнется в воду.

Богачев держал штурвал у груди, отвалившись назад, и это мешало ему смотреть вперед и по сторонам. Когда только началось обледенение и он понял, что спастись от него невозможно, потому что путь на «СП-8» шел через низкую облачность и туман, Павел стал высматривать льдину для посадки. Но под самолетом медленно проходила тяжелая вода океана, ставшая из-за низкой облачности и тумана черной и зловещей.

Теперь, когда приходилось удерживать штурвал огромным напряжением мускульной силы, Богачев не мог смотреть вперед. Пот заливал глаза. Чтобы удерживать штурвал у груди, надо было как можно крепче упираться плечами в спинку кресла. Поэтому сейчас было видно только небо. Вернее, то, что обычно называют небом. Неба настоящего не было — была серая кашица, противная, как октябрьская липкая грязь.

— Нёма,— попросил Павел Брока,— узнай, как дела на «Науке», сообщи наши координаты на восьмерку и стань рядом: поищи льдинку.

— Есть.

— Геворк, нам еще далеко?

— Примерно час сорок минут лёту.

Богачев сразу же вспомнил струмилинский рассказ о том, что отец не признавал слова «примерно». Он очень сердился, когда слышал это слово, и всегда требовал точного ответа — до секунды.

«Отец был прав,— подумал Павел,— только так можно было поступать в обычные дни, когда рейс проходил спокойно, а не так, как сейчас. Учить надо в спокойной обстановке. И потом я не имею права никого учить, потому что я сам ученик».

— Спасибо, Геворк,-- сказал Павел.

— Я передал координаты, на «Науке» все спокойно, «СП-8» дает плохой прогноз. Видимости почти нет.

— Хорошо. Ищи льдинку.

— Есть.

Павел посмотрел на Володю Пьянкова. Тот был в поту, и у него дрожали жилы на шее от напряжения. Пьянков тоже посмотрел на Богачева. В глазах у него была злость и совсем не было страха. Он тянул на себя штурвал что было силы. Павел подумал, что если им придется так держать штурвал еще в течение десяти-пятнадцати минут, то силы вконец оставят их.

Богачев вспомнил, как он штурмовал Эльбрус два года тому назад. Там был один парень — сильный и красивый. Он первый поднялся на вершину и сказал:

— Мускульное напряжение при спуске — для зайцев. Считайте меня соколом.

И, оттолкнувшись палками, он понесся вниз на лыжах.

— Стой! — закричал ему вслед руководитель восхождения.

Но парень не остановился. Он исчез в белом сверкающем снежном поле. Оно, казалось, просматривалось далеко-далеко, вплоть до скал, черневших внизу. Но парень исчез в этом открытом снежном поле через мгновенье. Его нашли через час. Он был внизу, у самых скал. Он лежал на спине, и из носа и изо рта хлестала кровь. Резкий спуск вниз, с неба на землю опасен так же, как и резкий взлет с земли в небо.

— Володя,— сказал Богачев,— давай попробуем постепенно отпускать штурвал, а потом так же постепенно принимать его на себя. Только постепенно, а не резко.

— Есть...

Они стали постепенно отпускать штурвал. Самолет шел по-прежнему совсем низко над океаном. Но он не стал опускаться еще ниже, хотя Богачев и Пьянков слегка отпустили штурвал.

— Хорошо,— приговаривал Богачев,— очень хорошо, Володя, просто очень хорошо...

Так продолжалось минуты две-три. Потом самолет резко повело вниз.

Пьянков хотел было принять штурвал резко на себя, но Богачев сказал:

— Спокойно, Вова.

И начал осторожно выжимать штурвал на себя. Но самолет тянуло вниз. Его тянуло вниз неуклонно — невидимой и страшной силой. Так у Павла бывало во сне. Во сне всегда самое страшное — всемогущее, и ничего с ним нельзя поделать. Победить это всемогущее и страшное можно только одним — надо проснуться. Павел зажмурился, потом резко открыл глаза, снова зажмурился и снова открыл глаза, но увидел он то же, что и мгновение назад. Он увидел серую хлябь неба и зеленоватый стеганый чехол на потолке кабины.

— Резко! — скомандовал он Пьянкову.— Резко, Вова!

Они враз приняли штурвал на себя. Самолет затрясло, как больного лихорадкой. В кабину заглянул Женя Седин из морозовской экспедиции.

— Плохо, ребята? — спросил он.

Ему не ответили. И Аветисян и Брок, схватившись за штурвалы Володи и Богачева, помогали им. Самолет трясло по-прежнему, но он перестал идти вниз. Теперь он шел по прямой, но его все время трясло.

— Ребята,— повторил Седин,— это я к тому, что, может, успеем домой радиограммку, а?

— Возьми в аптечке валерьянки,— сказал Аветисян,— и выпей весь пузырек до дна. Это иногда помогает.

Но самолет трясло все сильнее и сильнее. Звуки, появившиеся в самолете, походили на рев сотни бормашин в кабинете зубного врача. И потом все время что-то противно дребезжало. Пьянков и Богачев снова посмотрели друг на друга, и в глазах у них были злость и недоумение...

11

«Я старался заменить Жеке мать, но так же, как искусственное сердце никогда не заменит настоящего, так самый заботливый отец не заменит матери, пусть даже беспутной. А моя Наташа была прелесть и чистота,— думал Струмилин.— И все это я говорю сейчас, потому что полюбил парня, который сидит справа от меня. У Жеки нет матери. А в любви мать зорче своего ребенка. Жека может не увидеть его и не понять. Я понял его, но я — отец. А всякий совет отца дочери — диктат. Я так считаю, и меня трудно переубедить в этом».

Струмилин попросил Воронова:

— Геня, дай папиросу.

Морозов сказал:

— Павел Иванович, никакой папиросы не будет.

— Да?

Морозов улыбнулся и повторил:

— Не будет.

— Мне лучше сейчас.

— Я вижу.

— Ей-богу, меня вроде отпускает.

Морозов засмеялся:

— Володенька, дайте папироску. Христа ради.

— Христа ради хлеб подают. Папиросу — грешно. У меня мама верующая, она бы наверняка обиделась.

Струмилин улыбнулся. Ему действительно стало чуть легче. Он лежал и смотрел в низкое серое небо. Он долго смотрел в небо, а потом увидел, как пролетела пуночка — единственная пичуга, забирающаяся сюда.

— Володя,— сказал Струмилин,— ладно, не давайте мне папиросы. Пойдите в палатку и передайте радиограмму в Диксон с немедленной ретрансляцией в Москву. Ладно?

— Конечно. Сейчас возьму карандаш и запишу.

— Там нечего записывать. Вы запомните так: «Кутузовский проспект, 22, квартира 123, Струмилиной Жене. Я тебя очень прошу выйти замуж за Павла, если он этого захочет. Отец». Запомнили?

— Это не так уж трудно.

– Передайте, Володя.

– Хорошо. Я сейчас передам. Только почему бы вам не сказать ей при встрече, дома?

– Телеграф категоричней,– улыбнулся Струмилин и закрыл глаза. Ему все больше и больше хотелось спать.

«Наверное, это хорошо,– подумал он.– Когда проходит боль, всегда хочется спать. И когда проходит страх, тоже хочется спать».

Как бы сквозь сон он увидел поле Тушинского аэродрома. Это был тридцать седьмой год, лето. Он тогда занимался парашютизмом. Он был инструктором и готовил парашютистов к прыжкам во время воздушного парада. Все прыгали хорошо... С шестисот метров. А один парень выпрыгнул, и у него не раскрылся парашют. Он упал на поле и подскочил раза три, будто хорошо надутый волейбольный мяч. Струмилин подбежал к нему. Парень лежал бездыханный. Никаких ран на нем не было, только когда его стали поднимать, он весь был как гуттаперчевый. Принесся на своей белой машине начальник парада. Он спросил:

– Кто инструктор?

Струмилин ответил:

– Я.

– Возьмите его парашют, проверьте как следует, наденьте, поднимитесь на шестьсот метров и прыгните вниз. Сейчас же.

– Хорошо.

– Не «хорошо», а «есть»! – закричал начальник.

– Есть! – повторил Струмилин.

– Кто пилот?

– Я,– ответил Леваковский.

– Начинайте!

Самолет пошел кругами вверх. Леваковский сказал:

– Подожди прыгать, я тебя подниму метров на восемьсот.

– Не надо.

– Зачем множить одну гибель на две? Сиди, я поднимусь повыше.

– Не надо! – крикнул Струмилин.

Но Леваковский все-таки поднял его на восемьсот метров.

Струмилин выпрыгнул, но он не притронулся к кольцу. Он несся вниз затяжным прыжком. Когда до земли, несшейся на него вздыбленной спиралью, осталось метров четыреста, он рванул кольцо. Парашют выстрелил, Струмилина рвануло вверх, и он стал медленно спускаться. Он спускался вниз и чувствовал, что засыпает. И сквозь сон он видел, как уехал на своей машине начальник парада и на черной «эмочке» — ребята из НКВД. Летчики поймали его на руки, а он ужасно хотел спать и беспрерывно зевал.

Так было и сейчас. Он засыпал сладко и спокойно, часто зевая.

Из палатки вышел Морозов.

— Я передал — сказал он.

— Спит,— шепнул Воронов.

— Тогда давай закурим,— предложил Морозов,— чтобы он не видел.

12

Женя шла по Столешникову переулку. Солнце слепило глаза. В лицах людей была радость, оттого что солнце слепило глаза. Сегодня закончилась работа над картиной. Женя почувствовала себя легкой и свободной. Сначала ей было радостно это чувство, но через час это чувство свободы и радости прошло. И ей стало грустно. Так всегда бывает: во время тяжелой, но интересной работы ждешь ее окончания, а когда она кончается, делается грустно. Уходит что-то свое, и чувствуешь себя обедневшим и усталым.

Женя зашла в магазин галантереи. Ей надо было купить маленьких синих пуговиц. Женя шила себе несколько ситцевых платьев для юга, а пуговиц найти не могла, потому что все время была на съемках, и теперь решила поискать в центральных магазинах.

В магазине в Столешниковом было душно и пахло мылом.

– У вас нет ли маленьких синих пуговиц? – спросила Женя продавщицу.

Та подтолкнула подругу локтем и шепнула: «Смотри, Струмилина».

– Сейчас,– сказала она,– я схожу на склад.

Женя стояла, облокотившись о прилавок, и ждала, пока девушка вернется. Рядом с Женей стояла круглая витринка с мужскими галстуками. Сначала Женя не обратила на них внимания, но чем дольше ей приходилось ждать, тем внимательнее она разглядывала расцветки и рисунки на галстуках. Потом она стала поворачивать вращающуюся витрину. Она выбрала серый галстук. Он был спокойной расцветки, с поперечными полосками.

– Сколько стоит этот галстук? – спросила Женя.

– Девяносто копеек.

– Очень дешево.

– Он не шелковый. Шелковые галстуки дорогие, те, которые с рисунками.

– Вот эти? – показала Женя на аляповатый красочный галстук.

– Да,– ответила продавщица.

– Но они же некрасивые...

– Что делать... Такие галстуки очень любят пожилые мужчины.

– Я у вас куплю серый, ладно?

– Конечно.

– Вам платить или в кассу?

– В кассу.

Женя выбила чек. Продавщица завернула ей галстук.

– Спасибо.

– Ну, что вы...

Женя улыбнулась, потому что вдруг подумала: «А кому я купила этот галстук?»

– Вы говорите, пожилые мужчины любят рисованные галстуки? – спросила Женя.

– Да.

– А что, если я куплю пожилому мужчине такой же, серый?

– Этот – последний.

– А на складе?

– Я сейчас сбегаю.

За прилавком никого не осталось. Женщины начали сердиться.

– Увидали артистку, забегали!

– Очередь надо уважать!

Старик, стоявший в очереди за кошельком, сказал скрипучим голосом:

– Не галдите, как курицы! В вас говорит зависть!

Женщины, как по команде, обернулись и стали бранить старика. Тот заговорщически подмигнул Жене и стал лениво переругиваться с женщинами. В магазине сейчас была та категория женщин, которые любят стоять в очередях. Им не надо ничего, лишь бы постоять в очереди, посудачить о чем-либо и немножко поругаться. Старик угадал их и «взял огонь на себя». Ему было смешно, а женщинам приятно.

Прибежала первая продавщица. Она сунула Жене пакетик с пуговицами и шепнула:

– Импортные, носите на здоровье.

– Сколько я вам должна?

– Ой, что вы, ничего не надо...

– Мне неудобно так...

– Тогда принесите мне ваше фото с надписью. Меня зовут Люся.

Потом пришла вторая продавщица и сказала:

– Знаете, на складе таких галстуков тоже нет.

Женя пришла домой, достала из шкафа костюм отца и примерила к нему галстук. Костюм был темный, и галстук сюда не шел. Тогда Женя примерила к другому костюму, легкому, летнему.

– Этот – хорошо,– сказала она самой себе.– Мы поедем с папой на юг, и он будет щеголять в этом галстуке.

Женя пошла на кухню поставить чай. Поставила чайник на плитку, надела фартук и решила подмести пол. Она убралась на кухне и пошла в кабинет отца.

Там она села к телефону и набрала номер телеграфа.

— Примите телеграмму,— попросила Женя.— «Диксон, Струмилину. Я купила тебе очень красивый галстук».

Телеграфистка приняла текст и спросила:

— Обыкновенная?

Женя подумала секунду и ответила:

— Нет, срочная.

13

— Льдинка, Паша, льдинка! — закричал Брок.— Смотри, льдинка справа!

— Там нет льдинки,— сказал Аветисян,— это туман.

— Да нет же! Я видел только что!

— Где? Далеко? — спросил Павел.

— Нет, совсем недалеко!

— Там нет льдинки...— сказал Аветисян, вглядываясь туда, где, по словам Брока, должна была находиться льдина.— Подожди... подожди, Нёма... Есть! — закричал Аветисян.— Есть, Паша! Круто вправо!

Богачев и Пьянков развернули самолет, и его затрясло от этого еще сильнее. Вираж они заложили крутой, и крыло самолета прошло метрах в десяти над водой, в которой плавали серые обломки битого льда.

— Удержишь штурвал один? — спросил Богачев.

— Не знаю,— ответил Пьянков,— попробую. А что?

— Я же не могу сажать вслепую...

— Удержу.

Богачев отпустил штурвал и быстро приподнялся. Впереди белела льдина.

— Ага! — закричал Богачев.— Есть! Есть, чертяка!

Он плюхнулся в кресло, схватил штурвал и сказал:

— Володя, на место! Нёма, садись за Пьянкова! Геворк, корректируй посадку!

— Хорошо!

— Какой лед?

Аветисян приник к смотровому стеклу. Все смотре-

ли на него, замерев. Он долго смотрел на лед, приближавшийся к самолету, а потом негромко сказал:

– Лед плохой. Он синий.

Синий лед – тонкий лед.

– Заструги?

– Большие.

– Направление?

– Поперечное.

– Трещины?

– Нет.

– Торосы?

– Нет.

– Будем садиться?

– Еще бы немного вперед...

– А если там вода? Мы не сможем развернуться еще раз. Упадем.

– Здесь мы перекувырнемся.

– Нёма, держи штурвал.

– Есть.

Павел быстро приподнялся. Он сразу же увидел синий лед, поперечные заструги и низкий, серый туман. Что впереди – разобрать сейчас было невозможно. Впереди могла быть вода, могли быть заструги, могли быть торосы, а могла быть и прекрасная посадочная площадка. Никто не мог сказать, что было впереди. А самолет трясло, и в самолете сидели семь ребят из экспедиции, семь славных парней, имена которых безвестны мировой науке. Рядом с Павлом сидели Геворк Аветисян, Володя Пьянков и Нёма Брок – его братья, его друзья, его товарищи. И он, Павел Богачев, человек, сидящий сейчас на месте командира, отвечает за них. Он отвечает за них перед самим собой, перед их семьями, перед Родиной, которая послала их покорить Арктику.

– Пошли дальше,– сказал Павел,– мы удержим машину.

И они пошли дальше. Самолет болтало из стороны в сторону. Все дребезжало в самолете. И вдруг среди этого дребезжанья летчики услышали песню.

– Что это? – спросил Павел.

Аветисян распахнул дверь. В кабину ворвалось:

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем.

Павел запел:

Это есть наш последний
И решительный бой,
С Интернационалом
Воспрянет род людской!

Пел Аветисян, пел Пьянков, пел Нёма Брок, пели все зимовщики:

Никто не даст нам избавленья -
Ни бог, ни царь и не герой,
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.

Несся самолет надо льдом, и гремела в нем песня революции, которая всегда побеждает, которая дает силы победить, которая заставляет за победу бороться и добиться ее.

– Заструги?! – крикнул Павел.– Как там эти проклятые заструги, Геворк?

– Поперечные.

– Лед?

Геворк долго молчал, а потом тихо ответил:

– Лед такой же.

– Что впереди?

– Туман.

– Трещины?

– Нет.

– Торосы?

– Тоже нет.
– Устал, Нёма?
– Ничего.
– Держи крепче, я посмотрю.

Павел приподнялся и увидел впереди белый лед. Он увидел его одновременно с Аветисяном.

И машина пошла вниз, на белый толстый лед, который должен выдержать самолет, который обязан выдержать самолет, который не может не выдержать самолета.

Стало тихо и звонко. Все сидели в оцепенении, закрыв глаза. Пьянков дышал тяжело, с хрипом. Мотор выключили, и сейчас было слышно тяжелое хриплое дыхание Пьянкова и ничего больше.

– Пошли смотреть лед,– сказал Павел,– пошли, ребята.

Он хотел подняться, но почувствовал, что подняться не может: в ногах была пудовая тяжесть. Руки тряслись, во рту было так, словно он полчаса жевал окурок.

– Отдохни,– сказал Аветисян и вытер ему своим кашне мокрую шею.

14

– Если бы каждый человек в мире был хоть немножечко музыкантом, то, ей-богу, жилось бы всем хорошо и спокойно,– сказал Годенко и закурил.

Он прилетел на станцию «Северный полюс» и сейчас сидел в балке у начальника. Только что кончили передавать «Испанскую сюиту» Лало. Ее играл известный советский скрипач Игорь Безродный. Годенко отдыхал с ним прошлым летом в Коктебеле. Они жили рядом, и Годенко любил смотреть, как работал скрипач. Было жарко, он ходил по комнате без рубашки, и обычно доброе и милое лицо его менялось: играя, он поджимал по-стариковски губы и средито хмурил брови. Он очень внимательно слушал себя и хмурился

еще больше, когда играл не так, как ему хотелось. У него были интересные руки: предплечье округлое, женственное, средняя часть — тоже мягкая, скрыто мускулистая, и кулак боксера. Но когда он играл, пальцы его и сама кисть становились необыкновенно подвижными, легкими и чуткими. «Гениальный Крейслер,— сказал скрипач Годенко,— учил сонату Бетховена шесть лет». Годенко это понравилось: он считал, что музыка сродни исследованию в Арктике. Годы и труд — лучшее мерило успеха. И вернейшая тому гарантия. Безродный рассказывал ему, что в Японии есть профессор Судзуки, у которого по всей стране три тысячи учеников. Это мальчики и девочки трехлетнего возраста.

«Зачем вам так много учеников? Что это даст?» — спросил скрипач у профессора во время гастролей по Японии. «Я не хочу сделать их виртуозами,— ответил профессор, перенесший две войны и Хиросиму.— Если люди будут приобщены к музыке с детства — войн не будет. Физическая расправа противна самому духу музыки. Я имею в виду скрипичную музыку, конечно».

Годенко сидел и курил. В приемнике слышались писки и шумы. Концерт только что кончился, а новая передача не начиналась. Никаких новых известий ни от Морозова, ни от Богачева не поступало. Морозов только передал, что Струмилин лежит с сердечным припадком, а ведет самолет Богачев. По времени Богачев должен был прилететь на станцию, но пока что он даже не вышел на связь. Все собравшиеся в балке у начальника станции понимали, что это могло значить, но никто об этом не говорил. Старались говорить на отвлеченные темы: о музыке, о новых кинофильмах, о живописи.

Первым не выдержал Муромцев — летчик-ас, прилетевший с Годенко. Он предложил:

— Может, я облетаю район?

— Подождем,— ответил Годенко,— ветер плохой, туман, наверное, Богачев низко идет, скорость теряет. Как погода?

Метеоролог ответил:

– Разъясни́вает.

– Вы сибиряк? – улыбнулся Годенко.

– Да. А откуда вы знаете?

– По «разъясни́вает». Хорошее слово, сибирское.

В балóк вошел повар. Он работал в ресторане «Европейском» в Ленинграде. Ему было двадцать два года, но он считал себя истинным полярником.

– Что нового? – спросил он.– Радио не принесло никаких вестей?

Он любил выражаться по-полярному. После двух месяцев пребывания на полюсе ему казалось унизительным говорить как-либо иначе.

– Много говорите,– улыбнулся Годенко,– экономьте время. Просто спрашивайте – «слухи»? И все будет ясно.

– Если б я был артист, то рассказал бы вам смешной случай, происшедший у нас в ресторане,– сказал повар.

Годенко хмыкнул:

– Про «если бы» существует хороший анекдот. Один старый одесский портной сказал: «Если бы я был царь, так я бы жил по-царски и даже лучше».– «А как лучше»? – спросили его люди. «Я бы еще немножечко шил»,– ответил старик.

Зимовщики не успели посмеяться. Вбежал радист. Он крикнул с порога:

– От Богачева есть!

Все, словно по команде, встали со своих мест.

– «Сел на льдину из-за тумана, было обледенение, пережидаю, льдина надежная, в течение двух-трех часов выхожу на полюс, самочувствие экипажа и зимовщиков нормальное, немедленно радируйте самочувствие Струмилина, ему сообщите – полный порядок. Богачев».

Богачёв прилетел на станцию через пять часов. Зимовщики выходили из самолета, и Годенко поочередно обнимал каждого. Он обнимал ребят, но со сторо-

ны казалось, что он не обнимает их, а тревожно ощупывает.

Потом выскочил Брок и спросил:

— Что от Струмилина?

— Все в порядке,— ответил Годенко,— вылезайте и идите отдыхать. Я привез новый экипаж. Молодцы, герои, спасибо вам, спасли людей.

— Мы из самолета не уйдем,— сказал Брок,— наш командир лежит на льду.

— Знаю, но вы же десять часов провисели в воздухе...

— Ничего, повисим еще.

— Где Богачев?

— Паша! — крикнул Брок.— Тебя зовут!

Богачев выглянул в люк. Он выглянул из-за спины Брока и сразу же увидел Годенко.

— Вы не доверяете мне машины? — спросил Богачев.

Годенко не расслышал его из-за шума работавшего мотора, но понял по движению губ, что сказал Павел. Годенко досадливо махнул рукой и поманил его пальцем, Богачев спрыгнул на лед и подошел к Годенко.

— Ты же устал...

Павел мотнул головой.

— Тебе надо отдохнуть.

Павел снова мотнул головой.

Годенко сказал:

— Я доверяю тебе, не думай. Как же мне не доверять тебе, если ты спас людей? Просто ты очень устал, я же вижу...

— К Струмилину обязан вернуться я.

Годенко секунду подумал, а потом сказал:

— Хорошо. С тобой пойдет Муромцев. И я. Доволен?

— Спасибо.

— Чудак! Командуй заправкой.

Павел бросился к самолету, легко вскочил в люк и крикнул:

— Вова! Скорей заправляться!

15

Морозов спал, и Воронов спал. Не спал только Струмилин. Он лежал на спине и смотрел в небо. Оно только что совсем очистилось от низких серых туч и теперь сияло: голубое, бесконечно высокое и доброе — небо всех людей. Нигде нельзя так увидеть небо, как в Арктике. Или разве что в пустыне. В лесу прежде всего видишь деревья, в поле — травы, а в Арктике — небо. Оно здесь бесконечно могуче и велико. И надо быть обязательно сильным человеком, чтобы любить его и радоваться ему, а не бояться его холодной могущественности.

Нигде на земле — ни в лесу, ни в поле, ни у реки — не возникает с такой четкостью вопрос о жизни и смерти. В лесу не так страшно умирать — вокруг тебя деревья. В поле — кругом травы. На льду под холодным и прекрасным небом, таким огромным, что чувствуешь себя крохотной частицей — и не частицей мироздания, связанной с окружающей природой, как в лесу или в поле, а чужеродной песчинкой, невесть каким ветром сюда занесенной,— здесь нельзя думать о смерти. Подумавший — погибнет. Нужно очень верить в жизнь и в себя, чтобы чувствовать себя здесь как равный с равным — и со льдом и с небом. Струмилин чувствовал себя наравне с ними, и поэтому ему совсем не было страшно лежать одному с острой болью в груди, и в висках, и в кончиках пальцев. Он не думал о том, что с ним могло каждую минуту произойти. Он думал о себе только в будущем времени.

«Надо будет поехать на море,— думал Струмилин.— Я возьму Жеку и Пашку. Я обязательно возьму его с собой. Я люблю его потому, что он очень чистый парень. Ему в жизни выпало много тяжелых испытаний. Он рано узнал человеческую подлость, но не сломался, остался верным и честным парнем. Видно, правда, родившаяся у нас, так сильна, что ее никто погубить не сможет. Никто и никогда».

Иногда Струмилину начинало казаться, что он слышит мотор самолета. Он приподнимался на локтях,

у него сразу же начинало еще сильнее болеть в груди и очень напрягалась шея. Но самолета не было, шум мотора ему только слышался. В подвале кенигсбергской тюрьмы Струмилину часто слышались голоса Жеки и Наташи. Но он заставлял себя тогда не верить этому. Голоса близких там, в подвале, делали его добрым, а в борьбе, в борьбе не на жизнь, а на смерть, нельзя быть добрым ни на минуту, даже во сне.

«Не знаю, сколько бы я сейчас отдал за одну таранку,— подумал вдруг Струмилин.— Одну сухую, просоленную, солнечную таранку, которая всегда пахнет для меня пиратским кораблем. А поэтому — детством. Смешно, в детстве я мечтал о пиратах и о палатках кочевников. Отец смеялся. Он говорил: «Кочевником стать может любой бедняк, а ученым человеком — только богатый». Наивный мой, добрый отец...»

Струмилин вспомнил Ливан. Когда он вылез из багдадского самолета и сел в такси, шофер спросил:

— Мсье хочет посмотреть город или прямо в отель?

— Давайте посмотрим город.

Шофер не понял смешанного немецко-англо-французского языка Струмилина, но по тому, как тот кивнул головой и улыбнулся, догадался, что мсье не прочь посмотреть город. Он провез Струмилина мимо кедровой рощи в предместье Бейрута. В роще стояли черные, заплатанные палатки. Рядом с палатками паслись стреноженные кони. Кони были очень красивы и ухожены. Струмилин решил, что здесь, в этих рваных черных палатках, остановились кочевники. Но в посольстве ему объяснили, что такая палатка стоит дороже, чем самый роскошный номер в отеле. В этих палатках жили юноши и девушки — дети крупных капиталистов мира. Они хотели чувствовать себя кочевниками.

«Вот время,— усмехнулся Струмилин,— бедному теперь легче стать ученым, чем кочевником. Палатка стоит дороже семестра обучения в университете...»

«Скажет ли Жека Пашке про то, что у нее было в жизни? Она обязана сказать ему. Жека — честная, она

все скажет. А поймет ли он? – думал Струмилин.– У Симонова хорошо написано: «Не с чистотою ясных глаз, с неведеньем детей, а с чистотою женских ласк, бессонницей ночей...»

Он сейчас ни о чем другом не думал, как о Жеке и Пашке. Он вспоминал далекое, но, вспоминая это далекое, неизменно возвращался мыслями к дочери и Павлу. Он хотел думать о чем-либо другом, потому что думы о детях всегда очень ответственны и серьезны, а когда думаешь о большом и самом важном, всегда затрачиваешь много сил. Струмилин понимал, что ему надо сейчас беречь силы для своего сердца, но как он ни пытался увести свои мысли на что-то другое, ничего у него не получалось. Он думал двумя «эшелонами». Первый, зримый, проходил у него перед глазами, ассоциативно вызывая второй «эшелон» – мучительно-требовательный и беспощадно-строгий к себе и к детям.

– Идут,– прошептал Струмилин.

Теперь он слышал мотор совершенно явно: где-то шел самолет. По звуку Струмилин определил, что самолет шел низко, с северо-запада.

– Володя! – позвал Струмилин.

Воронов только заворочался во сне, а Морозов, услыхав тихий голос Струмилина, пружинисто вскочил и быстро огляделся.

– Что?

– Самолет.

Морозов прислушался.

– Точно...

Лицо его враз просветлело. Он слышал мотор самолета – значит, он слышал жизнь. Никто из трех оставшихся на льдине ни разу не обмолвился ни единым словом о том, что могло случиться с ними каждую секунду. После того как разломало основную льдину, каждую секунду можно было ждать новой ломки, потому что было новолуние, а в новолуние в Арктике всегда происходит торошение и ломка льдов. Разломайся

та льдина, на которой остались Морозов, Струмилин и Воронов,— и всё. Самолет сесть не сможет. Надо ждать вертолета с материка. А сейчас гнать вертолет — в туман, в низкую облачность, за две тысячи километров — дело трудное, рискованное, а главное, требующее времени.

— Геня,— сказал Морозов, трогая за плечо Воронова.

Тот зевнул и начал протирать глаза кулаками, будто маленький ребенок.

— Вот нервы...— завистливо сказал Морозов.

— Это у меня от полного отсутствия воображения,— усмехнулся Воронов и сладко зевнул.

Струмилин и Морозов переглянулись: значит, парень тоже все прекрасно представлял себе и держался с поразительным хладнокровием и спокойствием.

Морозов ушел в палатку — настроить радиопривод.

— Володенька! — крикнул Струмилин и не почувствовал боли в груди. Ему сразу же стало легко и свободно. Он засмеялся.

— Что?

— Слышите?! Геворк ведет их точно. И потом у меня вроде перестало болеть.

Воронов сказал:

— Если вы подговариваетесь к папироске, Павел Иванович, то все одно не дам.

Струмилин снова улыбнулся. Ему теперь все время хотелось улыбаться.

— Володенька,— позвал он,— у вас в термосе нет глотка кофе?

— Чай.

— Будьте ласка, принесите.

Морозов вышел из палатки с термосом в одной руке и с пластмассовой кружкой в другой. Он подошел к Струмилину и стал что-то говорить. Но ни Струмилин, ни Воронов, ни сам Морозов ничего не услыхали. Морозов не слыхал сам себя. Все слышали артиллерийскую канонаду. Струмилину показалось, что бьет дивизионная артиллерия перед началом генерального наступления. Массированный, тугой гул стоял в воздухе.

Со спины, с юго-запада, на льдину шла огромная, все время увеличивающаяся гряда торосов. Лед дыбился, играя под солнцем, потому что он был мокрый. Лед переворачивало, вырывало из толщи, из монолита — синего, будто выкрашенного синькой; лед несло вперед со страшной, видимой скоростью. Ледяной вал двигался, и было видно, как он двигался: прямо на зимовщиков, сокрушая на своем пути оставшуюся посадочную площадку.

Морозов бросил термос и пластмассовую кружку на лед. Чай разлился, и лед стал красным. Морозов хотел было крикнуть Воронову что-то, но понял, что тот все равно ничего не услышит, Морозов ничего не крикнул Воронову. Он схватил тяжелый ДАРМС и начал оттаскивать его в сторону — туда, где ледяной вал не должен был пройти.

«Молодец,— спокойно подумал Струмилин,— только теперь это ни к чему. Все равно сесть сюда нельзя».

Вдруг Морозов бросил оттаскивать ДАРМС и в три прыжка оказался рядом со Струмилиным. Он поднял Струмилина на руки и побежал в сторону. Там он положил его и вернулся к ДАРМСу. Воронов уже стоял рядом с ДАРМСом, и они начали вдвоем оттаскивать его в сторону — ближе к Струмилину.

Лед крошился, и дыбился, и несся вперед, вставая стеной, как бы заживо замуровывая людей в ледяной коробке.

Струмилин видел, что Морозов и Воронов никак не могут оттащить ДАРМС. А им еще надо было успеть оттащить в сторону МАЛАХИТ. Когда-нибудь сюда прилетит вертолет и возьмет эти приборы. Так нужно для науки. Так должно поступать ученому в минуту смертельной опасности.

Струмилин долго собирался с силами, а потом поднялся. Он постоял секунду, прислушиваясь к самому себе. Боль снова родилась в сердце и быстро разбежалась по всем телу. Струмилин по-бычьи нагнул голову и пошел на помощь Морозову и Воронову.

Над зимовщиками пронесся самолет. Рев мотора не был слышен из-за ломки льда. ДАРМС и МАЛАХИТ успели оттащить, а ледяной вал по-прежнему шел вперед – неуклонно, как возраст. Струмилин прошел в палатку, на которую двигался вал. Он настроился на Брока и закричал в микрофон:

– Прощайте, ребята! Паша, передай Жеке, что я тебя люблю, сынок! Береги ее!

Он кричал не потому, что передавал последние слова, а потому, что шел вал и ничего не было слышно. Вдруг рев ломающегося льда прекратился, и настала тишина. Струмилин по инерции продолжал кричать в микрофон:

– Ты слышишь, Паша? Нёма, передай все то, что я сказал!

Струмилин замолчал и сразу же услышал рев самолета совсем низко.

«Они садятся,– промелькнуло в мозгу.– Это же гибель! Они не смогут сесть в этой западне, когда площадка крохотна и с обеих сторон торосы!»

– Не смейте садиться! – закричал Струмилин фальцетом. Он перешел на шепот, чтобы там не поняли его крик плохо.– Не смейте, сумасшедшие! Я говорю, не смейте! – и он снова начал кричать, сам не замечая того.

В самолете все сидели на своих местах, замерев. Самолет шел на посадку. Надо было посадить машину на маленькую площадку, ограниченную со всех сторон торосами.

«Сейчас, как на фронте,– думал Павел.– Сейчас тоже атака, и мы все знаем, на что идем: и Годенко, и Нёма, и Муромцев, и Володя, и Геворк. Но мы идем на это не потому, что нас «поднимают» чьим-то именем. Просто мы не можем не идти. И на фронте люди шли потому, что не могли не идти, а не потому, что их «поднимали».

Богачев и Муромцев посадили самолет. Этого нельзя было сделать, и никто бы не поверил, но они посадили самолет в эту ледяную коробку.

Самое главное — у в е р е н н о ж е л а т ь. Только тогда сбывается желаемое. Когда человек перестает чувствовать себя в с е м о г у щ и м хозяином п л а н е т ы, он делается беспомощным подданным ее. И еще: когда человек делает мужественное и доброе, он всегда должен з н а т ь, что все будет так, как он задумал.

Струмилин, сев на свое место, з н а л, что он поднимет самолет с этой стометровой западни. Иначе не может быть. Иначе будут бред и ерунда. В жизни не может быть бреда, если мы его не допустим. Мы сами. Он, Струмилин. Он, Богачев. Они, люди.

— Что, Леваковский? — спросил Струмилин.— Поехали домой?

— Поехали,— ответил Павел.

Когда самолет поднялся, Струмилин понял, что он с д е л а л то, что был о б я з а н сделать. Он не мог этого не сделать, и он сделал э т о. Теперь ему стало весело и спокойно. Ему давно не было так весело. Он вытер лоб и засмеялся. Но он недолго смеялся. Он замолчал, удивленно посмотрел на Павла, но уже не увидел его. Он стал оседать и наваливаться на плечо Павла, и видел он только одно небо, которое неслось ему навстречу. А потом он перестал видеть небо. И перестал слышать рев мотора. И перестал ощущать штурвал, обтянутый кожей, чтобы удобней было держать его при взлете в небо и при посадке на землю.

16

Женя ходила по квартире. К ней часто звонили и поздравляли ее с блистательной удачей: сегодня в утренних газетах ее работа в фильме была признана прекрасной. Женя отвечала заученными фразами. На нее обижались. В перерывах между звонками она ходила по квартире, прижав к груди руки.

Она чувствовала, что внутри у нее все дрожит. Ей очень хотелось заплакать, чтобы не было так ужасно

больно, но она не могла заплакать. Когда очень больно, тогда не плачут.

Позвонил командир авиаотряда Астахов. Он сказал:

— Я заеду к вам в девять.

Женя ответила:

— Не надо. Я сама туда приеду. Только где — во Внуково или на Шереметьевском?

— На Внуковском.

— Спасибо.

Принесли вечерний выпуск газет. На четвертой полосе в черной рамке Женя увидела отца. Звонить — как по команде — перестали. Все получили газеты, и все увидели человека в черной рамке.

Женя ходила по квартире, и все вещи, к которым она прикасалась, казались ей холодными и дрожащими. Она ходила по квартире все быстрей и быстрей, не в силах остановиться. Потом она взяла ключи от гаража и пошла туда. Она вывела отцовскую машину и поехала во Внуково. Она неслась по шоссе с такой скоростью, с какой всегда ездил отец. В березовой роще она резко тормознула. Она вспомнила, как отец привозил ее сюда, маленькую, на автомобильные соревнования. Он тогда поил ее березовым соком. Женя шла по березовой роще. Быстро темнело. Она искала ту березу, соком которой поил ее отец. Женя сердилась, что не могла вспомнить ту березу. Она остановилась около большой черно-белой березы и прижалась к ней лбом. А потом стала легонько ударять по стволу. Она стала его бить кулаками, потому что береза как стояла тогда, в ту весну, так и сейчас стоит и еще много десятилетий будет стоять, если только ее не срубят. Женя била кулаками бело-черный ствол березы, и все в ней гневалось: отца нет, а теплая, спокойная береза стоит здесь, и ей совсем не больно и не страшно, что он больше н и к о г д а не придет сюда, и не будет рассказывать смешных историй, и не будет поить ее с о к о м, и не будет молча сердиться, и не будет летать в с в о е н е б о для того, чтобы всегда возвращаться на с в о ю з е м л ю.

— Папа, папа, папочка мой,— вдруг прошептала Женя, замерев,— милый мой, родной и любимый папка...

Она стала гладить березу и тереться лбом об ее теплую, пахнувшую солнцем кору.

В верхушках деревьев шумел ветер. Где-то далеко на севере ворочался гром.

17

Павел сидел в хвосте самолета рядом с цинковым ящиком, в котором лежало тело Струмилина. Павел сидел сгорбившись, опустив руки между коленями.

Из кабины вышел бортрадист и сказал покашляв:

— Богачев, Указ Верховного Совета сейчас передали. Тебя наградили орденом Красного Знамени.

Самолет стало болтать из-за того, что резко снизились. Бортрадиста качнуло. Он стукнулся головой о косяк, почесал лоб и ушел в кабину готовиться к посадке.

Самолет заложил вираж, и в иллюминаторы Павел увидел разноцветные огоньки ночного аэродрома. Он вспомнил, как Струмилин говорил ему: «Я люблю садиться на ночные аэродромы. Это — как в карнавальную ночь».

Павел тяжело засопел носом, а потом заплакал. Он плакал, жалобно сморщив лицо, размазывая по щекам слезы и всхлипывая.

Потом самолет выровнялся, и в иллюминаторы пришла ночь: веселых разноцветных огоньков аэродрома не было. Летчики повели машину на посадку. И чем ближе к земле был самолет, тем жалобнее плакал Павел, потому что он провожал Струмилина в последний путь и для него последним путем была не земля, а небо, которое он любил так же, как людей, и как травы, и как весну, которая в Арктике хотя и коротка, но поразительна и прекрасна...

Апрель — август 1961 г.
Станция «Северный полюс-8» — Москва

УТРО
РОЖДАЕТСЯ
НОЧЬЮ

УТРО РОЖДАЕТСЯ НОЧЬЮ

1

Сизов вышел из кубрика, когда услыхал громыханье тяжелых кованых сапог на палубе.

«Сейчас будут швартоваться,— подумал он,— значит приехали».

Сизов поднялся по крутым ступенькам и, взявшись рукой за медный массивный замок, остановился передохнуть. Голова кружилась, в глазах стояли синие круги, а сердце билось где-то в горле.

«Восемь ступенек мне не под силу»,— подумал Сизов и сделал несколько резких, сильных выдохов.

Распахнув дверь, он вышел на палубу и упал поскользнувшись: вся площадка перед выходом из кубрика была во льду.

Моторист катера помог Сизову подняться и, смущенно бормоча что-то о холодных штормах, начал чистить рукавом бушлата серое пальто Сизова.

— Простите, пожалуйста, товарищ директор,— сказал он,— соли нет, посыпать палубу нечем. Два рейса сплаваем — вот вам и ледок.

— Я понимаю...

Каждый раз, возвращаясь из поездок домой, на остров, Сизов несказанно радовался. Он радовался тому, что воздух здесь прозрачный и ломкий; он радовался тому, что здесь цветут лотосы, что здесь в зарослях молодого дубняка вольно гуляют олени; он радовался необозримости морской глади, злым крикам бакланов, он радовался тому миру, в котором вырос и который любил больше всего на белом свете.

Наблюдая за тем, как швартовался катер, Сизов думал: «Домой всегда возвращаются с полными ведрами». Он подумал так, потому что видел, как две женщины шли с полными ведрами — от колодца к своим домам, стоявшим около берега.

Сизов возвращался из Москвы поездом. И все девять дней он считал, сколько ему попадется женщин с

полными ведрами – на счастье. И, только подъезжая к Владивостоку, понял, что гадать на счастье из окна вагона нельзя. Все зависело от того, в каком месте в поселках и деревнях, проносившихся за окнами вагона, вырыты колодцы. И те люди с полными ведрами, которые встречаются ему на пути в Москву, никак не могли сулить счастье, потому что на обратном пути, во Владивосток, все они шли за водой: с ведрами пустыми.

– Ерунда какая,– подумал Сизов вслух и улыбнулся. Землистое, одутловатое лицо его стало беспомощным. Сизов не умел улыбаться, он привык радоваться без улыбки. Ему казалось, что олени не любят, когда человек улыбается или – еще хуже – смеется. Олени серьезны; они любят, когда человек так же серьезен, как и они. Если пантачей приманивать на соль и улыбаться им при этом, они будут бояться и не подойдут близко к человеку. Они пугливы и любят единообразие – в природе и в человеке. А улыбка ежесекундно меняет выражение лица, улыбка щурит глаза и открывает зубы. Животное боится, когда у человека сощурены глаза и открыты зубы...

2

У дебаркадера Сизова ждал его заместитель Белов и шофер Коростылев.

– Здравствуйте, Кирилл Семенович,– сказал Белов,– с приездом вас и с академиком...

– Спасибо,– ответил Сизов и крепко пожал девичью, тонкую руку Белова.

– С возвращеньицем,– пробасил вечно недовольный шофер Коростылев и понес чемодан Сизова к машине.

– Спасибо.

– Как прошли доклады? – спросил Белов.

– Неплохо...

– А кто внес предложение?

– Какое?

– Чтобы избрать вас академиком.

Сизов поморщился и, почесав переносье, сказал:

– Не помню, право. Группа товарищей, как говорится...

Белов быстро взглянул на него и спросил:

– Вам нездоровится?

– Нет, ерунда...

– Вид у вас, скажем прямо...

– Плохой?

– Да уж не цветущий.

– Послушайте,– сказал Сизов,– а как в этом году лотосы?

– Как обычно,– ответил Белов,– цвели. Позавчера на озере лотосов замерз лебедь.

– Какой?

– Перелетный. Сел в полынью ночью, крыльями размахнулся с усталости, а ночью мороз. Вода на крыльях смерзлась. Утром он не смог взлететь. Я велел застрелить его, потому что он кричал.

– А подобраться к нему нельзя было?

– Людям – нет. А лиса наверняка подобралась бы.

– Но сегодня же тепло...

– Кто мог знать? Позавчера был мороз.

Белов пошел к машине. Спрятав свои тонкие, девичьи руки в карманы, он сказал:

– Я велел передать его в школу. Там из него сделают чучело.

Сизов спросил:

– Из лебедя?

– Да.

– Знаете,– сказал Сизов,– пусть шофер уезжает. А я пройдусь.

– Вы плохо выглядите...

– Ничего,– ответил Сизов,– все-таки я не был здесь четыре месяца.

– Коростылев! – крикнул Белов.– Езжай один! Мы пройдемся с Кириллом Семенычем.

– Нет,– попросил Сизов,– вы уж не гневайтесь, Иван Павлович, драгоценный, я один хочу пройтись.

Белов пожал плечами и сказал:

— Как вам будет угодно.

— Не сердитесь, дружище,— сказал Сизов,— пожалуйста, не сердитесь.

Белов ничего не ответил и, открыв дверцу машины, повалился на мягкое полосатое сиденье. Через несколько минут машина скрылась за поворотом. Катерок, злобно пофыркав, отвалился от дебаркадера и ушел на материк — к следующему поезду. И Сизов остался один.

3

Сизов шел по дороге, часто останавливаясь. Дышать было тяжело, и он широко разводил руки, а когда не помогало, опускался на большие валуны, прогретые мягким октябрьским солнцем.

Когда Сизов опускался на камни, тишина, лежавшая над островом, делалась осязаемой: ни единый звук не тревожил мир. Желтые листья дубов и березок казались неживыми из-за того, что не было ветра. Осенью в безветренные дни приморский лес кажется искусственным, словно рисованным на голубом холсте неба.

Отдышавшись, Сизов вставал с валунов и шел дальше. Около маленького домика дорожного мастера он встретился с плотником Теминым. Жилистый, длинноногий Темин шел в ватнике и резиновых сапогах, обливаясь потом. За спиной у него были мешок и ружье. Увидав Сизова, плотник заулыбался и еще издали закричал:

— Здоров, Семеныч!

— Здоров, Титыч! — так же весело ответил ему Сизов.— Ты это куда отправился?

— А на охоту,— быстрым говорком ответил Темин,— утки много идет, я ее на зиму готовлю. Она, вяленая-то, что твой конпот.

— Все ты «конпот» говоришь,— усмехнулся Сизов,— я тебя двадцать лет учу — компот. «М» надо говорить, а не «н», понимаешь?

– Да уж как не понять,– уклончиво ответил Темин,– ясно, как божий день, только «конпот» – оно звучнее, Семеныч...

Сизов снова усмехнулся и спросил:

– Ну, а дела как?

– Как сажа бела,– ответил Темин и отвел глаза,– идут дела, крутятся, обратно...

– Оленник новой оградой обнес?

Темин хмыкнул и ответил сердито:

– Обнес.

– А сын как? Не балует?

– Балует, окаянный! Вчера иду, а он с Нинкой-то, Макаровой, любовь крутит...

– Макара Иваныча дочь?

– Она.

– Уж так выросла?

– А чего им... Растут. Мы к земле, они, обратно, к небу.

Темин мельком посмотрел на Сизова, хотел что-то спросить и не стал.

«Наверно, хотел спросить, почему я так плохо выгляжу,– подумал Сизов,– а вот не стал. Это оттого, что он добрый».

– Ну, Титыч, иди,– сказал Сизов,– а то зорьку прозеваешь.

– Пойду,– согласился Темин,– а вечером к тебе наведаюсь, разговор есть.

– Заходи.

– Утки принесу. Они сейчас жирные, что твои кабаны.

– Приноси.

Когда Темин ушел, Сизов почему-то сразу же вспомнил того молоденького врача в клинике. Это было в Москве. Сизову стало в гостинице плохо, и его увезли на «Скорой помощи» в больницу. Наутро молоденький врач, осматривавший его, бегло просмотрел анализы и шепнул своему коллеге, такому же молодому парню:

– Явный лейкоз.

Второй взял анализы, тоже посмотрел и сказал:

— Да, совершенно явно.

Сизов откашлялся и хрипло выговорил:

— Я знаю, что такое лейкоз. Я сам... ветеринар.

Кровь отлила от щек врача. Он сделался бледным, присел на край кровати и сказал:

— Я пошутил.

Сизов чувствовал, как у врача дрожали руки. И он сказал ему:

— Не нервничайте. Все правильно. Только,— он нашел в себе силу улыбнуться,— я более честен с моими пациентами, чем вы. Я никогда не пытаюсь их обмануть, как вы меня.— Сизов поднялся на локте и попросил: — Попросите, чтобы меня выписали. Я поеду домой. Ведь я успею?

— Я только предполагал,— тихо сказал врач,— может быть, я ошибаюсь. Мы созовем консилиум... Только, пожалуйста, не говорите никому, что я так сболтнул...

Сизову показалось диким слово «сболтнул». Он растерянно посмотрел на доктора, увидал, что тому никак не больше двадцати пяти лет, и кивнул головой.

— Хорошо, я никому не скажу. Только выпишите меня.

— Подождите,— взмолился врач,— мы консилиум созовем.

— Ну знаете, бросьте,— рассердился Сизов,— нечего вам передо мной ваньку валять.

Потом он долго сидел с врачом в скверике, и тот говорил:

— Понимаете, я сказал так, потому что вы — не наш профиль. Мы травматология, инфаркты. А у вас это, по-видимому, органическое...

Тогда Сизов почти совсем не слушал врача, потому что высчитывал, сколько ему осталось ходить по земле. «Два месяца,— думал он,— а потом конец. Тютю...»

Остановившись, он закричал:

– Титыч!

«Ыч! Ыч!» – сразу же откликнулось эхо.

Темин отозвался чуть позже. Он крикнул откуда-то из-за поворота:

– Ну, чего?

– Иди сюда!

Темин вернулся. Он подошел к Сизову и спросил:

– Чего звал-то?

«Бежал и совсем не запыхался»,– подумал Сизов и почувствовал зависть.

– Ты за утками идешь?

– За утками.

– Слушай, иди лучше за кабаном. Много их у нас?

– Много. А за уткой почему не ходить?

– Так... Не надо. Пусть их летают. А кабана бей, я тебе лицензию выхлопочу.

– Когда выхлопочешь, тогда и пойду,– ответил Темин, нахмурившись,– а пока только птицу лупцевать можно. Так что я пойду.

– Ну, иди,– сказал Сизов,– конечно, иди.

И Сизов пошел дальше, изредка разводя руками и запрокидывая голову, чтобы легче дышалось...

4

Плотник Темин был прекрасным охотником. Сизов убедился в этом семь лет назад, когда на остров пришли волки. Они перебрались с материка по льду залива.

Сначала никто не понимал, отчего олени так нервничают. Они ушли с дальних выгонов и стали жаться к поселку. Оленухи не отпускали от себя маленьких и не разрешали молодым перворожкам ходить в дубняк – лакомиться листвой.

Однажды ранним утром к Сизову в кабинет пришел плотник Темин и сказал:

– Слышь, Семеныч, волки.

Сизов испугался и, вскочив со стула, прошептал:

– Не может быть...

— Может быть,— упрямо возразил Тамин,— пойдем со мной, покажу. Они двух оленей задрали.

Сизов быстро оделся, и они пошли к океану.

Волки знали силу оленей. Они знали, что им не догнать пантача или оленуху где-нибудь в лесу. А оленят матери прятали по тем склонам сопок, где не было снега. А там, где зимой нет снега, там всегда много желтых листьев. Когда олененок приляжет в листьях, пятнистая его спинка сразу же исчезает, сливаясь с цветом земли. Только что, кажется, он шел совсем рядом, но вот мать свистнула — и нет олененка, исчез. Пойди найди его!

Волки знали силу оленей. Но они знали их слабость. На льду олень бессилен. Копыта скользят, животное падает, и волки рвут его, окружив темным жарким кольцом.

Темин вышел рано утром к полынье около берега — половить корюшки на уху. И увидел неподалеку два больших красных пятна и клочья оленьей шкуры. Он подошел к пятнам и понял, что волки задрали двух оленей, а потом грызли лед, пропитавшийся кровью. Темин решил, что волков было много,— они не наелись и жрали лед, пропитавшийся кровью.

Он оставил удочку у полыньи и побежал к Сизову.

Когда Темин привел Сизова к месту, тот долго смотрел на большие красные пятна, которые постепенно исчезали, потому что с материка дула поземка — колючая, словно щетина.

Забежав в контору, Сизов велел заводить машину. Наскоро перекусив, он уехал на материк, к пограничникам. Вернулся Сизов под вечер с десятью солдатами. У каждого был автомат. Укрывшись белыми халатами, они расположились на льду у берега, а все жители совхоза пятнистых оленей, взяв ружья и факелы, обошли остров и начали прочесывать его с другой стороны, выгоняя волков на пограничников.

Оленеводы шли, размахивая факелами, и все время кричали. Сизов шел рядом с Теминым, который

тоже все время кричал и размахивал факелом. Он всматривался в наступающие сумерки и думал: «Наверное, это очень страшно, когда волки перебирались на остров по льду. Темнота — и только зеленые глаза горят...»

Когда оленеводы взобрались на вершину сопки, которая была как бы центром всего острова, Темин сказал:

— Сейчас палить начнут. Они вниз побежали, к берегу.

— Почему ты думаешь?

— А я не думаю. Я слышу.

Сизов покачал головой недоверчиво, но в это время раздался сухой треск автоматных очередей.

— Сейчас вниз бегом! — крикнул Темин.

И он первым бросился вниз, на ходу взводя курки ружья. Темин бежал по белому насту снега. Луна стояла высоко в небе, окруженная радужным сияньем, и светила ярко, словно фонарь на улице. Сизов бежал следом за Теминым, опустив голову. Он с разбегу натолкнулся на плотника, чуть не повалил его и, рассердившись, крикнул:

— Ты что, Титыч?

Тот, не отвечая, вскинул режье к плечу и замер, весь напружинившись. Прямо на него несся волк, мотая головой из стороны в сторону. Зверь несся прямо на Темина, потому что только здесь он мог прорваться через цепь и уйти в глубь острова.

Сизов сорвал с плеча ружье и, не целясь, выстрелил. Волк сел в снег и посмотрел на Темина круглыми зелеными глазами. Потом поднялся и пошел вперед, но теперь уже медленно. Он теперь не мотал головой, а весь подбирался для прыжка, последнего прыжка отчаянья.

Темин негромко кашлянул, и волк замер. Этого короткого мгновенья оказалось достаточно для того, чтобы Темин выстрелил. Волк ткнулся мордой в снег, задергался, оскалился и замер.

Всего в ту ночь перебили двадцать семь волков.

– Смотри, сколь их было,– удивленно сказал кто-то,– сила целая волков была, а задрали только двух.

Темин покачал головой и сказал:

– Дурак ты, паря. В жизни так завсегда бывает. Один гад хорошего человека никогда не одолеет. А десять – одолеют. Это я точно говорю.

– Так то ж люди...

– Обратно ты дурак,– рассердился Темин.– Чем олень не человек? – Он опустился на колени перед убитым волком, заглянул ему в оскаленную пасть и коротко сказал: – Гад!

5

Следующей зимой волки снова пришли на остров. Они зарезали Зоську – ручную оленуху. Она гуляла с сыном, и волки напали на них, когда олененку было некуда спрятаться. Зима выдалась снежная, и даже восточные склоны сопок были белыми, а не желтыми, как обычно. Ветер тоже не смог сдуть снег; перед этим была ростепель, а потом подморозило и остался хрясткий наст, ослепительно яркий и под солнцем и под луной.

Олененку некуда было спрятаться. Тогда Зоська стала отманивать волков на себя. Олененок побежал к дороге, а Зоська осталась на месте. Волки бросились к ней. Зоська вся дрожала, и ноздри у нее вздрагивали и глаза косили. Она переступала копытцами и все следила за тем, далеко ли убежал сын. А потом побежала сама. Но она побежала слишком быстро, и волки остановились в растерянности. Они стали оглядываться назад, на олененка. Ему осталось до шоссе метров триста, не больше.

Зоська заметила, что волки остановились. Тогда и она стала. Она смотрела на волков, а они смотрели на нее. А олененок убегал все дальше и дальше. Два волка повернули к олененку. Тогда Зоська свистнула и пошла навстречу волкам. Двое, увидав это, остановились и бросились следом за остальными к оленухе. Зоська не стала убегать, потому что боялась за сына. И

волки сшибли ее, и на снегу осталось большое красное пятно и еще клочья шерсти...

Олененок прибежал в поселок и остановился около дома Сизова. Залаяли собаки. Сизов выскочил на крыльцо, увидал олененка и принес его в дом. Сын Сизова, Алеша, назвал олененка Быстрым. Он уложил его спать на теплой веранде. С тех пор Быстрый жил в доме у директора.

6

Сизов открыл дверь своего дома, снял пальто и прошел в комнаты. Его чемодан стоял около книжного шкафа. На тахте лежала белая пижама.

«Белов предупредил,— подумал Сизов.— Значит, все уже знают, что я вернулся».

Он заглянул на кухню. Сухонькая старушка с огромными руками хлопотала у плиты. Увидав Сизова, она отерла губы кончиками белого платка и поклонилась — по-сибирски, в пояс. Сизов обнял старуху и, трижды поцеловав ее, спросил:

— Где Алешка?

— В школе.

— Что, шесть уроков?

— Да нет, пять. Он потом на оленник пошел. Они там чего-то шевуют...

— Шефствуют,— поправил ее Сизов.

Тетя Лида обрадованно закивала головой и, оглядев Сизова, снова отерла кончиками платка слезы со щек.

— Помоетесь, Кирилл Семеныч?

— Помоюсь. А где Николас?

— Да где же ему быть? На оленнике. И Алешка у него.

— Так я помоюсь, а ты сбегай за ним, тетя Лида. Позови ко мне.

Звеньевой оленеводов Николас и директор Сизов были людьми одной судьбы. Они познакомились лет десять тому назад, когда Сизов ездил в Сихотэ-Алинский

заповедник. С таежного кордона Майгыз он возвращался верхом вместе с объездчиком Николасом. Лицо у объездчика было иконописное: огромные глаза, мягкие волосы, расчесанные на прямой пробор, и крючковатый нос, чуть свернутый вправо. В седле Николас держался, отвалившись назад, лихо, совсем по-казацки.

Три ночи, проведенные с человеком с глазу на глаз в пустом таежном зимовье, знакомят людей лучше, чем иные годы в городе.

Поначалу Николас был молчалив и сдержан. Постепенно он разговорился. Он стал рассказывать Сизову о том, как удэге шьют свои улы – мягкие мокасины, как они кладут туда траву, специальную ульную траву, и ходят по снегу долгие часы, не зная холода. Он рассказывал Сизову о том, почему синяя вода ключа Майгыз закипает сразу же, как только поставишь котелок на огонь. Николас объяснял, зачем надо пить настой чаги, отчего по вечерам кричат серые сойки, почему Полярная звезда пылает в предрассветном сине-красном небе так отчаянно ярко и будто все время перемигивается с людьми загадочно и хитро.

Он о многом рассказывал Сизову и многое объяснял, по-своему, спокойно и вдумчиво, как человек, научившийся мыслить вслух. А человек, размышляющий вслух, должен быть мудрым и чистым, иначе он будет злым негодяем. Мысль, высказанная вслух, должна быть честной и должна идти от внутренней убежденности.

Он о многом рассказывал Сизову, этот худой иконописный Николас, во время их одинокого таежного житья на кордоне Майгыз. А когда Сизову пришло время улетать обратно на свой остров, Николас сказал:

– Я заседлаю коней и провожу тебя к аэродрому.

Они ехали по чащобе молча. Когда выбрались к тропе, которая шла вдоль по берегу реки, Николас сказал:

– Во-он, видишь, у того распадка на меня вышел тигр.

Сизов посмотрел на распадок между сопками, на

стеклянное безмолвие льда и зажмурился: солнце играло с рекой в жмурки, слепило глаза сотнями острых зеркальных бликов.

– Я ловил рыбу,– рассказывал Николас,– продолбил три лунки и ловил форель. А еще попадались гольцы. Я сидел на корточках и дергал тюкалку. А потом у меня устала рука. Я поднялся и, оглянувшись, увидал, как у лунки, в пяти метрах от меня, стоял уссурийский тигр и пил ледяную воду. Тигр был рыжий, большой, с белыми усами. Мне захотелось убежать, а ноги стали ватными. Я заплакал от страха. И еще от обиды.

– Какая же тут обида? – удивился Сизов.

– Подожди,– остановил его Николас,– я тебе потом объясню. Так вот, я заплакал от обиды. А тигр облизнулся, засмеялся и ушел.– Николас посмотрел на Сизова исподлобья и, закурив, сказал: – Ты напрасно так улыбаешься. Я говорю правду: он засмеялся, этот тигр. Знаешь, как злые учителя смеются над слабыми учениками.

Сизов вспомнил своего учителя черчения. Тот всегда смеялся над теми, кто не умел соединять абсолютной прямой точки «а», «в», «с» и строить из них треугольник. И всегда вместе с ним смеялся отличник Фаддей, который умел проводить абсолютные прямые. Только Фаддей смеялся куда злее, чем сам чертежник. Сизов поверил Николасу, и Николас почувствовал это.

– Когда тигр ушел, я смог двигаться. И я побрел к себе в зимовье. Я там жил вдвоем со слепым стариком Никодимом. Он тоже раньше был объездчиком. Теперь он умер.

«Дай мне закурить»,– попросил я его.

Старик достал кисет.

«Встретился ты с тигрой, однако»,– сказал он мне.

Старик свернул мне цигарку и вытянул руку совсем в другую сторону, не туда, где я стоял. Он долго ждал, пока я возьму цигарку, а когда я взял, он повторил: «Это точно, повстречался ты с ней...»

И стал он мне тогда тихие слова говорить, какие-

то необыкновенно добрые, спокойные и ласковые. Редко так люди говорят и правильно делают.

— Почему? — удивился Сизов.

— Потому что людям надо говорить правду,— ответил Николас,— а правда сурова. И надо, чтобы ее не боялись.

Николас долго молчал, а потом, когда под сопкой показался маленький домик аэропорта, он заговорил.

— Когда я был егерем в Аскания-Нова,— все еще смеясь, сказал Николас,— у меня была жена. Она красивая была очень. А я был молодой, добрый и слишком уж любил ее. И поэтому она стала мне изменять. Женщина всегда изменяет доброму и всегда любит злого. Женщина думает, что злость — это признак силы, и сама даже не понимает, как она не права. Когда я вернулся с объезда и застал ее с другим, я сбежал из дому. Я бежал и плакал. И прибежал я к своему деду, и он стал мне говорить такие же слова, как и слепой Никодим. Я слушал его и плакал. А когда грек плачет, тогда он перестает быть мужчиной. Я уехал после этого из Аскания-Нова сюда, на Дальний Восток, и стал думать, что изменился и сделался сильным. А встретив тигра, понял, что все это не так. Меня обманула женщина, которую я любил,— я плакал. Я увидал тигра — и тоже насмерть перепугался. И тоже плакал, но уже не от страха, а от обиды, понимаешь меня?

— Я понимаю,— ответил Сизов.

— И оба старика — черт их совсем подери, хотя стариков и нельзя поминать плохо,— по-одинаковому утешали меня, вместо того чтобы сказать правду. Со стариками любое горе и любую обиду спокойно примешь, потому что старики мудры. Только ведь и они пугались тигров и их обманывали женщины. И у них тоже были свои старики, которые говорили неправду, чтобы правда не казалась такой жестокой.

До аэродрома Сизов и Николас ехали молча. На прощанье Николас сказал:

— Будь здоров, Кирилл.

Сизов обнял его и ответил:

– Будь и ты здоров.

– Не бойся тигров,– пошутил Николас,– и не бойся, когда тебя обманет женщина, которую ты любишь.

Сизов усмехнулся и сказал:

– Меня уже обманула женщина. Только я ничего не боюсь, потому что у меня есть сын.

Николас изумленно посмотрел на Сизова, а потом, рассмеявшись, посоветовал:

– Только ты не ходи к старикам за советом. Даже к таким, как я.

– Не буду! – ответил Сизов.

И – улетел во Владивосток.

А через месяц Николас перебрался с таежного кордона Майгыз на остров, к Сизову.

7

Николас за последние два года сильно поседел. А за те месяцы, что Сизова не было на острове, у Николаса поседели и усы, совсем еще, кажется, недавно черные, как вороново крыло.

– Ты получил мое письмо? – спросил Сизов, поздоровавшись.

– Да,– ответил Николас,– я получил твое письмо. Оно – глупое. Умирают только те, которые боятся смерти. Или ждут ее.

– Закрой дверь,– попросил Сизов,– тетя Лида услышит.

Николас закрыл дверь.

– Сядь,– сказал Сизов,– нам надо поговорить, пока не прибежал Алешка.

Николас садиться не стал. Он отошел к окну. На подоконнике стояли горшки с цветами и две вазы с багульником. От веток багульника пахло свежевыстиранным бельем.

– Слушай,– сказал Сизов,– у меня лейкоз. Это значит – белокровие. Мне осталось месяц, два. От силы три. Потом ты переедешь в мой дом и будешь жить с Алешкой. И не подпускай к нему его мать. Она, на-

верное, захочет взять его, чтобы получать пенсию. У Алешки будет большая пенсия, потому что меня избрали в академики.

— Я читаю газеты...

Сизов хмыкнул и сказал:

— Тем более.

И вдруг Николас начал смеяться.

— Перестань,— поморщился Сизов,— хватит тебе.

Николас по-прежнему смеялся.

— Перестань! — громко, по слогам выкрикнул Сизов, и шея у него побагровела.

Николас перестал смеяться, высморкался, спрятал платок в карман и закричал еще громче, чем сам Сизов:

— Это ты перестань!

Сизов от неожиданности вздрогнул.

— Умирают только трусы,— повторил Николас,— а особенно в сорок пять лет.— Он отошел от окна, сел рядом с Сизовым и спросил: — Ты что чувствуешь?

— Слабость,— быстро ответил Сизов,— все время страшная слабость.

— И ничего больше?

— И этого хватает.

Николас пожал плечами и брезгливо скривил рот.

— Ты не понимаешь, что это такое,— тихо сказал Сизов.

— Да,— ответил Николас,— я этого не понимаю. Я понимаю только то, что ты слишком быстро разделся.

— Я устал, ясно тебе? Устал.

— Нет, не ясно. Тебе надо сходить на оленник. Тебя люди ждут.

— Не могу. Сейчас, во всяком случае, не могу.

Николас снова отошел к окну и сказал:

— Как знаешь...

8

Алешка ворвался в комнату неожиданно и стремительно. Секунду он неподвижно стоял на пороге, а потом бросился к отцу и повис у него на шее.

— Папка! — кричал он, захлебываясь от восторга.— Папка, дорогой! Как я рад, как я рад!

Сизов гладил Алешкины вихры и хмурился. Алешка украдкой взглянул на отца и, спрятав голову у него на груди, попросил:

— Папочка, ты не сердись, пожалуйста. Тебе Николас все сказал, да?

— Что сказал?

— Ну, про тройку? По русскому?

— Да,— протянул Сизов,— значит, все же тройка? Тяжелое дело...— Он снова погладил Алешку по вихрам и повторил: — Очень это неприятное дело. Это кто ж тебе удружил?

— Машка,— выпалил Алешка,— Марья Ивановна. Она мне проходу не дает, все пилит: «Сделал уроки? Сделал уроки?»

Сизов быстро взглянул на Николаса и увидел, как тот улыбался краешком рта. Отстранив от себя сына, Сизов посмотрел ему в глаза и сказал:

— Ладно, бог с ней, с Машкой. А вот тройку исправь.

— Конечно, исправлю, папка!

— Ну и ладно... А подарки я тебе все же привез.

Алешка внимательно посмотрел в отцовские глаза, окруженные мелкими сетчатыми морщинками, и ответил:

— Спасибо!

Сизов тоже долго смотрел в глаза сыну, а потом отстранил его и начал снимать пижаму.

— Ты куда? — спросил Алешка.

— На оленник,— ответил за Сизова Николас,— он идет на оленник.

Одевшись, Сизов сказал сыну:

— А ну, Лешка, стань к косяку.

Мальчик стал к косяку и откинул голову, чтобы отец мог лучше видеть отметины. Два раза в год он вырезал маленькие отметины на сосновом некрашеном косяке и возле каждой такой зарубки красной тушью писал дату.

Сизов посмотрел на Алешку, ставшего к косяку, и сказал изумленно:

— Ну и тянешься же ты!

Алешка ответил кашлянув:

— Растем, папочка...

— А как Быстрый? — спросил Сизов.

— Его Белов в оленник отвел,— махнув рукой, ответил Алешка.

— Ну пошли,— сказал Сизов,— пошли на оленник, Николас.

Алешка попросил:

— Пап, можно я с тобой?

— Конечно, можно.

— Кирилл,— сказал Николас,— лучше пойдем одни.

И они пошли одни.

9

У всех оленеводов красивые и выразительные руки. И жесты у них какие-то особые: сдержанные, быстрые и грациозные.

Сизова всегда поражало: приедет откуда-нибудь с материка человек, пойдет работать в звено оленеводов и через год, самое большее — через два весь преобразится. Кожа лица у него сделается бронзовой, голос — звонким, а руки — красивыми и выразительными.

«В жестах оленеводов есть что-то от движений пятнистых оленей,— подумал Сизов, увидав людей у ворот выгула,— в оленях тоже сочетается медлительность с неимоверной быстротой и резкостью. Это сочетание силы. У всех сильных — и людей и животных — красивые жесты. А у сильных людей еще и особая манера говорить...»

Сизов поздоровался с оленеводами, спросил о погоде, об урожае, о покосах возле озера лотосов. О делах совхоза никто не начинал говорить. Таков этикет.

Вдали, там, где кончался выгул, обнесенный сетчатой загородкой, высился новый, только что поставленный забор вокруг оленника.

– Красивый забор поставили,– сказал Сизов, как бы приглашая этим остальных к деловому разговору.

– Да-а,– протянул брат плотника Темина Федот, по прозвищу «Танцор»,– ни-ичего...

Сизов спросил:

– Ты что, братову работу не одобряешь?

– Как не одобрять? Очень даже одобряю. Работа наша, теминская. Только зачем дубом было обносить? Он тяжелый, дуб-то, оленята об него насмерть бьются, когда самочек от них отбиваем...

– А сосны не было?

Николас ответил:

– Была. На материке. Так ее ж оттуда везти надо, а товарищ Белов государственную копейку бережет. На транспорте экономим, на оленях губим. А наш олень золото дает, панты...

Сизов спросил:

– У кого закурить найдется?

– Ни к чему бы,– сказал Николас.

– Да,– сразу же согласился Сизов,– ты прав. Совсем ни к чему мне курить...

10

По выгулу бродил «детсад»: олени-малыши, только что отбитые от матерей. Они то и дело подбегали к большому деревянному жбану и пили воду, весело посматривая на людей, которые проходили мимо. Люди шли в оленник, обнесенный дубовой стеной – белой и совсем не пахучей. Дуб не имеет запаха в отличие от сосны, кедрача или березы.

Оленята не боялись людей, но услыхав где-то вдалеке рев автомобильного мотора, бросились врассыпную.

Сизов посмотрел им вслед и остановился. Он долго смотрел вслед оленятам и разводил руками, чтобы отдышаться. Николас с оленеводами пошел дальше, не останавливаясь, и Сизов был благодарен ему за это. Когда болен сильный человек, он будет скрывать бо-

лезнь. Только слабый радуется участию окружающих, потому что сам он не в силах драться с недугом один на один.

Отдышавшись, Сизов пошел следом за оленеводами. Но быстро идти было невмоготу, и он пошел совсем медленно, то и дело останавливаясь. А потом он подумал: «Я дождусь машины, она где-то рядом. Наверное, везут оленей с дальнего выгула — сортировать в денник...»

Сизов присел на пенек и стал сгребать носком ботинка мягкие желтые листья. Листья шуршали, словно горящая бумага. Сизов вспомнил, как он сжигал письма жены, когда она убежала с острова с тем, с другим. И Сизов подивился еще раз, до чего похож звук, когда сгребаешь носком ботинка опавшие желтые листья, на тот, который он слышал десять лет тому назад, сидя у маленького, сложенного им самим камина. Алешке тогда был годик. Он стоял в своей кроватке, хлопал в ладошки и, глядя на огонь, который плясал в камине, весело кричал:

— Го-го! Го-го!

А Сизов машинально поправлял его:

— Огонь, огонь!

А потом в комнату вошла тетя Лида, взяла Алешку из кроватки и стала его укачивать. Она укачивала мальчика и говорила Сизову:

— Будет вам, Кирилл Семеныч. О дерьме убиваться, так и жить-то не надо...

Сизов кивал головой и негромко повторял:

— Огонь, огонь, огонь...

11

Николас и оленеводы видели, как директор Сизов сел в машину. Шофер Вася Гусь проехал метров сто и, не заезжая в оленник, остановился, резко тормознув.

— Сейчас ему Васька все выложит,— сказал Николас,— не надо бы...

И Николас собрался идти к машине, но оленеводы остановили его, и Федот Темин, по прозвищу «Танцор», негромко и спокойно заметил:

— Так или иначе, а знать-то он должен.

Николас остановился и нерешительно спросил:

— Может, позже? Болен он...

— А что такое?

— С сердцем что-то,— солгал Николас.

— Женьшень надо пить,— посоветовал Темин,— я ему сегодня занесу, у меня на меду настоян. Корень здоровый, я его позапрошлым годом откопал.

— Или пантов наварить,— сказал низкорослый квадратный оленевод Макар Иванович.— У меня после финской все легкие мороз изъел, врачи говорили — кранты мне. А как навар пантов попил, кровь с панта полизал, так с той поры дышу, не жалуюсь. Они все лечат, точно знаю.

Николас слушал Макара Ивановича, кивал согласно головой, а сам все время смотрел на машину. Он видел, как Вася Гусь и директор враз закурили; он видел, как Вася начал зло размахивать руками. Он говорил беспрерывно, не вынимая изо рта папироски. Сизов слушал его, полуотвернувшись к окну и пуская колечки. Они казались черными, эти колечки папиросного дыма, потому что воздух был прозрачен и чист, а в эти предвечерние часы особенно.

Директор Сизов всегда слушал Васю Гуся с папироской, потому что иначе слушать его не было никакой возможности. Он всегда и на всех нападал, всегда и всех критиковал, хотя был, пожалуй, самым добрым человеком на острове. Сизов познакомился с ним случайно, позапрошлой зимой, когда тянули дорогу от поселка к дальнему выгону и к лаборатории. Дорога шла по самой вершине сопки — среди валунов, здоровенных деревьев и смерзшихся комьев земли. Вася Гусь работал на строительстве дороги взрывником. Он приехал сюда, как он сам говорил, в трехмесячную командировку, а остался на всю жизнь.

В тот день Сизов поднялся к строителям на сопку — посмотреть, как двигались дела. Он забрался на самую вершину и увидел, как по просеке поднимался человек в легоньком пиджачке.

Перевал, который лежал чуть ниже вершины, был закрыт облаками, моросила какая-то гадость: не то дождь, не то крупчатый мокрый снег, а скорее всего и дождь и снег вместе. Наст из-за этого был скользким, и человек, поднимавшийся по просеке, то и дело падал, прижимая к себе бумажный мешок с аммоналом и бикфордовы шнуры, смотанные в круг.

Человеком этим был Вася Гусь. Он сыпал аммонал под особенно кряжистые пни и корневища, которые не поддавались ни рукам, ни бульдозеру. Поднявшись на самую вершину, он остановился рядом с директором Сизовым и достал из кармана свисток. В тайге пели птицы. Они перелетали с дерева на дерево, ни на шаг не отставая от Васи Гуся.

— Беда мне с ними,— сказал он Сизову,— любит меня птица. И фамилия у меня птичья. Гоню их, пугаю, чтобы под взрывы не лезли. Куда там...

Вася посмотрел на просеку, прищурив волоокие свои глаза, и сказал:

— Вы бы отошли, начальник, а то зашибет.

Сизов отошел шагов на двадцать и спрятался за деревом. Он смотрел на Васю Гуся, который стоял в легоньком распахнутом пиджаке. Вокруг него летали птицы, весело переговариваясь друг с другом и — как показалось Сизову — с человеком, фамилия у которого птичья.

Низкие серые облака разорвались, и внизу под перевалом засиял океан — молчаливый, бескрайний и прекрасный.

Вася долго стоял на вершине перевала. Потом достал из кармана свисток и начал пронзительно и тревожно свистеть, предупреждая людей о взрывах. Он свистел долго, а потом, застегнув пиджачок, начал бегом спускаться вниз по просеке, запаливая бикфордовы шнуры, подведенные к каждой кучке аммонала. Он сбежал по

просеке вниз и спрятался в укрытие, сделанное им в яме, оставшейся после корчевки пней. Он выхватил из кармана свисток и начал высвистывать совсем иначе, не так, как десять минут назад. Он теперь свистел не пронзительно и тревожно, а напевно, весело.

Сизов сначала не понял, зачем он это делал. А потом догадался. Он увидал, как к Васе слетелись птицы и расположились на ветках в метре от него.

– Послушайте,– сказал Сизов прорабу строителей, который стоял рядом с ним, за деревом,– да он у вас дрессировщик какой-то.

– Ох, и нуда этот дрессировщик! – поморщился прораб.– От него никому спокоя нет.

– Подождите,– продолжал удивляться Сизов,– а как же он птиц к себе приручил?

– А бог его знает... Ребята говорят, он их печеньем прикармливает.

Прораб хотел сказать что-то еще, но не успел, потому что начал рваться аммонал. К небу взлетали коряги, пни и щепки. И долго еще переругивалось в сопках эхо, тревожное и сердитое. А первый звук, который Сизов услыхал сразу же после того, как смолкло эхо, был неистов и радостен. Это был синичий веселый перезвон и счастливый смех человека, который носит смерть в бумажных мешках, ругается с начальством и прикармливает птиц печеньем...

Сизов пригласил Васю Гуся на работу в совхоз, и тот остался. Сначала он был только шофером, а потом стал шофером-оленеводом. С директором Сизовым Вася говорил всегда задиристо, требуя для оленей деликатесов, не положенных по рациону. Сизов всегда ссорился с Васей из-за этого и – опять-таки поэтому – очень его любил.

Сейчас, сидя в машине, Вася Гусь говорил с Сизовым сердито и обиженно, а оленеводы стояли около дубового забора и ждали, когда их разговор кончится. А когда Вася подъехал, Сизов зло распахнул дверь машины и крикнул:

– Разгружай!

Гусь размотал медную проволоку, которой были закручены створки фургончика, открыл их и отскочил в сторону, чтобы не пугать оленей.

Из фургона, так же как из оленника после сортировки или панторезанья, олени выскакивают одинаково – быстрым прыжком. Олень стоит, замерев, превратившись в придорожное гипсовое изваяние. Потом он делает один осторожный шаг. После этого осторожного шага – такой же осторожный прыжок. Олень оглядывается резким поворотом головы, а уж потом делает несколько гигантских прыжков и скрывается в молодом дубняке.

Оленята себя ведут иначе. Когда их, загнав сначала вместе с матерями в денник, отбивают в отдельные боксы, они в тоске и страхе прыгают на одном месте, подламывая передние ножки. А когда их выпускают потом в оленник, они с разбегу кидаются куда попало и часто бьются о забор. Они ударяются головой о забор, падают, поднимаются, отбегают в сторону и снова кидаются на забор, разбиваясь в кровь. Когда забор сосновый, тогда не так страшно. Доски мягкие, они вибрируют после удара, как звук. А дубовые доски чересчур крепки, они как сталь. И оленята, после того как поставили дубовый забор, стали биться насмерть один за другим.

Если же олененок выбегает в «детский сад», то там он начинает пищать, задрав мордочку. Он еще не умеет кричать так, как кричат взрослые олени, когда им режут панты. Он просто пищит. Совсем как ребенок. И так же быстро, как и ребенок, забывает мать, забывает отчаянье и тоску. Уже на следующий день он начинает весело играть, задирая своих собратьев.

Точно так же и сейчас. Из фургона олени выскакивали, падали и, быстро вскочив на ноги, делали первый, самый осторожный прыжок. Они видели людей и ждали какой-нибудь ловушки. Ведь поначалу арестант тоже боится своего конвоира и только потом, по прошествии нескольких месяцев, а то и лет, начинает го-

ворить с ним о дождях, о вкусе хлеба и о здоровье дочери, которая живет далеко-далеко, у теплого южного моря, и не пишет ни единой строчки.

Отец Сизова после восстания на «Потемкине» был заключен в Акатуйскую каторжную тюрьму. Он и рассказывал об этом сыну каждый раз и каждый раз, рассказывая, горько жаловался на старшую дочь, которая не писала отцу в тюрьму, потому что была замужем за телеграфистом...

В фургоне у Васи Гуся оказалось пятнадцать оленей вместо десяти, как полагалось бы. Четырнадцать смогли выдержать тяжелую дорогу, а одного — старика — Вася Гусь вытащил из фургона за ноги и бросил на желтую землю.

— Вот,— сказал он,— зато план на полтораста процентов гоним. Бензин экономим на ездках. Ясно, Кирилл Семеныч?

— Так что ж ты молчал? — закричал Сизов.

— Он не молчал,— заступился за Гуся Николас.— Мы все говорили. А Белов пригрозил увольнением. А если уволит, кто вместо нас сюда придет? Кто?

— Почему меня не вызвали?

— Вызывали. Только ты в больнице тогда лежал.

Сизов досадливо махнул рукой и опустился перед оленем на корточки.

— Старик,— сказал он,— ему лет двенадцать. Видите, все зубы себе съел. А пантов бы дал килограммов на пять. Скольким бы людям польза была, а? От старика от этого...

— План даем,— горько усмехнувшись, сказал Вася,— товарищ Белов за план сражается. Он шибко идейный, а мы будто контра какая...

— Да, да...— кивнул головой Сизов.— Я, кажется, помню этого старика. Он был самым сильным лет шесть тому назад. Во время гона он побеждал всех соперников. Он вымазывался в грязи, чтобы казаться страшным, и забивал копытами соперников. Насмерть. И у него всегда было самое большое стадо оле-

нух. И потом он никогда не кричал, когда ему срезали панты. Это он, я помню точно.

Вася Гусь стал отгонять машину, оленеводы отошли к панторезке, а Сизов остался сидеть подле мертвого оленя.

«Молодые смогли выдержать тяжелый путь,— думал он,— а старик не смог. Упал, и они затоптали его копытами. Старику надо было держаться. Или мы должны были убить его. Или кормить манной кашей, потому что он съел свои зубы, для того чтобы быть сильным и принести людям много пантов. Он отдавал людям то, что имел. А имел он драгоценность, жизнь — панты. И нам надо было бы кормить его. Старый олень вроде старого человека. В молодости силы много, а ума мало. В старости ума много, зато силы мало. А вот если люди будут помогать старикам приносить к мудрости юношескую силу, тогда человечество будет счастливым».

Сизов поднялся и крикнул:

— Послушай, Николас! Ты тогда говорил ерунду!

— Я говорил много ерунды в своей жизни,— ответил Николас.

Сизов засмеялся и сказал ему:

— Я подумал о стариках, к которым ты не велел мне ходить за советом.

Николас подумал и ответил:

— Может быть...

Сизов повернулся к Васе Гусю и сказал:

— Отвези-ка меня, дружище, в контору...

12

В кабинете Сизов снял пальто, сел к столу и позвонил по телефону к Белову.

— Иван Павлович,— сказал он,— зайдите ко мне, пожалуйста.

— Иду,— ответил Белов,— сейчас иду.

Сизов осторожно положил трубку на рычаг. Отодвинул от себя бумаги, сложенные для просмотра, и, сцепив пальцы, стал напевать что-то.

Когда пришел Белов, директор Сизов сказал ему:

— Мне хочется рассказать вам одну историю. У вас есть время?

— Конечно,— ответил Белов,— это очень интересно.

Сизов закрыл глаза и начал рассказывать:

— Это было лет двадцать пять тому назад. Меня взял с собой впервые дядька мой, Сидоркин, на подкорм оленей. Он привез меня в тайгу, на поляну, где к дубу был подвешен кусок рельса. Дядька взял в руки стальной прут, который он привез с собой в телеге, и стал ударять им в рельс. Он ударил в рельс раз пять-шесть, а потом сказал мне: «Ну, валяй кричи!»

И я закричал: «Ма-аськи! Ма-а-аськи, мула-аськи!»

Так приманивали у нас на острове оленей. И сейчас так приманивают, вы знаете. Но олени не шли на мой зов. Тогда, высыпая корм из мешков на землю, закричал дядька. Он кричал вроде так же, как и я, но ко мне олени не шли, а к нему они вышли. Я слышал, как шуршала листва в тайге, я видел, как олени тянулись к корму, выстроившись в цепочку.

«Вот как надо,— сказал мне тогда мой дядька Сидоркин,— а ну, давай сызнова». И я снова закричал, а олени сначала остановились, а потом стали пятиться и ушли в дубняк. Дядька мне тогда сказал: «Орать не надо. Кричать надо, олень ласку любит, что человек».

Я потом целых два года учился, пока они стали подходить на мой зов.

Сизов замолчал и открыл глаза. Белов спросил:

— Разрешите мне закурить?

— Да, прошу.

Белов молчал и курил. Он курил неторопливо, обстоятельно, разглядывая со всех сторон папироску. Дым он пускал, отворачивая голову, тонкой плотной струйкой. Затягивался Белов медленно, и при каждой затяжке у него проваливались щеки и острые скулы заливались ярким румянцем. Кончив курить, Белов

отодвинул от себя пепельницу, осторожно затушил в ней папиросу и, посмотрев в окно, спросил:

— Мне можно уйти?

Сизов ответил вопросом:

— Что вы понимаете под словом «уйти»?

— Ах, вот как,— протянул Белов и снова полез за папиросами,— это уже любопытно. Тогда я попрошу вас объяснить мне, как вы понимаете слово «уйти». Не в иносказательной, а в нашей,— он невесело усмехнулся,— бюрократической форме.

— Объяснять мне вам нечего. Вы и сами все прекрасно понимаете.

— Простите, Кирилл Семенович, мне кажется, вы себя очень плохо чувствуете, давайте этот разговор перенесем на другой раз.

— Нет,— сухо возразил Сизов,— мы не будем переносить наш разговор. У меня слишком мало времени.

— Вы что, уезжаете? По-видимому, в столицу? В академию?

Сизов удивленно посмотрел на Белова.

— Вы говорите, что у вас осталось мало времени,— пояснил тот,— я подумал, что вы перебираетесь поближе куда-нибудь...

— Нет,— сказал Сизов,— я никуда не собираюсь уезжать.

— Тогда почему же у вас мало времени?

— Это я не о том,— Сизов подул на замерзшие руки и повторил, жалко улыбнувшись,— это я совсем о другом, Иван Павлович.

Белов молчал. Сизов долго ждал, когда тот заговорит, и, не дождавшись, негромко сказал:

— Вы совсем не любите оленей, Иван Павлович.

— Я люблю оленей,— возразил Белов,— только я еще и порядок люблю.

— Я тоже люблю порядок.

— Да, конечно. Но вы директор. Вы можете разрешать людям делать то, чего я, ваш заместитель, разрешать не могу.

— Именно?

— Вы плохо себя чувствуете,— повторил Белов,— я ведь вижу. Давайте не будем сегодня об этом...

— Будем,— коротко сказал Сизов,— и именно сегодня.

— Что же,— медленно сказал Белов,— извольте.

И он снова закурил, теперь уже не спрашивая у Сизова разрешения.

— Вы разрешали оленеводам,— начал говорить Белов,— привозить с материка сосну для забора вокруг оленников и выгулов. Я не разрешил, потому что это слишком дорого. Просто надо сделать так, чтобы оленята не бились о забор — все равно какой, дубовый или сосновый. Надо сделать так, чтобы они не бились, и все... Вы разрешали делать на дальний оленник две ездки, а я не разрешил, потому что надо научиться ловить не десять оленей за два часа, а двенадцать или пятнадцать. Пятнадцать — лучше, чем двенадцать. Вы считаете, что план важен только тогда, когда режут панты, а я считаю, что план важен каждый день. Вы считаете оленеводов какими-то неземными, отрешенными, если хотите, а я считаю их обыкновенными рабочими. И то, что прощалось вам, мне никогда не простилось бы, потому что у меня нет научных трудов, потому что я не академик, потому что я не панибратствую с рабочими...

Сизов подвинул к себе пепельницу и сказал:

— Послушайте, а вы действительно совсем не любите оленей. И совсем не понимаете нашего дела. Очень плохо, когда из труда делают ремесло. Это недопустимо в обращении с металлом и деревом, а с оленем — тем более.

Белов хрустнул пальцами и поджал губы.

— Знаете,— сказал Сизов,— у меня до сих пор на западном мысе нет директора в питомнике голубых песцов. Хотите пойти туда? Это самостоятельный участок.

— Мне что, подать заявление?

Сизов секунду помедлил, а потом сказал — коротко и сердито.

— Да.

13

Дома Сизова поджидали Николас и плотник Темин с двумя подстреленными кряквами. Когда сели ужинать, Николас сказал:

— О нем в газетах писали, когда тебя не было. Образцовый, писали, хозяин. Ему бы тут директором быть — район-то бы не нарадовался. Он бы и выкосы отдал и оленей бы старых на мясо забивать начал. Он ведь дальше района-то не видит. Что ему страна?.. Ему бы в райгазете пропечататься на первом месте по перевыполнению...

— Он хороший хозяин,— возразил Сизов,— только он не любит оленей. Я переведу его с повышением — директором питомника голубых песцов.

— Почему? — удивился Темин.

Николас тоже удивился, но спрашивать не стал.

Сизов налил себе крепкого чая, построгал туда лимонника и намазал хлеб домашним белым маслом. Масло было несоленое и по вкусу напоминало сливки.

— Масла мажьте побольше,— сказал Сизов,— тетя Лида сама сбила. Прелесть что за масло!

— Сейчас молоко хорошее,— заметил Темин,— его шилом хлебать можно. Оттого и масло, что твой конпот.

— Компот,— поправил Сизов.

— Я и говорю — конпот,— усмехнулся Темин и стал намазывать хлеб маслом.— Почему ты все-таки решил, что туда надо послать Белова? — спросил он.

— Потому что я прошлым летом был в командировке на этом питомнике голубых песцов. Меня по острову зверовод водил: там директора пока нет. Только мы с ним ушли — догоняет нас корреспондент. И начал зверовода допрашивать. Тот корреспонденту отвечает, а у самого глаза неживые, белые — замучился он там. Мягкий он для этого дела. А у Белова характер твердый, он туда подойдет...

Тот зверовод данные корреспонденту диктовал. Раза два поправил: «Вы,— говорит,— неверно записали. Мы не сто голов молодняка даем ежеквартально, а девяно-

сто семь». А когда корреспондент малость, как и положено всем корреспондентам, стал восторгаться, зверовод сказал ему: «Хотите завтра посмотреть, как делают валюту?» Тот растерялся и спросил: «Какую валюту?» А зверовод ответил ему: «Обыкновенную. За песца ведь мы получаем валюту». Корреспондент сказал: «Любопытно»,— и что-то записал у себя в блокноте. Тогда зверовода всего передернуло, и он сказал ему тихо и с отчаяньем: «Мы добываем валюту ранним утром, еще до рассвета. Даже охотятся утром или вечером. Днем никто не охотится. Только разве дикари. И вот мы до рассвета тащим песцов на убой. А они чуют это, кидаются на нас, хотят укусить лицо. Как норки. Те тоже кусают лицо. А черно-бурые лисы никогда не кусают лицо. Они рвут наши руки. Те самые руки, которые кормят их, для того чтобы, выкормив, убить. А знаете, как мы убиваем песцов? Мы их душим палками. И обязательно до рассвета: мех боится солнца, вы понимаете это?.. Песцы, когда их душат, срывают коготки. А это второй сорт. И вот я обязан думать сейчас, как их надо убивать, чтобы они не были вторым сортом. Вам ясно?» Корреспондент побледнел и стал блокнот засовывать в карман.

Сизов налил себе еще один стакан чаю, быстро выпил его и сказал:

— Там Белов справится. Там нужен Белов, который трезво смотрит на вещи.

14

Ночь легла на остров. Она пришла незаметно. Она подкралась откуда-то с океана, поначалу красная, потом ослепительно белая, потом синеватая, потом дымчатая, тихая, а уж потом — внезапно — беспроглядно черная.

Проводив Николаса и Темина, Сизов долго стоял на крыльце и слушал ночь.

Шорохи ночи особые, таинственные. Они могут казаться зловещими, если человек одинок, загадочны-

ми — если он молод, радостными — когда человек любит. Ночь может нести с собой счастье, а может нести слезы. Может нести сон. Это кому как. Но всем людям ночь несет одно общее — утро.

В больнице Сизову попалась книжка стихов. Ему запомнились строки:

Утром не умирают,
Утром опять живут...

Сизова слова эти потрясли. В бессонницу, когда ночь казалась ему нескончаемым кошмаром, он шептал:

Утром опять живут,
Утром опять живут...

Он ждал рассвета, и дожидался его, и засыпал только тогда, когда в палату врывались лучи холодного сентябрьского солнца.

Выписавшись из больницы, Сизов зашел в академию попрощаться перед отъездом на остров. Никто не знал о диагнозе, и никто не мог даже и подумать о том, что Сизов высчитал дни, которые ему осталось жить на земле.

— Кирилл Семеныч,— сказала ему девушка из иностранного отдела,— к нам приехал гость из Мексики. Он ветеринар и мечтает с вами повидаться.

— Я завтра уезжаю.

— Так вы с ним встретьтесь сегодня...

— Да, но я не купил еще подарков сыну.

— Вы их купите вечером,— сказала девушка,— а мексиканец мне о вас все уши прожужжал.

Сизов встретился с мексиканцем во Дворце пионеров Бауманского района. Мексиканец приехал туда со своим сыном, десятилетним Эмилио. Мальчик был толстый, румяный и неуклюжий. Пионеры увели его к себе, а двое ученых остались беседовать в кабинете директора Дворца пионеров. Говорили они долго, а потом Сизов спросил:

— Где же ваш сын?

И они отправились разыскивать Эмилио. Они нашли его на втором этаже. Мальчик стоял около рояля и тоненьким голоском, перевирая мотив, пел песню мексиканской революции. В песне говорилось о том, что значит пролить кровь врага, о том, как мужественно мексиканцы били врагов. Маленький Эмилио пел, поднявшись на носки. И Сизов заплакал, потому что нельзя без слез слышать, как дети поют песни отцов — суровые и тяжелые песни борьбы.

Сизов обещал мексиканцу пообедать с ним вместе. Но сейчас он сказал:

— Простите, я побегу покупать подарки сыну. У меня такой же, как и у вас.

Сизов вошел в дом и осторожно прикрыл дверь. Не зажигая света, он прошел в комнату сына и сел около его кровати. Он слушал Алешкино дыханье внимательно и сосредоточенно. Он долго сидел около сына, а потом снова вышел на крыльцо, и ночь теперь не казалась ему зловещей. Она казалась ему радостной, как и все наше мироздание, она казалась ему загадочной, как и все великое мироздание наше. И Сизов не боялся теперь ночи, потому что был твердо уверен: идет утро.

15

Сизов разбудил Алешку спозаранку. В комнатах было много солнца. Оно лежало на полу, оно лезло по стенам наверх, к потолку, оно плавало в комнатах, оно смеялось своему отражению в большом зеркале, висевшем в прихожей, и так же весело смеялось своему отражению в маленьком зеркале.

Алешка выбежал на улицу в одних трусах, облился там холодной водой и вернулся к отцу весь раскрасневшийся и вихрастый.

— Причешись,— сказал Сизов,— а потом мы пойдем на оленник.

Алешка подпрыгнул, сделал рукой так, как делают баскетболисты, забрасывая мяч в кольцо, ткнулся

мокрым холодным лицом в отцовскую шею и побежал одеваться.

Когда Сизов и Алешка пришли на оленник, все оленеводы были уже в сборе.

– Запряги нам лошадь,– попросил Сизов Николаса,– мы поедем кормить оленей.

– Хорошо,– ответил Николас,– сейчас я запрягу.

Младший брат Темина Федот, по прозвищу «Танцор», спросил:

– Что с забором делать будем? Дуб оставим, или как?

– Дуб снесем,– ответил Сизов.

А потом они пошли с Алешкой в тайгу. Лужицы, схваченные морозцем, таяли под лучами солнца и слепили глаза. Лошадь шла впереди, а Сизов, взяв Алешку за руку, шел сзади. Он шел, склонив голову. Он дышал глубоко, носом, больше всего страшась почувствовать усталость, которая мучила его последние месяцы. Но он шел быстро, совсем не чувствуя усталости. Потом сказал, не разжимая зубов:

– Ерунда. Все это ерунда.

Они пришли к старому дубу. Сизов высыпал на землю корм, взял из телеги стальной прут и стал ударять им по рельсам.

– Кричи,– шепнул он сыну,– кричи, Алешка.

И Алешка закричал:

– Ма-аськи! Ма-а-аськи! Мула-аськи!

Звонкий голос его несся над островом, не растворяясь и не исчезая в чистом, ломком воздухе.

И Сизов, ударяя о рельсы стальным прутом, думал о том, какое же это счастье – жить. Он верил теперь, что он будет жить, что он всегда будет слышать этот Алешкин голос, видеть, как из тайги выходят олени, радоваться ночной тишине, хитрому смеху плотника Темина и песне мексиканского маленького мальчика.

А над островом несся нескончаемый, вечный, как и сама жизнь, клич утра:

– Ма-аськи! Ма-аськи! Мула-аськи!

РАССКАЗЫ

Я часто вспоминаю Марка Бернеса, так рано от нас ушедшего. Я вспоминаю его улыбку, мягкий его одесский юмор, чуть хрипловатый голос, умные серые глаза. И всегда звучат для меня слова из песни, которой он дал путевку в жизнь:

Когда ж кончал я плаванья далекие,
Я целовал гранит на пристанях...

...Это особое чувство, когда самолет несется по бетонной полосе и стюардессы — на русском ли, французском, арабском или английском языках, неважно на каком,— улыбаясь своими стозубыми улыбками, возвещают:

— Наш самолет приземлился в аэропорту Шереметьево. Просим пассажиров оставаться на своих местах до полной остановки. Благодарим вас.

«Миленькие,— думал я каждый раз,— это я вас благодарю, но почему вы такие жестокие, отчего мне нельзя сорваться с места, и приникнуть к иллюминатору, и смотреть на сосновые перелески, на высокое звездное небо (низкое, все в тучах, слякотное, серое — бог с ним, какая разница, если оно наше, родимое, московское!), на «эти маленькие самолетики», такие громадные вблизи, серебряные, составляющие странный геометрический рисунок, на стеклянное здание аэропорта, через которое проходит государственная граница моего дома и чужбины...»

Нигде не испытываешь такого сладостного, щемящего чувства любви, как на чужбине, когда ночью в номере отеля вдруг на далекой волне поймаешь какую-нибудь нашу станцию и услышишь песню Воронежского хора, или ребят из «Орэро», или даже обыкновенный голос диктора, который читает сухую сводку областного сельхозотдела,— все равно сердце сожмется, и так станет хорошо, как никогда, кажется, и не было.

По-моему, диффузия впечатлений важна для литератора и журналиста более, чем что-либо иное. На смену тяге к дальним странствиям приходит тоска по дому,

ибо «дым отечества нам сладок и приятен». Любовь к Родине складывается из впечатлений самых разных — и самых первых, детских, и «взрослых» уже, когда чувства человеческие корректируются разумом, опытом, пережитым. Писатель лишь тогда сможет что-то «отдать» своему читателю, если он обогащен встречами и дружбой с самыми разными людьми, в самых далеких уголках громадной нашей страны.

...Я включил в раздел этой книги, который я обозначил для себя — «Отечество», те очерки, новеллы и полудневниковые зарисовки, в которых я старался выразить то, без чего нет жизни человеку на этом «шарике» — таком большом и одновременно таком маленьком.

Мне бы очень хотелось, чтобы читатель увидел в этом разделе — вероятно, мозаичном и разноплановом — тех и то, что делает человека счастливым, высоко счастливым, и богатым, несметно богатым, ибо он знает, что принадлежит Родине в такой же мере, как Родина принадлежит ему, мне, всем нам...

БИРЮСОВАЯ КОСА

В Волге купаются звезды. Когда по самой середине проходит танкер, звезды исчезают, а вместо них появляются на воде стремительные голубые молнии. Они налетают друг на друга, раскалываются, снова соединяются, а потом, когда проходит последняя волна, зыбко и таинственно пропадают. И снова звезды купаются в Волге, и снова река спокойна и безмятежна.

На тони — маленьком участке песчаной косы, где обосновалась рыболовецкая бригада,— в молчании стоят люди. Они стоят плечом к плечу, настороженные и спокойные, будто сошедшие с кентовских линогравюр. Они следят за катерком, который ушел метать невод. Он уже не слышен, этот маленький катерок. Видны только два его глаза — красный и отчаянно-зеленый, будто кошачий.

Начальник трех тоней Стариков стоит чуть поодаль. Он неторопливо курит и смотрит в ту сторону, где работают люди. Я слежу за ним и никак не могу понять, куда же он смотрит. Темно ведь, ни зги не видно. Ночь остается ночью, смотри ее просто глазом или в бинокль. Я смотрю на Старикова, наблюдающего за рыбаками в полной темноте, и смеюсь.

— Ты чего? — спрашивает он.— На Машуню смотришь, что ль?

— На кого?

— Да на Машуньку... Слева она стоит, около Кузьмича. Черт девка — руками машет, а ведь не работает ни-ни.

— Неужто видишь?

— А чего!.. Вижу, конечно. Не видал бы, не говорил.

Я иду к рыбакам удостовериться. И действительно ведь видит! Машуня, голубоглазая красавица, еле притрагивается к канату, которым подтягивают невод. За нее вовсю тянет Пашка.

— Марья! — негромко кричит с косы Стариков.— Ты давай!

— Странно вы говорите, Николай Трофимович,— отзывается Машуня певучим и томным голосом,— я замаялася вся, а вы попрекаете.

— Я те попрекну на зарплате,— усмехается Стариков и, чиркнув спичкой, закуривает.— Ишь, нашла Пашку — жилы с него вить!

— Работает она,— обиженно говорит Пашка,— чего напраслину-то говорите?..

Стариков идет к лодке фонарщика Акима.

— Вылазь,— говорит он парню,— я сам.

И уплывает в кромешную темноту.

Потом лодку со Стариковым подтягивают к берегу. Он цепко держит веревки огромного «кошеля» и говорит:

— Есть вроде бы маленько...

В кошеле мечутся здоровенные осетры, каждый килограммов на сто.

— Ага! — кричит Стариков торжествующе и по-мальчишески радостно.— Пошла, чертяка!

Нагнувшись, он хватает здоровенного осетра за «усы», вскидывает его на грудь, целует рыбу в брюхо и, охнув, кидает на дно баркаса, подогнанного фонарщиком Акимом.

После Стариков уходит к своей лодке, нахмуренный и серьезный. Он садится к рулю и говорит бригадиру Кузьмичу скучным голосом:

— Ну, давай! Держи в таком ключе.

Он обманывает меня, Кузьмича и себя самого, когда говорит таким скучным голосом. Я-то знаю, как он рад, я-то вижу, что в глазах у него — как в реке — звезды! А он не видит свои глаза и поэтому говорит сухо и скучно:

— Пока, до свиданья. На левый берег поеду. К утру вернусь.

Подружка моя осетра поймала!
За жабры взяла и к груди прижала!—

вдруг отчаянно-высоко и смешливо заводит Машуня. Стариков качает головой, хочет сохранить обычную

свою серьезность, но не может. Он наклоняется к мотору баркаса и, закрывшись плечом, тихонько смеется...

Пойманных осетров хранят в прорезях – в маленьких баркасах, заполненных водой почти до самого борта.

Рано утром две такие прорези Пашка и Машуня погнали на приемный пункт. Машуня стояла на корме, лущила семечки и грелась на солнце, а Пашка обливался потом, отталкиваясь шестом: как-никак, а две прорези – не одна. В каждой штук по двадцать осетров.

Солнце поднималось над рекой, разгоняя белый клочковатый туман. Камыши из грязно-серых делались зелеными, а река становилась по-особому легкой и прозрачной, утренней.

На приемном пункте – большой барже, к которой подогнано штук тридцать прорезей под улов стариковских тоней,– стоит Ленька-приемщик – здоровенный рыжий детина. На правой руке у него вытатуировано: «Нет счастья в жизни», а на левой, с грамматической ошибкой: «Ни забуду мать родную».

Ленька стоит в позе Наполеона, скрестив руки на большом животе, и смотрит на приближающиеся прорези Машуни и Пашки. Потом он отходит к весам, сливает на них ведро воды, достает из маленького сейфа бумагу с карандашом, все это кладет на стол и сверху придавливает подковообразной гирей.

– Здоров, акула! – кричит Пашка, уцепившись за борт баржи. Кряхтя, он подводит обе прорези вплотную к приемному пункту, заматывает канат за большой чугунный шпиндель и потом легко вспрыгивает к Леньке.

Ленька хмыкает под нос и рассматривает Машуню, не отвечая на Пашкино приветствие.

– Здравствуй, детка,– говорит он тонким голосом.– Привезла рыбку?

– Привезла,– отвечает Машуня.– Пузо бы подтянул, смотреть противно!

– А ты не гляди.

– Ишь, приказывать будет!..

– А чего? Женщина приказ любит,– смеется Ленька,– у ней характер, как у ефрейтора.

– Давай, давай,– сердито говорит Пашка, надевая рукавицы,– рыбу принимай!

И спрыгивает вниз, в прорезь. Он хватает осетров за «усы», поднимает и перебрасывает их на баржу. Машуня подхватывает рыбу и кидает на весы. Ленька орудует гирями, потом кидается к столу и быстро записывает вес на замусоленный клочок бумаги.

Машуня, утирая со лба пот, подходит к столу, смотрит на Ленькины хитрые записи и говорит:

– Там сто двадцать килограммов было, а ты сто записал...

Пашка настораживается, а Ленька сразу поднимает крик:

– Где сто двадцать? Где сто двадцать-то? Видала, что ль? Считать умеешь? Тоже – сто двадцать!

– Смотри, арифмометр,– говорит Пашка,– доиграешься с нашим рабочим долготерпением.

– Что доиграюсь-то? Чего говоришь-то? – продолжает кричать Ленька, перебрасывая уже взвешенных осетров с весов в свои прорези. Он торопится перебросить рыбу, чтобы Пашка не заставил его перевешивать еще раз. Если перевесить еще раз, будет скандал, а скандала Ленька как огня боится.

И снова Пашка выбрасывает на палубу осетров, и снова Машуня кладет их на весы, и снова Ленька мечется от гирь к столу и пишет быстро и невнятно хитрые колонки цифр на замусоленном кусочке бумаги.

– Паш! – кричит Машуня.– Снова обдул! Тут двести было, а он сто семьдесят выписал!

Пока Пашка забирается на баржу, Ленька, подтянув живот, с невероятной для человека его комплекции быстротой успевает перебросить в свои прорези трех самых больших осетров. Как говорится, концы в воду. И сразу же переходит в наступление.

– Чего говоришь-то? – вопит он.– Видала, что ль? Двести, тоже говорит! Эх, люди.

Ленька сокрушенно машет рукой, лицо у него делается скорбным и обиженным. Он садится на табурет и горестно вздыхает. А потом уже совсем другим голосом — усталым и безразличным — говорит:

— Сами взвешивайте. Нет моего желания терпеть от вас обиды.

Пашка вопросительно смотрит на Машуню.

— Может, это,— спрашивает он,— не то увидела что-нибудь, а?

Машуня презрительно отворачивается от Пашки, и все начинается сначала: Ленька суетится, Машуня уличает его, а Пашка то свирепеет, то теряется, глядя на жалкое лицо приемщика.

Вся рыба сдана. Пашка с Машуней уезжают. Ленька достает из прорези осетра, ловко протыкает желтое волглое брюхо рыбы специальной иглой, смотрит ее на свет, есть ли икра, и лихо вспарывает осетра кинжалом. Потом достает грохотку — сетку, сделанную из воловьих жил,— пробивает через нее икру, заливает ее соленым кипятком, отжимает воду через тугую марлевую тряпку и прячет два килограмма паюсной икры, похожей по форме на деревенский каравай, в большую оцинкованную кастрюлю под стол.

Стариков приезжает к нему на приемный пункт через час. Он устал, потому что ночь была бессонной. Но в Старикове нет усталости. Он смотрит на Леньку, щурясь, долго раскуривает сигарету, а потом, сев к столу, спрашивает:

— Чем угощать будешь?

Ленька вздыхает и скорбно улыбается.

— Какое уж там угощение! — тихо и жалостливо говорит он.— С утра сухарь пожевал, и все. Дал бы хоть пару щучек на котел, голодный целый день хожу!

— Двух щучек дам.

— Спасибо тебе, Николай Трофимыч, душевный ты человек.

— А водки нет?

— Откуда, Николай Трофимыч? Месяц, как в рот не беру.

Тяжелый, скорбный вздох исторгается из Ленькиной мощной груди.

– Сколько наши сдали? – спрашивает Стариков.

– Да разве упомнишь!..

– И не надо. Ты документ покажи.

Ленька начинает копаться в обрывках каких-то бумажек, лицо у него сосредоточенно, на лбу морщины, а в глазах живейший, трепетный интерес. Стариков смотрит на него, посмеиваясь. Ленька убегает, возвращается со счетами, начинает греметь костяшками, многозначительно покашливать, еще больше морщить маленький лоб и еще жалостливее вздыхать.

Потом он осторожно подвигает Старикову ворох бумажек и говорит:

– Вот. Тут все, как в аптеке.

Стариков закуривает, бросает спичку в Волгу, следит за тем, как вода затягивает спичку под баржу, и коротко приказывает, даже не заглянув в Ленькины хитрые записи:

– Припиши двести килограммов!

– Чего! Зачем? – вопит Ленька.– Тоже сказали!

– Цыц! – останавливает его Стариков и поднимается со стула.– Я тебе не Машуня, у меня нервы крепкие.

– Чего? Двести! Тоже скажете! Двести! Там, может, всего сорок нехватка, так от гирь же...

– Цыц! – снова останавливает его Стариков.– Как тебя, ворюгу такого, не сажают? Ума не приложу. Пиши, что уворовал. Пиши еще двести килограммов, гад!

Ленька сопит, жалостливо вздыхает, а потом деловито сморкается и предлагает:

– Ну, полтораста. Честно, от всего сердца.

– Двести! – коротко приказывает Стариков.– Не вводи в грех!

Ленька дописывает двести килограммов и чуть не плачет от злости.

– Тоже кричит еще! – причитает он.– А чего, они сами согласны были...

– Цыц! – вдруг выйдя из себя, орет Стариков.– Они дураки вареные, а ты дерьмо!

Стариков рывком поднимается из-за стола, зацепляет ногой кастрюлю, кастрюля падает, и на палубу вываливается большой кусок паюсной икры. Ленька пятится к двери своей маленькой конторки. Стариков морщится, как от боли, и говорит:

– Это я в детсад заберу. Еще раз найду – утоплю к черту, конопатая сволочь. Понял? – гремит он.– Или прояснить?

– Не надо,– решительно отвечает Ленька и прячется в конторке.

Стариков долго молчит, разглядывая свои сапоги, а потом говорит тихо и убежденно:

– Последние дни доживаешь, Ленька.

– Это почему? – интересуется тот из своего укрытия.

– Потому, что объявим мы вам отечественную войну. Не шучу я.

Стариков забирает кастрюлю с икрой и спрыгивает в свою лодку. Ленька, расхрабрившись, выскакивает из конторки и кричит:

– Кастрюля моя, отдай!

– Нет тут ничего твоего,– отвечает Стариков,– тут все наше.

Солнце стоит в зените. Солнце смеется, и река смеется, и Стариков смеется. Только Ленька чуть не плачет и тяжело сопит, сжимая пальцы в кулаки от бессильной, трусливой ярости...

Костер, словно голодный щенок, лижет котел опасливо и жадно. В котле беснуется уха. От нее исходит сумасшедший запах реки, лука и чего-то еще, непонятного, но выразительно вкусного, дразнящего аппетит. Так хочется поскорее отведать ухи, что от нетерпения чешутся пальцы. Бригадир Кузьмич зачерпывает половником самую гущу, дует на звездное озерко ухи, осторожно «берет на губу», медленно, вдумчиво пробует и говорит, будто хирург ассистенту:

– Машуня, соль!

Девушка протягивает ему кулек с солью. Кузьмич густо присаливает уху, поясняя:

— Всякое блюдо своей остроты требует. Соль, она от турок идет. А турок без соли — сплошной христианин, и нет ему никакого почету от соплеменников.

— Это почему так?

— Черт его знает! — весело и как-то удивленно улыбается Кузьмич.— Точно не знаю, а присочинять неохота, руки устали.

— А вы что, руками присочиняете?

— На земле все от рук,— убежденно отвечает Кузьмич.— Сказку ведь тоже записать надо. Выдумать всякий выдумает, вон я внукам такие колена загибаю, самого аж мурашки по коже дерут. А написать не могу, сплошное заявление получается, а не сказка. Ну, а пишут-то чем? Рукой. То-то и оно. Машуня,— просит Кузьмич, попробовав ухи еще раз,— давай-ка лучку покроши, а то перца я много завалил, горечь под язык бьет...

Проходит минут десять, Кузьмич еще раз прикладывается к половнику и весело объявляет:

— Артель! Прошу угощаться!

После ухи рыбаки располагаются отдохнуть на самом берегу. Ждут катера, который привезет смену. Курят, смотрят в небо, лениво перебрасываются медленными словами. Кузьмич поворачивается ко мне и видит, как Пашка с Машуней обнимаются около лебедки. Он смотрит на них, а потом говорит:

— Молодой. Его никакая материальная часть семейного обстоятельства не касается. Оттого играет. А смотреть на них приятно: чисто балуют, уважительно к людям. В любви,— наставительно поучает Кузьмич,— уважение к людям большую роль имеет. А нет?

Я соглашаюсь с ним.

— Если задремлю,— просит он,— побуди, как услышишь катер, ладно?

— Ладно.

Он поворачивается на бок, подставляет солнцу свою белую спину, всю в мелких — на счастье — родинках, и засыпает.

Она приехала на тоню одна, в своей аккуратной двухцветной лодочке, чуть раньше остальных рыбаков второй смены. Она была в брюках, высоких резиновых сапогах и мужской рубашке. Шла по косе спокойно, с достоинством, видимо, понимая, что ей, такой красивой и ладной, нельзя идти как-либо иначе.

– Это кто? – спросил я фонарщика Акима.

– Настасья.

Женщина отошла на край косы, разделась там и, оставшись в купальнике, легла на горячий песок.

– Больших душевных качеств женщина,– сказал Аким,– несмотря на внешнюю красоту.

– Почему?

– Так...– ответил Аким неопределенно и вздохнул.

Я поднялся и пошел на край косы, к Настасье. Подошел к ней, присел рядом и сказал:

– Здравствуйте.

– Здравствуйте,– ответила женщина и весело посмотрела на меня.– Что бороду-то носите? Никак из верующих?

– Да нет.

– Баловство, значит.

Плавает Настасья так же, как говорит: спокойно и уверенно. Движения полных, сильных рук сдержанны и точны; голову она отворачивает от волны неторопливо, ладони сложены лопаточкой, как при знакомстве; и еще она все время улыбается, когда плывет, загадочно и чуть смущенно. Потом она замечает лодку Старикова. Он едет сюда, чтобы посмотреть работу второй смены. Настасья замечает Старикова и стремительно поворачивает к берегу. Она выскакивает из воды, хватает свою одежду и убегает в камыши – переодеваться.

Стариков приехал не один. С ним Колька, Сережка и Женька. Колька и Сережка – трехлетние двойняшки. Женька постарше, ей уже шесть. Волосы у нее русые, вьющиеся, стоят торчком, как у Вана Клиберна. Нос пуговкой, обгорелый, глазенки начальственно прищурены и строги.

— Коль! Серега! — кричит она сразу же, как только отец перетащил их всех на берег.— В камыша не ходите, там змеи жалятся!

Колька с Серегой и не думают идти в «камыша», но Женьке страсть как хочется покомандовать. И когда братья, сбросив трусишки, бегут в реку, Женька подходит к берегу и начинает сердитым голосом покрикивать:

— Далеко не лазить! Ямина там!

Из камышей выходит Настасья. Она сейчас совсем другая. И когда она здоровается со Стариковым, я замечаю, что и голос у нее совсем другой, не то что пятнадцать минут назад. Стариков на ее приветствие отвечает глухо:

— Здравствуй, Настасья.

Женщина останавливается рядом и заглядывает в его лицо. Стариков сразу же лезет за сигаретой, закуривает, потом отворачивается и принимается сосредоточенно и деловито разглядывать свои сапоги.

— Как улов-то ночью? — спрашивает Настасья.

— Ничего.

— Не выспались, верно?

— Да нет, поспал.

— А усталый с виду.

— Нет, ничего.

— У нас побудете или домой?

Стариков отвечает не сразу. Он кашляет и говорит:

— Да уж и не знаю...

Потом они смотрят друг на друга. Лицо у Старикова сейчас доброе, беспомощное, а оттого очень молодое.

Я вижу, как они неотрывно смотрят друг на друга. А потом я вижу, как взгляд женщины переходит на Женьку, которая по-прежнему командует Серегой и Колькой. Настасья смотрит на Женьку, а Стариков — неотрывно — на нее. Женька чувствует на себе взгляд, оборачивается, видит рядом с отцом Настасью и звонко кричит:

— Здравствуйте!

– Здравствуй, Женечка! – отвечает Настасья.

– Купаю вот неугомонных,– деловито сообщает Женька,– посинели, а вылазить не хотят.

Настасья говорит Старикову:

– Вы б ехали, пожалуй. Закупались ребята, простынут...

Говорит она сейчас медленно и жестко.

Стариков поднимает острые плечи и идет к лодке.

– А ну, пацаны! – командует он.– Марш в лодку! Домой едем! – Он берет ребят, переносит их в лодку и садится к мотору.

– Папка,– слышит он жалобный, обиженный голосок дочери,– а меня-то?

Он забыл перенести Женьку, она стоит на берегу и чуть не плачет. Стариков подходит к ней, вскидывает ее высоко над головой, вздыхает, целует дочку в лоб и сажает рядом с ребятами. Настасья стоит на косе и смотрит вслед лодке Старикова, которая становится все меньше и меньше...

Фонарщик Аким толкает меня локтем в бок и спрашивает:

– Видал, какие дела? Матери-то у них нет. Понял?

– Понял.

– Ничего-то мы с тобой не поняли,– убежденно возражает Аким.– Мы посторонние наблюдатели. Дурни дурнями! Так-то, борода...

Стариков везет меня на пристань Бирюсовая коса. Скоро придет пароход, на котором мне надо уезжать в Астрахань. Стариков сидит у руля и говорит:

– Смешное дело, кажется, а вглядись – большой в нем смысл. Понимаешь, взял я в библиотеке книгу де Мопассана, рассказы и повести. Читаю – про любовь. Интересно, конечно. Но песни нету. А без песни только крокодил любит. Однако читаю. Черт, может, думаю, у них так заведено, у французов-то. А потом попался мне рассказ про рыбаков. Как там одному парню руку канатом срезало, только чтоб снастя не терять с уловом. Долго я думал про этого парня, про безрукого. И решил в нашу газету статью на-

писать о нем. Написал. А мне оттуда ответ: мол, то, о чем вы пишете, было в капитализме, и ничего хорошего в этом нету.— Стариков усмехается и продолжает: — Капитализм, он, обратно, капитализмом, не в этом суть рассказа заключена. Брат братиной же рукой жертвует, чтоб свое добро спасти. Свое. Вот в чем его суть. Ну ладно, а если добро наше? Если снастя моей тони принадлежат? Как при социализме надо поступать? Снастя резать? А может, руку? Я тут моим рыбакам-то на политзанятиях этот рассказ три раза читал. Горячились люди. А я люблю, когда горячатся, без этого не жизнь, а сплошной студень. Жизнь, она, брат, как шевиот, всегда две стороны имеет...

Стариков прислушивается, щурит глаз и говорит:

— Через полчаса твой придет — слышь, гудит? Очень я люблю слушать, как пароходы гудят,— сердце щемит, а радостно. Отчего так, а?

Пароход идет в Астрахань. Он идет ночью, останавливаясь у маленьких деревянных пристаней. Названия своеобычны, как и весь этот край: Мумыры, Оля, Оранжерейное, Икряное...

Даже ночью на пристанях людно. Пожилые рыбаки и рыбачки смотрят, кто едет, куда едет и зачем. Молодежь танцует под радиолу. Мальчишки ныряют с пристани в темную маслянистую воду.

Когда людно, тогда хорошо. Многоголоса сейчас дельта Волги и звонка. Радость здесь во всем: и в реке, и в людях, и в путине, и в ночном звездном небе, и в утреннем солнце. Надо только всегда эту радость видеть.

ЭТА ПРЕКРАСНАЯ АРКТИКА

Александр Данилович, он же «РП», Горбачев, «Дед», Данилыч, он же «фанфан-ля-тюлип», прозванный так за умение в пятьдесят с лишним лет быть юным, подвижным и неутомимым – и в работе и в шутках,– руководитель полетов, РП на дрейфующей станции «Северный полюс-15». Он высок, красив и седоус. Его хорошо знают в Арктике и летчики и ученые. Утром в его черной палатке жужжит электробритва и пахнет одеколоном, а рядом – аэродром, который прошит двумя дышащими трещинами, и положение, говоря откровенно, довольно напряженное, и впереди новолуние, а это обязательно новые торошения льдов. Но порядок есть порядок, и он должен неукоснительно соблюдаться. Посему Данилыч подтянут и покоряюще элегантен.

Однажды, когда за стенами промерзшей палатки бесновалась пурга, осторожно поскрипывали многотонные махины льда и все аэродромы на Большой земле были закрыты, он сказал:

– Вот приеду летом в Феодосию, лягу на теплые камушки возле моря, позагораю, а день эдак на пятый думаю: «Сейчас бы хоть на полчасика на полюс...»

Это правда: Арктика, кто хоть раз побывал в ней, становится своего рода болезнью, Высокой Болезнью.

...Когда основные работы по эвакуации дрейфующей станции «Северный полюс-13» были закончены, рядом с тамошним РП И.Кивой остались начальник станции Сидоров, радист Минин, инженер Зуев, врач Бергман – дожидаться прилета научного руководства, чтобы сдать ему остаток северополюсовой льдины по всем правилам. Один из последних рейсов сюда делал летчик Шеварнов, а в кресле второго пилота сидел командир эскадрильи Журавлев. Рождения Евгений Журавлев – 1937 года, того самого года, когда теперешний начальник полярной авиации Герой Советского Союза М.И.Шевелев вывозил на льдину папанинцев.

Шеварнов вел машину на СП-13 впервые. Журавлев спокойно сидел в кресле второго пилота, к штурвалу не прикасался и только иногда чуть приподнимал

правую руку: приподнимет — меньше газа, или качал головой влево — круче закладывать вираж при развороте. А когда самолет с зимовщиками приземлился на одном из маленьких ледяных островков и Шеварнов, сняв наушники, спросил: «Какие будут замечания, командир?», он, тоже снимая наушники, ответил: «Никаких, по-моему, полный порядок». И сразу вспомнилось: эта профессиональная интеллигентность в Журавлеве от его учителя, от Героя Советского Союза Константина Фомича Михаленко. А какие-то черточки, так подкупающие в Михаленко, я видел у полярного аса Ильи Павловича Мазурука — после войны Михаленко летал с Мазуруком, а Мазурук, в свою очередь, работал с О.Ю.Шмидтом.

В этой преемственности традиций, в этой эстафете Арктики — первый «вирус» Высокой Болезни...

О Михаленко хочется рассказать побольше. Круг его интересов радует завидным многообразием. Он пишет сценарии, снимает и монтирует фильмы о ледовой разведке для Центрального телевидения. Свои рассказы о фронте, любви, зимовке в Антарктиде сам иллюстрирует. В полет на Северный полюс он отправляется с авоськой, в которой лежат альбом, краски, растворимый кофе и книги — путь над океаном долгий, можно успеть прочитать новинки.

Во время отдыха между полетами Михаленко расхаживает в своем синем спортивном костюме по гостинице, приглядываясь к «типажам», и ласково упрашивает товарищей попозировать. А после он уходит с мольбертом на лед. Арктика есть Арктика: она прекрасна и весной, когда лед светится изнутри сине-голубым, яростно и холодно, а желто-красный диск махонького солнца упирается оранжевым столбом в черные разводья дымной воды; и зимой, когда в синем небе развешаны красно-фиолетовые сполохи северного сияния...

На Диксоне я сразу же попал в атмосферу внешне ничем не проявлявшейся, но тем не менее явственно ощутимой тревоги: положение СП-13 ухудши-

лось, льдину зимовщиков оторвало от взлетно-посадочной полосы, жизнь людей в опасности. А погоды нет ни на полюсе, ни на Большой земле — всюду пурга, пришедшая с циклоном из Гренландии. С пургой может прийти и торошение. Что такое торошение? Представьте себе канонаду из сотни артстволов, помножьте это на льдины, которые, наползая друг на друга, вырастают до десяти-двенадцати метров и сносят все на своем пути, образуя стометровые реки,— вот это и есть торошение. Льдины ломают аэродром, самолету некуда сесть, и люди остаются отрезанными от земли, недоступные в это время ни ледоколу, ни вертолету.

И сейчас в летной гостинице все волнуются, тревожатся за товарищей. Правда, эта тревога носит абсолютно непоказной характер. Так же сосредоточенно сражаются в шахматы пилоты и «наука», так же сидит за мольбертом Михаленко, но бортмеханик Борис Ефимов и пилот Ментор Агабеков большую часть свободного времени проводят в порту, ожидая новостей и погоды. Они понимают, что, находясь здесь, можно выгадать лишние полчаса, а это так много — полчаса, особенно весной, во время торошения, тут вопрос могут решить минуты, не то что часы. Михаленко, изредка отрываясь от мольберта, даже пробует шутить.

Но стоило только позвонить штурману Алексею Сорокину: «Есть погода», как обычно неторопливый Михаленко в мгновение ока собрался и, подхватив свою авоську с альбомом и красками, не дожидаясь автобуса, быстро пошел, чуть не побежал, к аэродрому.

На подходе к искореженной СП-13 Михаленко сделал лишний круг и передал по радио ледовую обстановку, а она была неважной: разводья величиной с километр, прямо-таки черные озера среди глыбин голубого льда, трещины, торосы высотой в семь-восемь метров... Все это он успел передать по радио перед посадкой — какая-никакая, а все помощь товарищам.

Машину посадили артистически. Забрали вторую партию зимовщиков, которых не успел взять улетевший часом раньше летчик Васильев. Оставшиеся до самого последнего рейса прощались с улетающими, с поваром (вес 120 килограммов, штангист, отличный товарищ, шутливое прозвище Заморыш) и давали веселые поручения уже снятому со льда приятелю (по прозвищу Глыба — вес 40 килограммов). И было в этом прощании возле расколотой льдины столько непоказной уверенности в благополучном окончании всей эвакуации, что оставалось только диву даваться. Это ведь Северный полюс, это даже не Антарктида — какой-никакой, а все же материк,— здесь под ногами четыре километра воды и полтора метра льда.

Самолет Михаленко улетел, и на льду СП-13, возле чудом уцелевшего еще ледяного аэродрома, остались последние зимовщики. Они проводили глазами самолет, дождались, пока он растворился в необыкновенно высоком, дымном, по цвету жарком небе, и, попрощавшись с РП, двинулись на свой «обломок».

Как же проводили последние часы на изломанной льдине оставшиеся зимовщики?

Последние часы ничем или почти ничем не отличались от всех тех, что здесь были проведены за год. Часть товарищей упаковывала научную аппаратуру и оттаскивала ящики на волокушах к лодке, чтобы потом перебросить на другой ледовый берег. Свободные от вахты собрались в кают-компании, теперь из-за разводьев уже явно обреченной на гибель в океане. Ее никак не перетащить к аэродрому, а льдину неутомимо, со скоростью 560 метров в час несет все дальше в западное полушарие, в теплые воды Гренландского моря.

Когда я начал передавать по радио точный отчет о происходящем на огрызке льдины, начальник СП-13 Василий Сидоров сказал:

— Только, знаете, без драматических ноток. Передайте лучше, что, мол, положение стабилизировалось и вообще все хорошо.

А положение-то не стабилизировалось, лед расходился все больше, и новая трещина прошила его в двух метрах от домика самого Василия Сидорова. Он же в это время продолжал заниматься утренней гимнастикой с гантелями; в кают-компании зимовщики уселись на чисто вымытый фанерный пол спинами к батареям, чтобы немного отогреться с мороза, и главный врач Арктического и Антарктического научно-исследовательского института А.Л.Матусов проводил социологический опрос на тему: «Каким может и должен быть полярник и каким, с вашей точки зрения, он не может быть?».

Поскрипывал лед, а спор по поводу того, может быть полярник честолюбивым или не может, шел вовсю. И если вдуматься, это даже был не спор, а последняя научная работа на льдине, которую пожирало изнутри еще еле заметное, но с каждым часом все более ощутимое теплое течение Гренландского моря...

Пришел Василий Сидоров и сказал, что нашу льдину совсем оторвало от аэродрома — трещина метров в тридцать.

— Должен ли полярник быть трудолюбивым? — посмеялся кто-то.— Сейчас веслами намаемся!

И все поспешили из кают-компании — перетаскивать в лодочку оставшиеся грузы.

Осознанное мужество — вот еще один «вирус» арктической «болезни».

...Зайдите на любую полярную станцию, на зимовку, в летную гостиницу, послушайте разговоры пилотов и ученых. Дискутируются многие проблемы, но особенно яростно — местные, арктические. Смотрят рисунки Рокуэла Кента, его гренландские циклы и сразу же обращаются мыслью к своему: далека от совершенства эстетика нашего полярного строительства! Если тепло и уютно в домиках, то давайте же позаботимся, чтобы и внешне Арктика выглядела красиво и чтобы разноцветные, приятных форм сооружения вписывались в великолепие здешнего пейзажа. А может быть, они привередничают, эти полярные старожилы? Мо-

жет, достаточно и того, что там, где замерзал Седов, теперь на камбузе смонтирована специальная электропекарня, выдающая мягкий поджаристый хлеб с помощью электронного зеленоглазого устройства? Может, достаточно и того, что там, где десять лет назад еще пользовались собачьей упряжкой, сейчас разъезжают на гусеничном вездеходе? Ан нет! Если проблема эстетики строительства так остро поставлена на Большой земле, то отчего же она должна миновать Арктику?

Остро дискутируется проблема «малой авиации», которая делает здесь большие дела. Не гонять же в скором будущем на зимовку, отстоящую от аэродрома на триста километров — там добывают голубого песца или ценную рыбу,— турбинный самолет, чтобы подвезти охотникам и рыбакам батарейки для приемников, соль, порох и спички?! Спорят страстно и горячо, и порой кажется, будто речь идет о своем, сугубо личном. И это тоже великолепный «вирус» Высокой Болезни: чувство патриотической, хозяйской ответственности за все происходящее на земле, на льду и в небе.

...Метет, метет пурга. А на СП-15 ждут самолетов с Большой земли. Александр Данилович Горбачев ставит свой карабин у входа в черную палатку, задумчиво колет финкой лед для чайника, а потом залезает в тепло арктического обиталища.

— Спать, спать, ребятки. Отдыхать пора!

Говорит Данилыч по-украински, мягко, и слова его, как колыбельная, убаюкивают, и люди засыпают, потому что и сам Данилыч уже залез в спальный мешок, позевывает сладко, но только вы не верьте ему. Когда все уснут, он вылезет из мешка, снова возьмет карабин и пойдет вдоль ледовой полосы аэродрома. И будет глубокая ночь, и маленькое рыжее солнце чуть-чуть отклонится к западу, но вот-вот оно вернется в зенит, где и надлежит быть весной светилу, а Данилыч будет бодрствовать всю эту арктическую ночь, наблюдая за льдом, потому что главным законом полюса является обнаженное чувство любви к своим товарищам, а это и делает Арктику такой прекрасной, удивительно прекрасной!

ЛАХМЕ ВЕРНЕТСЯ В 8.00

1

— Зачем же ты вертишься, чудак? Все равно ничего у тебя не выйдет,— ворчал Арнольд Лахме.— Да не вертись, дай я тебя насажу как следует! Вот так. Теперь хорошо, а?

Он насадил червя на крючок, отпустил леску и начал выбирать в банке еще одного червя, потолще. Форель любит, чтобы на крючке вертелось несколько червей; она хитрая, форель, совсем как щука. На одного червя форель не пойдет. Особенно эстонская — быстрая, юркая, умная. Разве что только совсем неопытная, молоденькая хватит на перекате в дождливую, сонную погоду.

— А ты хороший червяк,— бормотал Лахме,— ты не вертишься, молодец! Но под водой не спи, пожалуйста!

Лахме осмотрел крючок. Теперь на нем было два червя: один толстый, другой тонкий, подвижной.

— Теперь хорошо,— сказал Лахме,— теперь совсем хорошо. Теперь так хорошо, что я даже закурю.

Он достал сигареты и закурил. Прищурившись, взглянул на небо. Заходящее солнце раскалилось добела. Верхушки сосен в свете белого солнца казались черными, как нефть. Воздух в лесу был золотой, невесомый. Тени от деревьев лежали в этой золотой невесомости зловещими синими столбами. Где-то вдали кричала птица. В Эстонии много птиц: они летят с моря.

Лахме снова посмотрел на крючок и улыбнулся: тоненький червяк извивался, как танцовщица.

«На таких красавцев нельзя не клюнуть! Обязательно клюнет! Франц сказал, чтобы я принес камень в мешке. Так я и принесу камень! Жди! Я принесу десять форелей. Больших, жирных, с нежным красным мясом. И с черно-синими крапинками по бокам»,— думал Лахме, продолжая неторопливо курить. Потом он зату-

шил сигарету, поплевал на нее и спрятал в мокрый мох. Поднялся. Натянул отвороты резиновых сапог и, высоко поднимая длинные, тонкие ноги, начал спускаться с пригорка, поросшего сухим ельником, на луг.

— Камень мне в мешок,— проворчал Лахме,— ничего я не поймаю! Мошки много, река обмелела, черви плохие, и рыбак дурной...

Он проворчал это заклинание потому, что до речушки осталось метров пятнадцать. Роса еще не выпала, но Лахме все равно поднимал ноги высоко и ставил их в жирную пружинистую землю тихо, осторожно — с носка на пятку.

«Все русские рыбаки — хитрые,— думал Лахме,— это они меня выучили подходить к реке. Я раньше шел шумно, и травы сгибались под сапогами. А теперь я крадусь, как лис. Вон русский рыболов! Он всегда говорит, что цыган на кнут ловит, потому что к воде на брюхе ползет...»

Лахме взглянул на солнце. Теперь оно освещало верхушки деревьев снизу. От этого кроны сделались золотыми, а стволы черными. Небо становилось с каждой минутой все более высоким и бесцветным. Только легкие перистые облака на востоке порозовели.

— Ой-ой,— оглядев небо, прошептал Лахме,— не успею я так!..

2

А ему обязательно надо было успеть. Лахме — директор маленького дома отдыха на севере Эстонии. Дом отдыха открыли пять дней назад. Приехали первые двадцать человек. Все было хорошо до вчерашнего утра. Но вчера хлестнул шалый ливень, и маленький временный мост, построенный специально для того, чтобы связать дом отдыха, стоящий на островке, с шоссе, завалился, а потом и вовсе ушел под воду. Машина с продуктами, шедшая из Таллина, постояла около моста и вернулась в город: переправиться не было никакой возможности.

Узнав об этом, Лахме почернел лицом. Когда он сердился, глаза у него делались испуганными, а рот исчезал в морщинах, ложившихся от глаз по щекам к скулам.

Франц, повар дома отдыха, сказал Лахме:

— До завтра я продержусь, а потом останутся одни консервы.

— Ой-ой,— сказал Лахме,— вот плохо-то, а?

— Да,— согласился повар Франц,— совсем плохо.

— Может быть, завтра ты зарежешь своих кур?

— Тогда послезавтра меня зарежет жена.

— Ты думаешь?

Повар Франц ничего не ответил, только вздохнул.

— Если бы у меня были куры,— сказал Лахме,— я бы зарезал. Но ты ведь знаешь: я один как перст.

— Да,— повторил повар Франц,— вы один, совсем один.

— Я, пожалуй, еще раз позвоню в Раквере. Тороплю с мостом.

— Так они же обещали сделать послезавтра.

— Ой-ой,— присвистнул Лахме и полез за сигаретами,— дело совсем дрянь, а?

— Может быть, вы сходите к рыбакам? Я бы сварил уху. Все любят уху, даже счетоводы.

— Ладно,— сказал Лахме,— я сейчас пойду к рыбакам.

3

— Разве мыслимо, Арно? — спросил Лахме председателя колхоза «Рахве тээ» Эндель Хэйнасмаа.— Посмотри на море!

Лахме посмотрел на море. Оно было пенным, серым, отчаянно злым. Море всегда бывает злым перед штормом. А после — ласковое. Сразу после шторма море делается черным и гладким, как стекло. Только чайки, сидящие на воде, кажутся застывшими гребнями белых волн.

— Да,— согласился Лахме,— море совсем плохое.

В комнате у Хэйнасмаа пахло дегтем и копченой салакой.

— Я бы рад помочь тебе, Арно,— сказал он,— но ты сам видишь. Нельзя же гнать людей на риск! Хочешь, я продам тебе маринованных килек?

— А у тебя нет ли к ним минеральной воды или пива?

— Нет. У меня нет ни пива, ни водки.

— Я сказал: воды.

— Да, правильно, воды. Я забыл, что ты трезвенник.

Погода менялась, как настроение женщины. То начинался дождь, то вдруг выглядывало солнце, необычно жаркое в такую пасмурную погоду. А потом снова приносило облака и солнце исчезало.

— Значит, твои отдыхающие попали в блокаду?

— Да.

— А они должны прибавлять в весе, не так ли?

— Конечно.

— Хорошенькие девушки есть?

— Нет.

— Плохо. Наверное, взгреют тебя, Арно, за этот голод?

— Наверное.

— А почему, собственно, тебя? — возразил сам себе Эндель Хэйнасмаа.— За это надо взгреть дорожное управление.

— Может быть.

— Про девушек я спросил для наших ребят. Им некогда танцевать. И не с кем. Все наши девушки в городе: тут им нечего делать. Теперь ведь женщины не ловят рыбу.

— Да, не ловят.

— Ладно, Арно,— сказал Эндель Хэйнасмаа,— не тужи. Все пройдет. Шторм пройдет, мост отстроят. Ничего! Ничего страшного! Ты всегда все чуточку преувеличиваешь. И зря понапрасну нервничаешь. Знаешь, в наш век нельзя нервничать. Так говорят все врачи, а какой им резон врать? Так что, Арно, я бы рад тебе помочь...

— Я понимаю.

— Будь здоров, Арно!

— Будь здоров, Эндель!

4

— Франц,— сказал Лахме повару, возвратившись от Энделя Хэйнасмаа,— сейчас хорошая погода для рыбалки на реке. Там ведь нет шторма. Я пойду на Пэрэл. Может быть, принесу форель.

— Одну штуку?

— А может быть, и ни одной. Сколько нужно принести форелей, чтобы сделать уху на двадцать человек?

— Десять штук. Килограммов на восемь.

Лахме достал пачку сигарет, закурил.

— Пожалуй, я возьму со склада сапоги? — спросил он Франца.— Как ты думаешь?

— Вы же директор.

— При чем тут директор!.. Просто мои совсем прохудились, а мне придется много ходить сегодня и завтра.

— Вы же директор! — упрямо повторил повар Франц и отвернулся к окну.

Через открытую форточку донесся смех из бильярдной. Наверное, отдыхающие заставляли проигравшего лезть под стол.

— Скажи своему племяннику,— попросил Лахме,— чтобы он завтра же пришел и перебрал как следует нитки в лузах. А то нитки дрянные, могут порваться к концу лета.

— Так то же концу лета...

— Передай племяннику то, что я сказал. Он хорошо заработает.

— На этом каждый хорошо заработает... Нитки перебрать...

— Сделай сам.

— Зачем же? Вы ему велели прийти, пусть он и делает.

— Сделай сам,— повторил Лахме.

Повар Франц вздохнул и сказал:

— Только вы завтра к утру вернитесь обязательно. А то отдыхающие из меня сварят уху.

— Да, я приду к восьми часам утра. Но уху ты будешь готовить на обед и ужин, если я поймаю форель.

На завтрак сделай макароны. Я договорился с Хьюри, он принесет пять килограммов масла. И отвари яиц.

— У нас осталось пятнадцать штук.

— Пять принесешь из дому.

Лахме выжидающе посмотрел на повара Франца. Тот снова отвернулся к окну и вздохнул.

— Значит, я пошел,— сказал Лахме.

— Камень вам в мешок!

— Иди к черту!

Когда Лахме поднялся из-за стола, повар Франц кашлянул и сказал:

— Я передам племяннику, чтобы он пришел перебрать нитки в лузах.

5

Лахме еще раз оглядел крючок, подтянул к себе леску и затаив дыхание остановился. Здесь, около кустов, речушка начинала делиться на две друг на друга не похожие части. У противоположного берега течение было стремительным, вода — прозрачной, дно — каменистым. Последние лучи солнца лежали на камнях, пробившись сквозь воду белыми круглыми пятнами. Около того берега, на котором затаился Лахме, течения вообще не было. Здесь была яма. Черная, тяжелая вода резко граничила с прозрачной водой противоположного берега. Граница проходила прямо по середине речушки.

«Здесь нет кордонов,— подумал Лахме,— а как точно соблюдается граница!»

Белая пена, похожая на шоколадный мусс, недвижно лежала у берега. В этой пене были щепки, желтые листья и тоненькие ветки ивы.

Лахме долго смотрел в воду, прищурившись. Ни на перекате, посредине речушки, ни у противоположного берега рыбы не было. Дно просматривалось отчетливо, как через увеличительное стекло, перевернутое наоборот.

«Хотя во-он та коряжка,— подумал Лахме,— она уютная, та коряжка, там может сидеть форель. Там ему удобно, он видит оттуда всех, кто плывет по течению».

Лахме никогда не говорил про форель «она». Форель, благородную, красивую и хищную рыбу, он всегда называл, как мужчину,— «он».

Коряжка у противоположного берега выступала почти до середины реки и кончалась, упираясь в камни. Все это отчетливо просматривалось потому, что глубина там была всего сантиметров сорок, не больше.

Лахме освободил катушку, на которую была намотана леска. Отвел правую руку до отказа назад, осторожно придерживая большим пальцем катушку, а левой рукой, раскачав, бросил крючок в стремнину, как раз на границе белой и черной воды. Поплавок пронесся мимо коряжки и, как неопытный шофер, воткнулся в берег на том месте, где река заворачивала.

«Ты хитрый, форель,— думал Лахме, наматывая леску на катушку,— только я ловлю тебя уже сорок лет, и всегда ты попадаешься мне. Хотя нет, камень мне в мешок, ты очень редко попадаешься мне. Совсем редко, по глупости. Извини меня, форель, что я так думал о тебе. Ты меня не балуешь, форель, совсем не балуешь, ты никого не балуешь, ты умный и хитрый, форель...»

«Бульк!» — шлепнулся поплавок во второй раз.

«Если ты сидишь под коряжкой — значит, ты сейчас смотришь за червяками, форель. Значит, ты опытный, а не какой-нибудь одногодок. Значит, в тебе граммов пятьсот, не меньше. Ага, ты и сейчас не хочешь брать? Ладно! Но учти, я бросаю в последний раз...»

«Бульк!»

Поплавок понесло все стремительнее и стремительнее. Потом его завертело в маленьком омуте, метрах в трех от коряжки. Вдруг поплавок подпрыгнул, метнулся к самому берегу и пошел стремительно, чуть не цепляясь за черные, зловещие ветки прибрежных кустарников.

И вдруг стремительный луч прожектора резанул воду от коряжки к берегу серебряной невесомой полосой. В ту же секунду поплавок ушел под воду, а леска сделалась тяжелой.

Сколько бы раз поплавок ни уходил под воду даже у самого удачливого рыбака, все равно новая удача отдается гулким, тяжелым ударом сердца и перехваченным дыханием.

Лахме почувствовал, как все его тело напряглось, подалось вперед. Он осторожно, несильно подсек левой рукой, в которой держал леску, а правой остановил катушку.

— Ну, вот видишь, форель...— прошептал Лахме.

Форель оказалась граммов на пятьсот, как и рассчитывал Лахме. Бока у нее мерцали красно-сине-черными пятнышками.

— Красавец! — сказал Лахме, рассматривая форель.— Ты очень красивый, и я рад, что поймал тебя.

6

Лахме прошел вверх по речушке километра четыре. За это время он взял еще одну форель, в большой черной яме. Форель была чуть побольше первой — граммов на семьсот.

«Хорошо,— подумал Лахме, опуская рыбу в холщовый мешок, надетый через плечо, как скатанная солдатская шинель,— это уже хорошо! Можно считать, что я накормил ухой пять человек. А может быть, и шесть».

На луг упала роса. Она сделала высокие травы атласными: по яркой зелени шла перламутровая изморозь. Солнце спряталось за лес. Как напоминание о нем, над лесом лежала желтая полоса цвета жидкой стали.

Вместе с белым невесомым туманом от луга поднималась ночная, влажная прохлада и где-то на уровне лица Лахме сталкивалась с дневным, жарким воздухом. Именно на этом уровне вокруг головы Лахме кружились мухи и мошкара. От этого его голова была словно в ореоле. Мошка гудела монотонно, как телеграфные провода.

«Мошка и мухи чуют будущих покойников»,— вдруг вспомнил Лахме слова своего друга Миллера.

Они вместе дрались с фашистами в эстонском корпусе. Под Псковом, в разведке, они лежали втроем: Миллер, Эндель Хэйнасмаа и Лахме. Эндель Хэйнасмаа был тогда совсем мальчишкой, не то что сейчас — председатель. Был такой же, как и сейчас, предвечерний час, и такая же первозданная тишина и спокойствие плыли над лесом, и лес был такой же, и луг почти совсем такой же — с яркими красными и синими цветами. Мошка и мухи вились над головой Миллера. Он бодался, как бык, но мошка по-прежнему висела над ним зудящим облаком.

— Как ты думаешь, Арно,— спросил тогда Миллер,— мухи чуют будущих покойников?

— Почему ты спрашиваешь об этом?

— Так...

— Ну, тогда я тебе отвечу: нет, мухи не чуют будущих покойников.

Эндель Хэйнасмаа придвинулся к Лахме и заглянул ему в лицо расширившимися от ужаса глазами.

— Пошли, пожалуй,— сказал Миллер.

И они поползли дальше. Они в тот раз взяли «языка». Это был парень из саперной роты. Когда переползли линию фронта, Миллер полз первым, а Лахме, пропустив Энделя Хэйнасмаа и пленного, полз последним с гранатами и автоматом. Миллер взорвался на мине, когда до наших окопов осталось метров двести, не больше. Немца оглушило, Энделя Хэйнасмаа контузило, а Лахме только засыпало землей.

— Ерунда,— вдруг сказал Лахме, насаживая новых червей,— все ерунда! Никакие мухи ничего не чуют, просто надо быть осмотрительным и никогда зря не торопиться. Надо было ему щупать руками землю: если очень рыхлая или, наоборот, очень твердая — остановись. Землю, под которой зарыта мина, всегда можно почувствовать. Человек хитрит, чтобы убить врага, а хитрость всегда заметна. Особенно на земле. Земля ведь не терпит хитрости.

Лахме насадил червей и подкрался к реке.

«Бульк!»

«Хорошая яма! – подумал Лахме, прислонившись к дереву так, чтобы ему было видно поплавок из-за ветвей.– Ну, форель, смотри внимательно, сейчас я начну водить крючок перед твоим носом! Вот так, не быстро, спокойно. Ну, что же ты? Ничего, у меня есть время. Я подожду. А ты здесь сидишь, это точно, что ты сидишь в этой яме...»

7

Жена Лахме, Элза, погибла, когда эвакуировали Таллин. Пароход, на котором она плыла в Ленинград, сгорел.

О жене Лахме думал постоянно. Элза, когда собирала Лахме на рыбалку, делала ему бутерброды с курицей и с огурцами. Она клала их в в гуттаперчевый пакетик. На пакетике она сама нарисовала большую рыбу. Один глаз у рыбы хитро подмигивал, а рот кривила злая ухмылочка.

Возвращаясь домой, Лахме ставил сумку с рыбой под дверью, нажимал кнопку звонка и сбегал на несколько ступенек вниз.

Элза открывала дверь, брала мешок и сразу же захлопывала ее. Лахме снова поднимался и скребся в дверь, как кот.

– Кто там и что вам надо? – спрашивала Элза.

Потом она распахивала дверь и бросалась к Лахме. Он целовал ее и начинал рассказывать о рыбалке. Она всегда смеялась, когда Лахме рассказывал о своем друге и всегдашнем спутнике Лыппе. Лыпп был страховым агентом, старым буршем и рыболовом. Он был почти вдвое старше Лахме и знал наизусть весь «Калевипоэг». Каждый раз, когда он раскладывал костер, Лахме готовился к тому, что Лыпп откинется на руки, закроет глаза и начнет читать о Калеве. И Лыпп всегда читал о Калеве. Он почти никогда не привозил в город рыбу, потому что все время смотрел по сторонам, радовался восходу и заходу солнца, вечерней и утренней прохладе, радовался пению весенних гром-

коголосых птиц и сам подпевал им, а форель, услыхав голос человека, разбегалась, уходила под коряги.

Лыпп умер три года тому назад. Перед смертью он прислал Лахме телеграмму. Лахме приехал к нему из Таллина. Лыпп увидел его и заплакал: они не встречались с сорокового года.

— Прощай, Арно! — сказал Лыпп.

— Ерунда! — ответил Лахме.— Что за глупости ты говоришь?

— Возьми мой спиннинг, мои удочки и снасти,— попросил Лыпп.

— Оставь свой спиннинг и удочки в покое. Через неделю мы пойдем с тобой под форель.

Лыпп сказал:

— Арно, если ты их не возьмешь, будет очень плохо, пойми! Внук ловит форель сетями. Понимаешь? Они ночью ставят сеть у порогов и утром берут форель и везут ее на базар. Зачем же ему мои удочки и мой спиннинг?

Лыпп умер через день. Лахме забрал его удочки и спиннинг и поставил их в своей гулкой, аскетически чистой таллинской квартире, под портретом Элзы. А ловил рыбу, когда выдавалось свободное время, своими удочками и своим спиннингом.

— Ну что же ты так долго, форель? — вздохнув, спросил Лахме и снова осторожно повел на себя поплавок.

Воду тронули вкрадчивые, безнадежно ровные круги.

— Смотри, смотри внимательно, форель! Видишь, какие прекрасные черви плавают перед твоим носом, а? Ну, давай, решайся!

Но форель так и не решилась. А может быть, ее и вовсе не было в яме...

8

— Ой-ой! — сказал Лахме и поднялся со своего места.— Совсем темно, а?

Он помассировал спину, а потом осторожно вытащил крючок из воды. Лахме впервые за весь вечер взглянул на часы, потому что солнце зашло и никак иначе нельзя было узнать время. А вообще Лахме, когда ловил рыбу, не смотрел на часы. Он узнавал время по окружавшему его миру.

Лахме поднес циферблат к глазам и увидел, что светящиеся стрелки показывали одиннадцать часов.

Лахме заторопился. Вечерний клев уже подходил к концу, а поймал он за вечернюю зорьку всего две рыбы.

Лахме откусил крючок, спрятал его за ленту шляпы и полез в задний карман: там в плоской коробке из-под фруктовых конфет лежали самодельные блесны. Одна из латуни, а другая из хромированной стали, с чеканной насечкой.

Привязав латунную блесну, Лахме пошел еще выше по течению, к порогам. Он шел, широко размахивая руками, ничуть не заботясь о том, чтобы не шуметь. В этой излучине форели не было, он знал точно. Откуда же здесь быть форели, если сюда приходит помощник лесничего со своей женой косить траву? Форель не станет жить там, где косят. Ведь трава шумит падая. Она шумит, как солдатский шаг с четко отбитым ритмом: «Раз! Раз! Раз!» А потом люди точат косы, и от этого в пойме стоит звон, как будто кавалеристы точат клинки. А форель не любит, когда звенит металл, становясь острым. Когда металл делается слишком острым, тогда начинают рваться мины. Они поднимают со дна тину, бьют в жабры топкой клейкой жижей, от которой совсем нельзя дышать. Нет, форель не любит, когда звенит металл и поют песни. Форель любит прохладу быстрых, порожистых перекатов, когда мелко, когда солнце греет спину, а брюшко щекочут мелкий песок и камни, поросшие зеленью. Форель любит, порезвившись на перекатах, уйти в ямы, под коряги и там ждать утра, когда придет молчаливое солнце и сделает реку звенящей и радостной.

Нет, форели не было здесь. Лахме это знал точно, и поэтому он шел, волоча ноги по мокрой траве. За ним оставался белый дымный след.

К порогам Лахме пришел через сорок минут. Пороги были расположены, как лестница, сделанная специально для сердечных больных,— покато, спокойно. Сверху с водой несся сдержанный гул, вместе с которым по реке клубилась белая прохлада. Там, где вода разбивается о камни, всегда прохладно. Даже в жару.

«Вроде здесь,— подумал Лахме,— в прошлом месяце я видел тут форель. Он был очень большой, килограмма на два».

Лахме начал подкрадываться к маленькому затончику, отходившему от самого порога. Он подкрадывался затаив дыхание, высоко поднимая ноги, так высоко, будто был он не человеком, а норовистым английским конем. Дышал Лахме прерывисто, часто и, чтобы не шуметь, выдыхал ртом и ртом захватывал воздух. Кожу у висков стянуло. Пот ел и глаза и уголки губ и катился по щекам: Лахме только сейчас почувствовал, как он устал за день. Он, наконец, подкрался к яме и прислушался.

«Такой форель червя не возьмет. Это я правильно сделал, что взял блесну. Я приманю его на золото, как ростовщика».

Лахме всегда латунь называл золотом и где-то в глубине души предпочтение отдавал латуни: она казалась ему более нарядной.

«Бульк!»

Блесна шла по стремнине, образовавшейся после падения воды, петляла между камнями, иногда, поворачиваясь особенно быстро, загоралась маленьким костром и мгновенно гасла. Вдруг Лахме почувствовал тяжесть в той руке, которой он страховал леску. Он перестал заматывать катушку.

«Нет, это камень,— решил он.— Просто блесна зацепилась за камень, не иначе. Или, может быть, за коряжку. Если бы взял он, так стал бы сейчас водить меня, прыгать по камням. Нет, конечно, это камень...»

Лахме осторожно подергал леску. Он не просто дергал ее, нет. Он прикасался к ней осторожно, точными движениями указательного пальца, как арфист к струнам арфы.

Леска ослабла. Лахме забросил блесну еще раз. Он так бросал блесну раз пятьдесят. Он решил, что форель не хочет брать блесну, и собрался уже было сажать снова червя, но в этот миг почувствовал, как леска натянулась. Он даже ощутил это еще перед тем, как леска натянулась. Рыбак чувствует удачу на мгновение раньше самой удачи. Лахме стал быстро, но плавно и осторожно наматывать леску на катушку. Но он догадывался, что рыба попалась не та, которую он ждал. Хотя, может быть, просто форель хитрила. Ждала самого последнего мгновения, чтобы потом начать бороться за свободу. Но нет. Лахме увидал маленькую форель. Совсем маленькую, как окунь в озере. Лахме поймал рыбу и осторожно вытащил из губы один крючок из трех. Форель попалась только на один крючок, к счастью.

Перевернув форель, Лахме легонько шлепнул ее пальцем по белому брюшку.

— Ну куда ты лезешь, дурачок? — спросил он.— Больно? Знаю, что тебе больно. Подожди, не трепыхайся: этим ты горю не поможешь. Ну подожди же! Сейчас!

Лахме подкрался совсем близко к берегу и пустил форель в реку.

— Он совсем маленький,— сам себе сказал Лахме,— пусть растет. Я с ним сражусь в будущем году.

9

Костер разгорался слабо. Дым то клало на землю, то заваливало, то взносило высоко в небо шальным ветром, который дул не так, как положено ветру — в каком-нибудь одном направлении, а налетая на огонь со всех сторон.

Лахме положил вокруг костра сухих еловых веток и сел, тяжело подломив ноги, на подушечку, которую он приготовил себе из мха.

Лес стоял безмолвно. Лес слушал, как потрескивал костер. В лесу тоже поднимался туман от земли, как от реки и от луга. Только здесь, в лесу, он был совершенно неосязаем. Он казался марлей, натянутой где-то далеко за деревьями. От этого деревья, которые стояли поблизости, были отчетливо видны, а те, что росли в низине,— расплывчато, сумеречно, и лес выглядел декоративным, слишком многозначительным. Он, казалось, так и хотел, чтобы кто-нибудь сумел попросить его поведать свои тайны. Ведь каждый лес хранит много тайн, куда больше, чем луга или даже реки.

Лахме вспомнил Котова. Котов был врачом в госпитале на Первом Белорусском. Он был толстый, этот Котов, а звали его Ильей. Котов любил петь. Пел он всегда одну и ту же песенку:

Жизнь такая нужна мне,
Чтоб облегчить душу.
И хожу я по земле,
По воде и суше.
Сплю, а звезды надо мной!
Хлеб макаю в реку,
И не надобно иной
Жизни человеку.

Котов говорил Лахме:

— Когда я жил у партизан, в лесу, я ужасно трусил. И я не фашистов боялся, что вокруг, честное слово! Я боялся леса. Я люблю жить в степях. Там душе простор, песне простор, в степях хлеб растет — пойди-ка в лесу его вырасти!

Котов любил говорить с Лахме, потому что тот никогда не расспрашивал о своей болезни и умел слушать, не влезая со своими рассказами...

Достав из старой полевой сумки три картофелины и булку, Лахме еще ближе придвинулся к огню. Он разбросал сучком головешки и забросал ими картофелины. А сверху головешек насыпал мягкой теплой золы. Потом, разломив хлеб, стал жевать, запивая теп-

лой водой из фляги. Вода была с привкусом, а Лахме любил ключевую воду. Он поднялся, выплеснул остатки из фляги и пошел к реке. Он вышел из лесу — и замер: у берега стоял лось, высоко подняв голову. Лахме показалось, что у лося голова такая же седая, как и у него самого. Только у лося было поджарое, мускулистое тело, стремительное и могучее. Лось стоял недвижно и прислушивался: где-то у порогов кукушка отсчитывала годы жизни. Кукушка отсчитала шесть раз и смолкла, а лось по-прежнему стоял, высоко подняв свою гордую голову, прислушиваясь. Потом он вздохнул — шумно, совсем по-человечески.

Лахме долго любовался животным. У него затекла правая нога, и Лахме чуть переступил. Треснул сучок. Лось спокойно обернулся и увидал человека, стоявшего на опушке леса, затянутого марлей.

«День умер,— подумал Лахме,— а утро еще не родилось. И лосю страшно, потому он не уходит, а смотрит на меня. А когда страшно, всегда появляется жажда. Поэтому животные пьют ночью. И еще хорошо, когда страшно, не быть одному».

Лахме пошел к реке. Лось повернулся и неторопливо направился к лесу. Он подошел к опушке, постоял, опустив свою седую голову, потом снова вздохнул и спустился на луг. Постоял и пошел к порогам: оттуда доносился гул, там не было безмолвия.

«Почему же он не вошел в лес? — подумал Лахме, набирая воду во флягу.— Чудак какой! Там нет холода, который поднимается от реки. Там тепло даже в смоле деревьев. А может быть, прав Котов, когда он говорил, что лес — это зловеще. Ведь Котов прав, когда говорил, что в лесу можно заблудиться и погибнуть, а в степи — никогда».

Лахме поднялся с колен, завинтил крышку фляги, ставшей вдруг ледяной даже через зеленое сукно, которым она была обтянута, и пошел назад, к костру. Он увидел, как в том месте, где он расположился, голубая тоненькая струйка дыма тянулась вверх, в холодное предрассветное небо.

Вернувшись к костру, Лахме откопал картошки и съел их, запивая сладкой студеной водой. Потом он лег совсем близко к огню, ощутил блаженную истому.

В предрассветные часы полного одиночества Лахме чувствовал свое бессмертие. Он знал, что затаившийся лес, река, луга, пьянящие своими запахами,— все это растворено в нем, в Лахме, так же как и он растворен во всем окружавшем его.

Лахме вспомнил, как в прошлом году, с трудом встав после болезни, он пришел в ЦК и сказал:

— У меня за спиной десять лет подполья, пять лет каторги и семь лет войны — в Испании и у нас. Я дрался за то, чтобы о людях заботились и чтобы все говорили друг другу: «Здравствуй, товарищ!» Теперь у меня два инфаркта. Я сижу в министерстве, езжу на машине и руковожу многими людьми. А я прошу: дайте мне лучше позаботиться о немногих, о нескольких, чтобы я видел их улыбки и радость. Потому что я видел в своей жизни слишком много горя и слез.

Лахме установили персональную пенсию и назначили директором этого маленького дома отдыха.

«Ой-ой,— подумал он, подвигаясь еще ближе к костру,— как же быть завтра? «Если положение неясно, надо побольше спать», — часто говорил Эндель Хэйнасмаа, когда мы вместе дрались в конной разведке эстонского корпуса. Это он говорил для вида, сам он никогда не спал, когда положение было неясным. А теперь стал председателем и уж не говорит про сон».

Лахме улыбнулся, улыбка сделала его лицо мягким и старым.

Снова кукушка начала считать годы чьей-то жизни, и снова Лахме прислушался, чего-то старашась и на что-то надеясь...

10

В дом отдыха Лахме вернулся к восьми часам утра, как и обещал. В сумке у него было четыре форели весом в два с половиной килограмма.

Повар Франц сидел на крыльце и грыз ногти. Из кухни несло запахом раскаленной плиты. Больше никаких запахов не было.

— Плохо,— сказал повар Франц, осмотрев улов,— ничего не получится.

— Да,— согласился Лахме,— пожалуй.

— Что же делать?

— Что делать? — переспросил Лахме.— Сейчас придумаем, что делать.

Он посмотрел на свежевыкрашенное здание дома отдыха, еще не ожившее звоном голосов, на водокачку, на маленький домик клуба и сказал:

— Во-первых, ты сейчас же отправишься домой и зарежешь семь кур. Все. Не спорь со мной! Деньги получишь в кассе, как только приедет кассир, а жену пришлешь для объяснений ко мне. Во-вторых, я пойду к Энделю Хэйнасмаа и «задам ему палку», чтобы он не был трусом и не оставлял в беде моих отдыхающих. В-третьих, соединюсь сейчас же с Раквере...

Лахме не договорил. В воротах стоял Эндель Хэйнасмаа, улыбавшийся во весь рот.

— Эй! — крикнул он.— Не надо нервничать! Ты всегда нервничаешь зазря. Арно! Я привез тебе двести килограммов салаки.

Лахме пошел навстречу Энделю Хэйнасмаа. Обернувшись, он сказал повару Францу:

— И все-таки пойди и зарежь семь кур. А то в меню одна рыба. Думаешь, это очень вкусно, а?

НЕ ОПОЗДАЙТЕ НА ПОСЛЕДНИЙ ПОЕЗД

Я проскочил в метро последним. Эскалатор обрушивался вниз, словно водопад в замедленном кадре кино. Сначала он шел гладко, а потом постепенно начинал ребриться волнами. Я облокотился на перила, скатал билет в трубочку и пустил его по полированной поверхности. Билет быстро покатился вниз, подпрыгивая на металлических планках.

На перроне было тихо и пусто. Словно в коммунальной квартире, когда все жильцы разъехались на дачи.

Посредине платформы стояло ведро с водой и щетка. Я пошел вперед, прислушиваясь к тому, как мои шаги гулко улетали в открытую пасть туннеля. Остановился около старика-партизана. Ему было неловко сидеть в нише, и, казалось, он хотел встать и распрямиться. Но старик так и не встал, потому что он был изваян из бронзы.

Поодаль, в такой же нише, сидел студент с раскрытой тетрадью на коленях. Ему было холодно, хотя рубаха на груди была расстегнута. Рядом, обняв его за шею, стояла маленькая девушка, уборщица станции. Она была в сереньком халате и в тапочках на босу ногу. Одной рукой девушка прижимала к себе мускулистую шею студента, а другой — гладила его лоб.

Девушка не слышала, как я подошел к ней. Она смотрела на лицо студента большими, широко поставленными глазами. Мне показалось, будто она что-то шептала ему. Рука у девушки была маленькая, с короткими ногтями. Такие руки бывают у детей, когда те играют в песке. Рука осторожно скользила по бронзовому лицу студента, согревая металл.

Я сказал:

— Добрый вечер.

Девушка обернулась, убрала со лба прядку волос и спрыгнула на пол.

Из туннеля вырвался поезд и заскрипел тормозами. Девушка улыбнулась детской, доверчивой улыбкой.

Двери поезда раскрылись. В вагонах не было ни души.

Мне захотелось сказать девушке что-нибудь — я даже не знаю что. Но я ничего не сказал. Я сел в вагон, мельком взглянув на большие часы, укреплённые над туннелем.

Двери шипуче захлопнулись, и поезд тронулся. Девушка осталась на перроне. Она смотрела на меня странными зелеными глазами. Прямо передо мной торчал рычаг стоп-крана. Под ним висела надпись, предупреждавшая об уголовной ответственности за «самовольную, без надобности остановку поезда».

На следующей станции я вышел из вагона. Поезд заторопился в депо. Я перешел на противоположную платформу, потому что мне надо было вернуться к той девушке. Я долго стоял на платформе, ожидая поезда. Потом ко мне подошел дежурный и сказал:

— Напрасно ждете, товарищ. Последний поезд уже ушел...

ПЕСЧАНАЯ ДОРОГА В ЛЕСУ

Разморенные жарой сосны поили воздух терпким ароматом хвои. Песчаная дорога была перехвачена корнями. Переплетшиеся между собой, они напоминали лапы восточного дракона.

Экипаж резко встряхивало на корнях, потом колеса снова погружались в мягкий теплый песок. Художник улыбнулся, подумал о Врубеле. Вот для кого это — кошмар в радостной жизни летнего полдня.

До маленькой, затерявшейся в лесах усадьбы доктора Зененко оставалось несколько верст.

Колесо сломалось внезапно — когда переезжали через корень, треснул обод. Лошади стали. Возница почесал в затылке и, обойдя экипаж, покачал головой. Потом, вспомнив что-то, сказал:

— Обождите, барин, я мигом. Тут Антипа недалеко живет. Кузнец.

— Что же кузнецу в лесу делать?

— А кто его разберет? Чудной.

Возница вернулся с высоким жилистым мужиком. Они вместе сняли колесо, и кузнец, взвалив его на плечи, двинулся к себе, высоко поднимая длинные ноги и твердо ставя их в рыхлый песок.

Пассажир вылез из экипажа. Он достал из дорожной сумки маленький пейзаж, написанный на фанере. Тропинка сада. Вся в зелени. В яркой, весенней и потому чересчур веселой.

Человек присел на корточки и взял в руки горсть песка. Понюхал. У него в последние годы это вошло в привычку: он уверял, что каждый цвет в природе имеет свой запах. Потом он достал краски и начал писать маслом — на обратной стороне дощечки.

Белое небо. Тугая зелень хвои. Светло-желтый песок. Сначала художник написал и переплетшиеся, сильные, зловещие корни. Но, подумав, убрал их.

Кузнец вернулся через час и начал вместе с возницей прилаживать колесо.

— Ты, сказывают, лесной человек? — спросил его художник.

Кузнец промолчал.

— Так ли?

— А что?

— Ничего, интересуюсь...

— Все,— сказал, не отвечая художнику, Антип вознице, поднимаясь с коленей,— доедешь. Теперь напрочно.

Он повернулся, чтобы уйти, но увидал в руках художника незаконченный этюд.

Безбровое лицо Антипа окаменело. Он протянул руку, и художник передал ему дощечку, на которой была написана песчаная дорога в лесу. Утерев свободной рукой пот со лба, Антип прищурил глаза — точно так, как это делают живописцы, когда смотрят картину.

Он долго рассматривал пейзаж, а потом так же обстоятельно оглядел дорогу, лес, небо.

— А корней почему нет? Корни ж вот они...— сказал Антип.— Нешто можно, чтобы они были — и нету?

Потом Антип перевернул дощечку и начал разглядывать обратную сторону.

— Тут-то небось все есть?

— Все.

— А эта все ж лучше,— сказал Антип, снова перевертывая дощечку,— наши места лесные. Только вот корней нет, к жалости.

Художник попросил у него пейзаж и на мягкой желтизне песка сделал кистью несколько точных узловатых мазков.

— Так? — спросил он.— Теперь так?

Антип помолчал, вглядываясь, а потом недоверчиво, осторожно улыбнулся:

— Вот теперь так.

— Это мой тебе подарок,— сказал художник.

Антип опустил глаза и затоптался на месте. Тогда художник полез в карман и, достав несколько монет, протянул их кузнецу. Тот отрицательно покачал головой и, не попрощавшись, пошел к лесу. Пройдя шагов десять, он обернулся и сказал:

— А за картину премного благодарны.

...Спустя много лет этот этюд, висевший в избе сына кузнеца, купил заезжий помещик Федулов за один рубль серебром. Разглядывая покупку, он обнаружил с другой стороны яркий весенний пейзаж.

«Дикари,— подумал Федулов,— истинные дикари. Картину и ту наоборот смотрят».

Он заказал в Нижнем Новгороде золоченый багет и повесил картину в своем кабинете. Смеясь, он рассказывал друзьям о том, как случайно нашел настоящего Шишкина.

— И заметьте, какой-то незаконченный набросок с соснами они смотрели, а настоящего мастера русского,— в этом месте у Федулова всегда начинал звенеть голос,— настоящего мастера русского повернули лицом к бревнам деревенской избы.

Я нашел эту картину в фондах Горьковского краеведческого музея. «Песчаная дорога в лесу» Шишкина считалась обратной стороной и была заколочена планочками.

ПРОРАБ И СВЕТЛАНА

— Не пройти там, прораб!

— Нужно!

— Сопка вплотную к воде подходит!

— Нужно!

— Кедры в пять обхватов!

— Нужно!

Бульдозерист Жора Серегин тяжело облокотился на свежеструганый пихтовый стол и посмотрел поверх головы прораба в маленькое окошко, натертое солью, чтобы не замерзало. Прораб хотел даже из своей клетушки видеть, что происходило на строительной площадке.

Жора достал кисет и спросил:

— Бумага есть?

Прораб подвинул ему газетный лист. Серегин свернул козью ножку, закурил. Хмыкнул под нос и сказал:

— Упрямый ты, Виталь Николаич!

Прораб ответил ему улыбкой.

— Человек — что вареное яйцо. Всмятку сварен — чуть наклони, растечется. Вкрутую — хоть юлой юли, целым останется. Так?

— Так!

— Сегодня пробьешь дорогу?

— Не знаю. Там камень да лед.

— А ты не торопясь. Я тебе десять часов даю.

— Не знаю,— снова повторил Серегин.

— Ну, будь здоров!

Бульдозерист ушел. Прораб посмотрел в окно. Путеукладчик, размахивая своей стальной шеей, осторожно опускал на мерзлую насыпь заиндевевшие на морозе рельсы.

Зазвонил телефон. Прораб снял трубку и спросил коротко:

— Ну?

Звонили из города, из управления строительством железной дороги.

– Лесосеку найди хоть из-под земли!

– Лес гнилой.

– Нужно!

– Снег рыхлый, к хорошему лесу на бульдозерах не пробьешься.

– Нужно!

– Людей мало, все на укладке пути!

Линия была забита шумами, и прорабу приходилось орать, чтобы его услыхали в городе.

– Нужно! Точка! Выполняй!

Над тайгой рождалось утро. Прораб стал на лыжи и пошел в тайгу. Лыжня петляла вдоль по выемке, потом поднималась на Томь и здесь около проруби исчезала.

– Здоров, прораб! – закричал Андрей Васильевич, лесничий. Он шел наперерез, через реку.

– Здоров, ель да палка!

– Что свет вчера пережгли?

– Ну...

– Техники тоже мне!

– Вы сами виноваты. Провели свет, а вы давай плитки жечь. Совесть-то в людях есть?

– Какая в людях совесть! – засмеялся лесничий и спросил: – Ружье-то зачем взял?

– А медведь?

– Стрелять умеешь?

– Кидай шапку.

– Так и дурак сумеет! А ты в шапку на голове попади.

– Что я тебе, Уленшпигель, что ли?

– У того другая фамилия, кто шапку на голове простреливал,– подумав, ответил лесничий и спросил: – Библиотеку скоро построишь?

– Тебя все равно не пущу. Махрой продымишь.

– Гордый стал, как из палатки в дом переехал! Махры испугался?

Лесничий засмеялся, но прораб уже не слыхал, что тот говорил. Подул ветер и залепил уши мокрым холо-

дом. Начинался буран. Прораб посмотрел на восток, раздумывая, стоит ли идти. Покачал головой и пошел.

Небо, только полчаса как ставшее светлым, снова потемнело, пригнулось к земле. Прораб торопился подняться на сопку до того, как буран разыграется по-настоящему. Он обернулся и посмотрел на поселок: ничего не было видно, все потонуло в снежной пелене. Прораб уходил все выше в сопки. И чем дальше уходил он, тем тише становился ветер, но небо и здесь было низкое и нахмуренное.

Только к полудню прораб нашел хорошую лесосеку, расположенную на пологом склоне сопки, километрах в десяти от поселка. Здесь он решил отдохнуть. Развел костер, обогрел руки, достал из кармана колбасу и, нанизав ее на прутик, сунул в огонь. Потом разломил кусок мерзлого хлеба и начал обедать, перебрасывая шипящую, обуглившуюся колбаску с руки на руку. Костер уходил все глубже в снег, словно ведро в колодец. Буран стихал, небо светлело. Прораб закидал костер снегом и через час был у себя в комнате. Его ждали.

— Как быть с насыпью, прораб? Экскаваторщик Антон Силин говорит, что около Синего лога грунт топкий, летом развезет, рельсы смоет.

— Он что, сквозь землю видит?

— Кто его знает! У него глаз соболий, с искрой.

Прораб усмехнулся:

— Тогда пошли!

Он вернулся от экскаваторщиков, когда начинало темнеть. В комнате было жарко натоплено. Ветер швырял в окна пригоршни снега, и слышалось, как за стеклом будто кто-то водил горячим утюгом по мокрой тряпке. Прораб усмехнулся, подумав о том, как давно он не гладил своих брюк. На коленях они вспузырились, словно у старика. Прораб потрогал колени, усмехнулся и включил свет.

Рядом со столом на раскладушке сидела Светлана. Прораб закрыл глаза, испугавшись. Он подумал, что это галлюцинация. Ведь Светлана далеко отсюда, в го-

роде! Так зачем же кто-то похожий на нее сидит на его неубранной раскладушке? Зачем женщина в таежном поселке, где живут пока что сорок мужчин и никто больше?

Пророраб спросил:

– Ну?

Светлана поднялась и сказала тихо:

– Здравствуй, Виталий!

Прораб засмеялся и поднял ее на руки. Светлана пахла хвоей; волосы у нее были пушистые, как ветви лиственницы. Обнимая его голову, она шептала:

– Виталька, Виталька, вот счастье-то!..

Хлопнула дверь. На пороге стоял Федька – взрывник из восьмой палатки. Он смотрел на прораба вытаращенными глазами и пятился назад.

– Заходи! – остановил его прораб и осторожно посадил девушку на раскладушку.– Заходи, чего там...

– Да нет уж,– ответил Федька, скривив губы,– я лучше пойду.

Прораб нахмурился:

– В чем дело?

– Да ничего,– ответил Федька, исподлобья рассматривая девушку.

– Ну! – сердито прикрикнул прораб.

– Там Леха с Киева снова в очко с пацанами играет. Да вы занимайтесь...

Прораб вышел вместе с Федькой. Светлана крикнула вдогонку:

– Виталий!

Прораб досадливо махнул рукой и ничего не ответил.

«Леха с Киева» играл в очко. На столике, сделанном из перевернутого ящика, лежали три пары часов и десять рублей денег. Вместе с прорабом в палатку ворвался ветер. Несколько рублей упало на пол. Леха стремительно поднялся, сгреб рукой банк и стал спиной к столу.

– Сволочь! – сказал прораб.

— Ты зря серчаешь, начальник! — улыбнулся Леха.— К тебе приехала женщина. А нам оставь карты.

— Сволочь! — повторил прораб.— Ты у меня вчера в ногах валялся, слово дал, что карт больше не будет!

— Но ведь тогда в поселке не было женщин...

Прораб взял со стола карты и швырнул их в печку.

Леха бросился к печке. Прораб загремел:

— Стоп!

Вздрогнув, Леха остановился. Ребята сидели, опустив головы, и молчали. Их командир и товарищ, который столько раз выручал из беды, который отдал Власу собачьи варежки, а Жорке Серегину — унты, сейчас стоял против Лехи бледный, выбритый до синевы, в старых, вспузырившихся на коленях брюках. Пальцы у него сжались в кулаки, а глаза сузились, скрыв ярость.

— Кто проиграл часы?

— Я,— ответил Босьян, мальчишка из Еревана.

— Отдай часы! — приказал прораб.

Леха шмыгнул носом и отдал часы.

— Виталь Николаич,— сказал медлительный, добродушный Влас,— не будет карт. Слово. Идите к жинке.

— Конечно, идите. И привет от восьмой палатки передайте, коллективный! — улыбнулся Федька Кольцов, взрывник.

Прораб повернулся и вышел.

Когда прораб вернулся, Светлана поднялась ему навстречу, обняла и притянула к себе. У нее были сильные руки и волосы пахли хвоей.

— Ты уедешь сегодня же,— сказал прораб и нахмурился.

— Почему? — удивленно спросила девушка и засмеялась.

— Потому что не должно быть хорошо прорабу, когда его рабочие живут в палатках и умываются снегом. Ты понимаешь?

Светлана отошла к окну. Путеукладчик осторожно укладывал рельсы на стылую землю. Прожекторы резали синюю ночь.

— Ты понимаешь меня? — тихо переспросил прораб.

Светлана молчала.

Прораб свел брови в одну линию.

— Ну?

— Я шла к тебе три дня,— ответила Светлана.

Она подошла к раскладушке и села на самый краешек. Прораб стоял перед девушкой. Светлана низко опустила голову. Прораб видел чудесные пушистые волосы, чуть оттопыренные розовые уши и маленькие руки, сложенные на коленях. Руки у Светланы были красные, обветренные.

— Что же ты молчишь? — крикнул прораб.— Ответь мне!

Он взял девушку за плечи и, прижав к себе ее послушное тело, замер.

Светлана заплакала, обняла его за шею и сказала:

— Я понимаю, Виталик! Я все понимаю! Я уйду!

Прораб вздохнул и подошел к телефону. Снял трубку и спросил дежурного по участку:

— Серегин вернулся?

— Нет еще.

— Когда вернется, пусть идет ко мне!

Светлана спросила:

— Когда он придет?

— Не знаю. Может быть, часа через два.

— Ты будешь занят?

— Нет. Я буду с тобой.

Девушка взяла его большую руку в свои и поцеловала. Прораб растерянно улыбнулся. Спросил:

— Ты хочешь чаю?

— Нет.

— А то я заварю...

— Не надо.

Она посмотрела на него. Сверху лицо Светланы показалось прорабу до того юным и беззащитным, что

он вдруг подумал: «Я не имею права отсылать ее! Она должна остаться со мной! Ведь ребята не против...» Но девушка, словно угадав его мысли, сказала:

— Не волнуйся, Виталька. Я уеду. Иди сюда...

И прораб сел рядом с ней на узкую железную раскладушку, которую он не оправлял уже третий день.

— Я люблю тебя,— сказал прораб и зажмурился.

...Серегин пришел через час.

— Возьмешь с собой девушку,— сказал прораб,— и отвезешь ее на Каныш. Там ходят машины до Сорбы. А оттуда — рабочий поезд.

— Сейчас десять.

— Так нужно!

— Может быть, завтра?

— Нет, сегодня!

Светлана завязала платок тугим узлом, поцеловала прораба и пошла следом за бульдозеристом.

Прораб сел к столу. Около телефона на листке бумаги лежала просушенная махорка. Прораб подвинул к себе бумагу и прочел расплывшиеся чернильные строки:

Сядь со мною рядом,
Рассказать мне надо,
Не скрывая, не тая,
Что я люблю тебя.

Прорабу всего двадцать пять лет, а Светлану он любит уже три года.

— Виталий Николаевич, генератор надо ставить! — просит его дежурный электрик.— Без вас не управимся.

— Виталий Николаевич, зайдите генплан посмотреть! — звонят строители.

— Прораб, людей на укладке мало! — ругаются в трубку укладчики.

Теперь, как только Светлана ушла, телефон звонит беспрерывно.

«Раньше не хотели беспокоить»,— догадывается прораб, и нежная улыбка трогает его лицо. «Хорошие вы мои друзья!» — думает он и поднимается из-за сто-

ла, осторожно задвинув под телефонный аппарат листок со стихами.

– Позови Леху с Киева из восьмой палатки,– говорит он дежурному электрику.– Пусть со мной идет, помогать будет.

– Хорошо.

– Иди, я догоню тебя!

– Хорошо, Виталь Николаич.

Прораб выходит на улицу. Мороз крепчает. Высоко в небе стынет луна, окруженная радужным красно-желтым сиянием.

«ТЕХНИКА – МОЛОДЕЖИ»

Прораб кончил пить чай, достал лист бумаги и начал писать стихи.

Строчки у него получались корявые:

Сопки, горы,
Пихты-дозоры,
Снег.
Ветер пургою,
Идем мы с тобою
В снег.
Тайга, река,
Сильна, велика,
А кругом лишь один снег.
Крикни: «А-эй!»
Выстрелом бей.
Эхо?
Нет эха -
Снег.

Прораб рассердился и перечеркнул написанное. Взял со стола книгу «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» и стал читать, шевеля губами, чтобы не пропустить ни слова. Особенно понравившиеся места прораб перечитывал и удивленно качал головой.

Часов около двенадцати в дверь постучались. Прораб крикнул:

– Ну!

Никто не вошел, но стук повторился. Прораб понял, что пришел нездешний. Свои привыкли к его экономному словечку, имевшему массу смыслов и оттенков. Сердился ли прораб, просто выражал нетерпение или радовался – все можно было понять по одному этому слову.

– Входи!

Дверь отворилась. На пороге стоял человек в меховом полушубке и в пыжиковой шапке, надвинутой на глаза.

– Можно?

– Ну?

Человек растерялся. Затоптался на месте, расстегивая и снова застегивая полушубок.

– Раздевайтесь же!..

– Спасибо!

– Замерзли?

– Есть малость.

Прораб поставил на конфорку кастрюлю с водой и подбросил в печку сухих дров. Мужчина снял полушубок, шапку, и прораб увидел седого голубоглазого человека со шрамом через все лицо.

– Флеров Александр Иваныч, мастер по холодильным установкам,– представился человек и показал прорабу паспорт.

– Зимин,– пожал ему руку прораб,– Виталий Николаевич. Присаживайтесь. Чаем угощу.

Прораб перенес кастрюлю на стол и разлил кипяток в стаканы. Флеров зажал горячее стекло в белых пальцах. В тепле его лицо делалось все более красным – от висков к носу.

– Я к вам на работу,– сказал Флеров,– еле пробрался. Метет здорово.

– А у меня холодильников пока нет,– пошутил прораб,– холода и так хватает!

– Ничего. Я ведь электрик. Но не во мне дело. Я с сыном пришел.

– А где он, сын-то?

Флеров ответил:

– Я его в палатку завел. В крайнюю.

Прораб поморщился: он не любил самоуправства.

– Вы не сердитесь,– попросил Флеров.– Я вам все расскажу, так вы поймете...

И он стал быстро глотать кипяток, обжигаясь и хмуря широкие брови.

– Я, видите ли, женился...

Прораб хмыкнул и почесал лоб. Флеров быстро взглянул на него и нахмурился еще больше.

– А у нее сын был тринадцатилетний. Нет, вру, ему тогда четырнадцать было. Я Анну знал давно, но все эти годы по стройкам ездил, не до женитьбы было. Женись я на Аннушке восемь лет назад, все, может, иначе было бы. Словом, когда я приехал в Новосибирск к жене и приемному сыну, парень интересовался только одним – голубями.

Флеров отодвинул стакан, задумался, прислушиваясь к тому, как огонь ломал в печке дрова.

– Вижу я этих самых голубей, знаю, чем это кончиться может, если во дворе ими, голубятниками-то, здоровенный рыжий детина – Шурик по имени, Рыба по кличке – заправляет. Пошел я к себе в цехком, упал перед культмассовой секторшей на колени и вымолил подписку на «Технику – молодежи». Для меня лучше этого журнала ничего на свете нет. Стал я Пашке – сына Пашкой зовут,– пояснил Флеров,– стал я ему про межпланетные путешествия читать. А он головой качает, сквозь меня смотрит, а думает о своем. Начал я его тогда на столярное дело приманивать, новую голубятню самому делать. Нет, не забрало парня! Ладно. Человек – что дверь: каждому свой ключ нужен. Попробовал я Пашку приучить кроссворды решать. Для меня это радость – кроссворд решить. Нет, не тронули эти умственные загадки Пашку. Пошли мы с ним тогда в воскресный день в магазин. Идем. Он от меня чуть в сторонке, снизу вверх глядит.

«Дядя Шура,– спрашивает,– а вы на войне были?»

«Нет,– говорю,– не был».

«А наш папка офицером был, с орденами!..»

Я молчу, не знаю, что ответить. Ладно. Купил я парню набор «Юный химик». Вот тогда-то он обрадовался, глаза разгорелись, чуть на месте не запрыгал. Дома он и так и сяк вертел, все пробирочки тряпьем переложил, чтоб не побились. А назавтра сник, забился в угол, там и просидел весь вечер волчонком. Спрашиваю его, где набор, хотел ему разные фокусы показать, а набора-то и нет. Уж потом я только узнал, что он этому Шурику Рыбе набор отдал в счет долгов своих голубиных. Набор дорогой был, чуть не десять рублей. Ладно. Смотрю я со стороны за парнем, табель его листаю — там пятерки да четверки. Пошел в школу, а мне говорят, что он уже месяц, как носу не кажет. Вернулся я домой, снял с себя ремень.

«Гад ты,— говорю,— самый последний! Барином растешь?»

А он кулаки сжал, белый весь сделался и отвечает:

«Попробуйте ударьте! Попробуйте! Мой отец на фронте погиб, а вы мне никто! Жилец вы у нас!»

И так меня эти слова по сердцу хлестанули, что ушел я из дому, даже с женой не попрощавшись.

Флеров замолчал и подвинул пустой стакан к кастрюле.

Прораб налил ему кипятку, но Флеров не стал пить. Он выводил пальцем по столу замысловатые узоры, внимательно разглядывая свои квадратные бугорчатые ногти.

— Сейчас сам себя казню,— снова заговорил он,— казню без пощады! Но понятно ведь, почему ушел. Не свой парень. Чужой как-никак. А от чужого обида всегда больней, особенно если к нему со всем сердцем идешь, как к родному. Да... Вернулся я домой через два дня. Лежит жена на кровати и головой о стену бьется: ночью Пашку за воровство забрали.

Сначала я ее успокаивать стал.

«Оставь,— говорю,— не тужи. От баловства это. Все у него было: и колбаса, и стол, и бабка, что кашу варила. Так ему, сукину сыну, и надо!»

А она в ответ:

«Какой бы он сын ни был, а я ведь ему мать...»

Да... Подумал я, каково сейчас парню, вспомнил его, лохматого, большеглазого, так у меня сердце и заломило. Какая-никакая образцовая, а детколония и есть детколония. Тюрьма, одним словом. Небо в клеточку да четыре стены. Ладно. Взял я на работе отпуск на пять дней и к нему поехал на свиданку. Привели Пашку ко мне — стриженого, в ватнике, побледневшего,— я и заплакал. Как увидел он, что я плачу, так даже просветлел весь.

«Папа,— говорит,— не сердись. Я скоро выйду. Вы мне «Технику — молодежи» выпишите, папа!..»

А у самого глаза, словно блюдца с талой водой весенней.

Ладно. Отпустили его через год. Сейчас ему пятнадцать с половиной. Приехали мы с женой за ним — из колонии брать. Вышел он из ворот, кинулся к нам и, как щенок малый, об руки трется. А потом мать обнял и шепчет ей:

«Ты уж прости меня, мамочка!»

Так, понимаете ли, «мамочка» и сказал. Как дите крохотное совсем! Да! У парня душа, конечно, чистая, грязи не прилипло, сразу видать. Ладно. Пошли мы с ним в город. Спрашиваю его:

«В кино хочешь?»

«Мороженого,— говорит,— хочу, папа».

Купил я ему полушубок, шапку, да сюда прямиком и махнули, даже домой не заглянув. Анна, умница, слезы на вокзале не проронила. Я ее при Пашке-то даже поцеловать не решился на прощание, чтобы парню сердце не терзать. А он добрый. Ушел в вагон, нас двоих оставил.

«Не тужи, Анка,— сказал я жене.— Обживемся, ты к нам приедешь».

А она улыбнулась так грустно-грустно и спрашивает:

«Технику — молодежи» перевесть вам в тайгу?»

«Не надо,— ответил я,— там техники хватит. Она там покрепче, чем в журнале, должна быть. Построже.»

Да... Ну вот мы и приехали.

Флеров замолчал. Дрова в печке стреляли в железную заслонку, просясь к людям. Прораб сидел, низко опустив голову, сцепив сильные пальцы.

– Где сын?

– В палатке, я же сказал.

Прораб поднялся.

– Пошли!

Снег навалился на людей и стал заигрывать с ними, словно котенок с бумажками: то слева, то справа ударит пушистой своей лапой. Низкая луна освещала десять домов, не покрытых крышами. Возле каждого дома была палатка. Внизу, на берегу Томи, стояли еще десять домов, сложенных пока что наполовину.

В крайней палатке было холодно. Пашка, сын Флерова, сидел около печки и ворошил кочергой синие головешки. Он был одет в такой же, как и у отца, полушубок. Увидав прораба, Пашка поднялся и снял с головы шапку. Голова у него была крутая, круглая.

– Здравствуй! – сказал прораб и протянул ему руку.

– Здравствуйте, гражданин начальник! – ответил Пашка и покраснел.

– Я тебе не гражданин, а товарищ! – улыбнулся прораб.– Садись. Что встал?

Пашка присел на краешек стула.

– Нравится тебе у нас?

– Я не знаю.

Ребята, сбитые с ног дневной усталостью, тихонько посапывали и что-то бормотали во сне. Босьян улыбался: ему снилось счастье, большое как Севан. Прораб потормошил Леху с Киева за плечо. Леха открыл шальные глаза, зачмокал губами, отбросил одеяло и потянулся за ватником – одеваться.

– Подвинься,– тихо сказал прораб,– я нового привел.

Леха снова зачмокал губами, прыгнул под одеяло и подвинулся на самый край.

– Ложись к нему,– сказал прораб Пашке.– А вы,– он обернулся к Флерову,– у меня переночуете.

– Давай, сынок, спи,– кашлянул Флеров и, нахмурившись, спрятал глаза под бровями.

Пашка сбросил тулуп, обернулся к отцу и вдруг по-детски, всем лицом улыбнулся ему. Флеров снова кашлянул и пошел следом за прорабом.

Пурга металась веселая, как форель. В воздухе пахло весной, хотя еще только начинался декабрь.

ВЗРЫВ

Земля на узкой таежной поляне была теплая и мягкая. Федька Кольцов вдавился в эту землю. Только левую руку он выбросил далеко вперед, чтобы удобнее было смотреть на секундную стрелку часов. Стрелка передвигалась, цепляясь за каждое деление на циферблате. Раскаленный диск солнца стоял высоко в небе.

«Шею сожжет. Почему белый шарфик не надел?» – досадливо подумал Федька и замер: сейчас, через пять секунд, должен был произойти взрыв.

– Федь,– шепнул Серегин, лежавший в соседней траншее,– что-то не рвет.

– Рванет,– пообещал Федька и легонько дунул перед собой. Сразу же поднялся ленивый фонтанчик пушистой пыли.

«Грязный я, наверное,– подумал Федька,– просто ужас. Вернемся в поселок, дорвусь до реки».

Прошло лишних пятнадцать секунд, а взрыва все не было.

– Федь,– снова шепнул Серегин,– не рвануло.

Кольцов оторвал голову от земли. Потом приподнялся и посмотрел перед собой. Проклятая кряжистая, похожая на бычий лоб сопка торчала по-прежнему как раз на линии будущей просеки. Прораб послал Федьку, бульдозериста Жору и пять лесорубов пробить путь к Машенькиным ключам; там геологи решили ставить рудник. Надо было проложить путь для тракторов и машин с оборудованием. Федька, Серегин и лесорубы продирались сквозь знойную, душ-

ную тайгу, рвали маленькие сопки, а с этой, бычьей, возились уже третий день, и все без толку. А машины и тракторы геологов ждали в поселке. И прораб ругался: Серегин и Федька до зарезу были ему нужны на трассе...

Прошла минута. Бикфордов шнур наверняка сгорел. А взрыва все не было. Федька крикнул лесорубам, лежавшим позади Серегина:

— Братки, давай бегом в тайгу!

— Зачем? — спросил Серегин.

— А что им тут, кадриль хороводить? Вдруг рванет...

— Вдруг! — передразнил его Жора.— А ты?

— Я! Я! — обозлился Федька.— Я взрывник. Мне видней. Убегай! — крикнул он, обернувшись к Серегину.

Жора не двинулся с места. Он смотрел на Федьку и улыбался.

— Убегай! — снова крикнул Кольцов.— Не богом же тебя просить!

— Никуда я не побегу.

— Побежишь!

— Нет. Без нервов. Я же сказал: нет.

Тогда Федька легко выскочил из траншеи и встал во весь рост на маленьком бруствере, обложенном дерном. Бычья сопка, последняя преграда на пути к руде, последняя задержка к возвращению на трассу железной дороги, торчала по-прежнему зло, упрямо выпятившись круглыми каменными глыбами.

— Ты что, сдурел? — спокойно спросил Серегин из своего укрытия.

Федька ничего не ответил. Жора повторил свой вопрос, но уже тише. Федька опустился на корточки и сказал:

— Не говори глупостей, Жора. Туда ведь все равно идти придется. Шнур-то новый надо проложить? Или нет?

С опушки закричали лесорубы:

— В чем дело?!

— Да так, ничего! — ответил Кольцов, прижав ко рту ладони, чтобы было слышнее.

— Вместе пойдем шнур прокладывать,— сказал Серегин и осторожно выполз из своей траншеи.— А страшно, черт его дери!

— Переживем. У тебя махорка есть?

— Ты ж некурящий.

— Ладно, сверни цигарочку.

Серегин снова опустился в траншею и свернул там две цигарки.

— Иди сюда, покурим,— предложил он.

— Иди ты сюда,— ответил Федька с бруствера,— там душно. Пыль.

— Ты не форси, Федька. Тоже мне Чапай. Лезь ко мне, говорю! Вдруг рванет?

Воздух в тайге был синий, хвойный, напитанный терпким запахом отцветшей черемухи. На каменистом склоне сопки, поросшем желтой травой, как раз на том, который надо было взорвать, надрывались цикады. Изломанные жарой кусты подняли к желтому небу кривые, страшной формы ветки и словно застыли в мольбе о влаге, дожде, который несет с собой цветение и прохладу.

«У меня вроде нарыв на пятке,— рассеянно подумал Федька,— бежать трудно будет».

Жора из траншеи не вылезал. Курил он неторопливо, пуская синие колечки. Федька рвал цигарку тяжелыми затяжками, покашливая.

— Ну, я пошел,— сказал он, затянувшись напоследок.— С пламенным приветом!

— Дурак! — убежденно заметил Жора и вылез из траншеи.— Вместе ведь пойдем.

— Нельзя, Жорик,— ответил Федька и вздохнул.— Мне, думаешь, одному охота?

Федька посмотрел на Жору, улыбнулся ему и прихватив с земли круг бикфордова шнура, побежал к сопке, туда, где в камнях лежала взрывчатка. Жора, низко согнувшись, побежал следом за ним. Федька услышал шаги, обернулся и, выхватив из-за ремня крас-

ный флажок, поднял его над головой. Этот мандат у взрывников открывает любые двери так же легко, как и закрывает их. Красный флажок над головой — все обязаны лежать в укрытии.

И Жора остановился: он не мог не подчиниться приказу.

Федька бросился вперед, больше не оборачиваясь. Бычья сопка вырастала на глазах, она неудержимо приближалась к нему, она наваливалась на него, молчаливая, настороженная, готовая каждую минуту взорваться, раскидав вокруг огромные глыбы. Федька бежал, мягко ступая на носки, чтобы не тревожить землю, в которой лежала взрывчатка. При каждом его шаге потрескивали скользкие, ломкие сосновые иглы. Это потрескивание Федьке каждый раз слышалось грохотом. Таким же сильным, как и удары сердца. Около сопки, там, где начались камни, Федька остановился на секунду, страшась обернуться: позади была жизнь, а впереди лежала взрывчатка, которая прорубает дороги, усмиряет реки, дает руду и убивает людей.

Капли пота катились по лбу и щипали глаза. Подошвы сапог скользили по камням, и Федька каждый раз замирал, весь сжимался, но лез все выше и выше.

«Нет, нет! — думал он.— Ничего не может быть. Жорка, тайга, птицы, солнце, пыль на земле — все это вокруг меня! Нет, нет! Все будет хорошо!»

Лучи солнца стали холодными, по спине ползли мурашки, затылок был в испарине. В тайге по-прежнему пели птицы.

Федька все ж таки поскользнулся. Упал. До взрывчатки оставалось всего несколько метров. Федька побоялся встать. На какую-то долю минуты ему захотелось подняться и побежать прочь, в траншею, к Жорке. Он вытер со лба пот и пополз, завороженно глядя на камни, за которыми начиналась маленькая, совсем неглубокая штольня. Федька подполз к камням, прижался всем телом к сухим, желтым травинкам, замер на секунду, а потом рывком поднялся. Заглянул в

штольню и сразу же опустился на корточки. Потом лег на спину и судорожно, со всхлипыванием рассмеялся. Шнур выскочил из детонатора и сгорел, не дойдя до него примерно сантиметр.

Солнце нещадно жгло шею. Надрывались цикады, вспарывая своим криком томительную тишину полдня. Федька обернулся, и лицо его сморщилось в растерянной улыбке: позади, метрах в десяти от него, стоял Жора Серегин.

– Что? – спросил Жора.

– Все в порядке, шнур выскочил,– хрипло ответил Федька.

– Пошли обратно?

– Погоди. Давай отдышусь малость.

– Закурим?

– Не хочу. Во рту пересохло.

Серегин сел на камни и сказал:

– Ну и натерпелся я страху!

Федька вздохнул и ответил:

– А я – ничего. Профессия, понимаешь, такая...

ПТЭ

Люди бросали в воздух шапки. По рельсам, довольно отфыркиваясь, шел паровоз «ФД» с одним прицепным классным вагоном. Это был первый перед смычкой пробный рейс по участку трассы, построенному бригадами прораба. Этот участок, так же как и поселок, и дорога к руднику, и кинотеатр «Космос», и детсад на двадцать граждан, был построен в рекордные сроки Жорой Серегиным, Лехой с Киева, Федькой Взрывом, Пашкой и остальными ребятами – неисправимыми романтиками, таежниками и землепроходцами.

Воздух был синий и ласковый. Но люди не видели ни зеленой реки, ни пихт, облитых солнцем, ни ручьев, которые пенились белыми гривами на перекатах. Сейчас люди видели только один паровоз, который осторожно подминал под себя рельсы, и не было для них ничего радостней этой картины.

Вел паровоз отец ветерана стройки, экскаваторщика Антона Силина. Того самого Силина, который зимой разгадал топь около Синего лога и заставил прораба заново пересчитывать генплан и делать непредусмотренный крюк в сорок метров.

Помощником машиниста стоял комсомольский секретарь депо Иван Брежко, а кочегаром — Юрка Софьин, тоже комсомолец. Такой состав бригады был подобран с умыслом, чтобы лишний раз отдать дань уважения комсомолу — сердцу и запевале строительства. Установленный Пашкой на сосне репродуктор дрожал от натуги. Гремела музыка. Почти все время звучала «Молодая гвардия».

По плану, предусмотренному постройкомом, экскаваторщик Антон Силин должен был подъехать к полотну, подсыпать на насыпь несколько ковшей грунта, а потом, подняв кран, как светофор, открыть путь паровозу, из окошка которого выглядывал машинист Сергей Иванович Силин — усатый старик, совершавший сегодня первый рейс по новой трассе и последний — в жизни. Машинист уходил на пенсию: начинало пошаливать сердце.

От прелой травы, укрывавшей землю, поднимался пар. В небе метались ласточки. Ручьи пенились на перекатах белыми гривами.

Несчастье случилось в половине первого. Силин насыпал четыре ковша грунта, но в тот момент, когда он поднял последний, пятый ковш, заело кран. Силин выскочил из кабины и, покраснев от досады, побежал смотреть, в чем дело. И в эту минуту кран сработал, ухнул вниз, зацепив ковшом экскаваторщика. К Силину, лежавшему на траве, которая начинала краснеть от крови, протиснулся доктор Зия Куниятов.

— Если через час его доставить ко мне в больницу, он будет жить.

Антона Силина подняли и понесли к паровозу. Старик Силин, увидав окровавленное тело сына, стал белый как снег.

— Ты чего, Антон? — робко спросил он.

Сын молчал.

– Да что ты, Антоша?

Антон открыл глаза, взглянул на отца и снова зажмурился.

И в ту же секунду Силин-отец почувствовал, как в сердце вошла боль. Она растеклась по груди несносным жаром, и Силин тяжело грохнулся, подломив под свое грузное тело правую руку.

У доктора Зии затряслись губы. Он пощупал холодную руку старика, приложился ухом к груди и сказал:

– Это инфаркт.

Все посмотрели на помощника машиниста Ивана Брежко. Тот старательно вытирал концами руки, измазанные в масле. Никто не произносил ни слова. Никто не имел права ничего говорить, потому что на транспорте существует устав. ПТЭ. Правила технической эксплуатации. Это очень мудрые правила. Один из пунктов гласит, что паровозом может управлять только машинист. Помощник обязан подбрасывать уголь в топку, следить за приборами и выполнять все приказания машиниста. Виновные в нарушении правил несут суровое наказание.

Комсомольский секретарь Иван Брежко перестал вытирать пальцы, бросил промасленные концы на землю и сказал кочегару:

– Пойдем, Юрок.

Люди ни о чем не спрашивали. Все поняли, что комсомольский секретарь пошел на нарушение ПТЭ.

Иван Брежко работал с Силиным всего двадцать дней. Он вообще-то всего двадцать дней, как стал помощником машиниста. Все эти двадцать дней Иван наблюдал за тем, как старик Силин передвигал реверс, устанавливал засечку, открывал регулятор. Но никогда Иван не думал, что сделать эти три движения так страшно, так мучительно страшно. Даже на велосипед впервые страшно садиться. Иван почему-то вспомнил, как лет десять тому назад к нему в пионерлагерь приехал отец. Иван тогда не умел ездить на велосипеде, и ребята дразнили его за это «Небесным тихоходом».

Отец спросил:

– Хочешь, научу в один присест?

– Хочу,– ответил Иван.

– Ну, пошли,– сказал отец.

– Пошли,– согласился сын.

Они взяли у пионервожатой велосипед. Иван взобрался в седло и попросил:

– Только крепче держи, папка.

– Ладно.

– А то упаду.

– Не упадешь,– ответил отец и крикнул: – Жми!

Иван нажал на педали и завалился на бок. Отец поддержал его. Иван нажал на педали еще сильней и поехал.

– Ох, здорово! – воскликнул он.– Пап, смотри, как здорово!

Отец молчал. Иван обернулся и не увидел отца. Он растерянно завертел рулем и упал. Поднялся, развернул велосипед, сел в седло и поехал обратно. Отец сидел, закинув ногу на ногу, и посмеивался.

«Сейчас мне нельзя падать,– подумал Иван, прежде чем подойти к реверсу,– просто никак нельзя».

– Еще уголька, Юрок,– попросил он кочегара,– еще, дорогой!

Высунувшись из окошка паровоза, он крикнул:

– Заносите людей! Едем!

Все видели, как паровоз резко взял с места. Потом встал. Снова рванулся. Люди кусали губы, потому что представляли себе, как переносят эти рывки отец и сын Силины. Паровоз зло зашипел и оттолкнулся от рельсов толстой струей белого пара. Колеса начали вращаться все быстрей и быстрей. Паровоз пошел в поселок, где была больница.

Прораб и доктор Зия сидели рядом с белым стариком Силиным. Антон повернулся на бок, чтобы никто не видел его лица.

– Потерпи, старина,– сказал ему прораб,– пожалуйста, потерпи.

— У, зараза! — прохрипел Антон.— Плечо рвет! Мочи нету!

Доктор Зия мельком взглянул на часы и покачал головой: прошло уже больше двадцати минут, а паровоз только что тронулся с места.

— Спокойно, доктор,— улыбнувшись, сказал прораб,— мы успеем. Верно, Антон?

— О, слушай! — вскипел доктор Зия и взмахнул руками.

Его, доктора с трехмесячным стажем, всегда бесило прорабское медлительное спокойствие. Сейчас это спокойствие казалось доктору Зие особенно неуместным.

— Антон,— спросил прораб,— ты чего?

— Ничего,— прохрипел тот и сплюнул кровь,— потерплю! Ты, доктор, не волнуйся.

— Ох, слушай! — снова вскипел Зия Куниятов.— Не успокаивай меня, я и так холодный.

— Ты хочешь сказать, спокойный. Спокойный, а не холодный.

Зия раздул ноздри, замотал головой, но смолчал.

Прораб отошел к окну. Вагон был классный, обитый желтыми деревянными планочками. В никелированных массивных подставках тонко дребезжали пузатые графины. Плюшевые диваны вдоль стены были низкие и до неудобного мягкие.

— Сергей Иваныч,— улыбнувшись, спросил прораб Силина-отца,— это вагон начальника дороги?

Старик кивнул головой.

— А он у вас толстый?

— Не,— шепнул старик,— как жердь.

— Тогда ничего,— сказал прораб,— а то диваны больно уж мягкие. Но для острой кости ничего, в самый раз.

Прораб приоткрыл зеленые шторы и весь вдавился в окно. Потом он схватил ремни и с силой рванул створку на себя. Высунулся и закричал:

— Э, машинист!

Паровоз шел под гору, колеса зло перестукивались с рельсами, белый пар стелился по коричневой

вохре откоса. Голова помощника машиниста в смотровом окошке паровоза показывалась только на мгновение. Иван Брежко смотрел на путь и сразу же убегал к топке — помогать кочегару и следить за приборами.

— Э! — снова закричал прораб, но еще громче.— Э, машинист!

Иван Брежко увидел прораба, улыбнулся ему и закивал головой: мол, все в порядке. И снова исчез в паровозе.

А было далеко не все в порядке. Паровоз пошел по другой ветке, по той ветке, которая вела к руднику. А протянута эта ветка была всего на восемь километров. Потом, сразу же за поворотом, после того как дорога выходила из сопок, рельсы кончались, потому что дорогу пересекала река. Ничего этого не знал да и не мог знать Иван Брежко. Все это знал прораб.

— Что ты вопишь, слушай! — рассердился доктор Зия.— Больных нервируешь.

— Поди ты,— сказал прораб,— знаешь куда!..

Зия Куниятов, увидел его побледневшее лицо, взбухшие под кожей желваки и замолчал, крепко сжав руку Силина-отца.

Тот разлепил холодные синие губы и спросил:

— Что, напортачили?

За окном промелькнул столбик. На нем была укреплена дощечка с цифрой «5». Значит, до реки, до того места, где кончались рельсы, осталось пять километров.

— Где стоп-кран? — спросил прораб.

— В классном нету,— прошептал Силин-отец и повторил: — Напортачили, черти...— Посмотрел на сына и жалобно спросил: — Антоша, ты как?

— Идем, Юрок! — закричал Иван Брежко и яростно швырнул в обжигающую пасть полную лопату угля.— Идем ведь, а!

– Идем! – так же радостно ответил кочегар, и на его лоснящемся негритянском лице засверкала сахарная белизна зубов.

– Я, знаешь, чего боялся? – спросил Иван.

– Чего?

– Как с места пойдем.

– А я боюсь, как останавливаться будем.

– Ерунда!

Иван Брежко подбежал к окошку, высунулся по пояс и, залюбовавшись стройной шеренгой кедров, выстроившихся вдоль полотна, рассмеялся, счастливый:

– Экая красота, Юрок!

– Да уж, красота,– ответил кочегар,– я все руки отмотал!

– Ладно, ладно,– улыбнулся Иван,– сыпь жарче. Там прораб в вагоне руками машет, тебе в помощники просится.

– А чего ж он машет?

– Кто его знает... Торопит, наверное...

Прораб не смог вылезти через окно на крышу: не проходили плечи. Тогда он подбежал к торцовой двери и схватился за ручку. Повернул. Навалился плечом. Дверь на площадку, с которой можно было перелезть на паровоз, оказалась запертой.

– Где ключ? – быстро обернувшись, спросил прораб.

– Какой ключ? – удивился доктор Зия.– Не знаю, о каком ключе ты говоришь.

– От двери на площадку.

– У меня,– прошептал старик Силин.

Прораб обрадованно вздохнул и кинулся к старику. Тот размежил веки и сказал:

– В пиджаке у меня.

Прораб увидал, что старик лежит в одной полосатой рубахе.

– А пиджак-то где? – спросил он, холодея.

– У ребят...

– У каких ребят?

– В паровозе...

Прораб снова метнулся к двери, налег на нее плечом и стал давить во всю силу своих железных мышц. Дверь не поддавалась. За окном промелькнул столбик. На нем была укреплена дощечка с цифрой «2». Силин-отец поднялся на локтях. Доктор Зия сказал:

– Слушай, вам нельзя подниматься.

– Ладно тебе,– ответил старик жалобным голосом.– Скажи, чтоб стекло бил.

– Виталий! – крикнул доктор.– Стекло бей!

Старик Силин посмотрел на сына и шепнул:

– Антоша, больно тебе?

– Ничего,– ответил сын и перестал скрипеть зубами.

Прораб сорвал с себя пиджак, обернул им руки и что есть силы ударил в стекло. Надсадно заныли костяшки пальцев. Стекло осталось целым. Прораб обернулся и забегал глазами по салону. Почему-то из всех предметов, находившихся там, он видел сейчас только одни диваны. Диваны, диваны, сплошные диваны стояли в салоне. Плюшевые. Красного цвета. С кисточками понизу. И пузатые графины беззаботно дзинькают в никелированных, аккуратных подставках.

«А ну, спокойно!» – прикрикнул на себя прораб и обвел взглядом салон еще раз. Ни ломика, ни топора нигде не было.

«Зачем начальнику дороги топор?» – подумал прораб и, обмотав кулаки пиджаком, ударил по стеклу еще раз. Бесполезно.

– Зия!

– Что?

– Иди сюда!

Доктор подошел к нему.

– Держи меня за голову, Зия!

– Зачем, Виталий?

– Ну!

Зия уперся руками в затылок прораба. Тот напружинился, вскинул сильное тело и что есть силы ударил

в стекло коваными каблуками сапог. «Трень!» — хрустнуло стекло, пошло белой метелью, рассыпалось по полу.

Зия не удержал прораба, и они грохнулись на пол. Прораб вскочил и стал голыми руками выбивать острые зубья стекла. Потом забросил в разбитое окно сначала правую ногу, потом левую и оказался на торцовой площадке. До лестницы паровоза, по которой можно было забраться на тендер, оставалось метра два. Придерживаясь за поручни, прораб осторожно ступил на буфер. Потом, приноровившись, подался всем корпусом вперед. Он сморщил лицо и широко растопырил пальцы, чтобы не пропустить лестницу. Ладонь ощутила холод стали. Прораб схватился за поручни, подтянулся и полез наверх, на тендер. Смешно балансируя руками, он побежал по скользким камням блестящего на солнце угля к будке машиниста.

— Идем, Юрок! — крикнул Иван Брежко в десятый раз.— Даешь скорость! — И запел:

Наш паровоз, вперед лети,
В коммуне остановка,
Иного нет у нас пути...

— В руках у нас лопата,— закончил Юрка-кочегар и обернулся, чтобы набрать угля. Отскочил, испугавшись. Из тендерного люка на него ползли ноги, обутые в тяжелые сапоги. Через мгновение из люка выскочил черный прораб и закричал:

— Тормози!

Иван Брежко почувствовал, как у него похолодели руки. Он спросил:

— А в чем дело?

Прораб выругался и захрипел отчаянно:

— Стой, говорю!

Брежко подскочил к пульту управления, закрыл пар и включил тормоза. Они завизжали противно, как поросята под ножом. Но паровоз еще шел по инерции. Паровоз продолжал идти, хотя тормоза были приведены в действие и пар закрыт наглухо.

Прораб высунулся в окно. Замер. Поворот кончился. Через двести метров рельсы обрывались в реку, в острые камни крутого берега.

Тормоза по-прежнему визжали, а паровоз катился вниз, под уклон.

Тайга кончилась. Рельсы вырвались на зеленый луг. У берегов торчали камыши. Коричневые в свете ярких солнечных лучей, сейчас они казались синими. В веселых маленьких озерах лежали зеленые блюдца нераспустившихся лилий.

Брежко медленно повернул голову и посмотрел на прораба. Тот сжимал и разжимал кулаки, изрезанные стеклом.

Тогда Иван взялся обеими руками за реверс, перевел его на задний ход и сразу же открыл регулятор. Тормоза завизжали еще противней. Паровоз резко тряхнуло, словно вздыбило. Швырнуло вперед, потом назад, потом снова вперед. А потом паровоз остановился.

Прораб опустился на маленький кожаный стул, вмонтированный в стену, и жалобно сморщился.

— Давай угля, Юрок,— сказал Иван Брежко деревянным, глухим голосом,— побольше угля, Юрок. Пойдем задним ходом.

БУЛЬДОЗЕРИСТ ЖОРА

— Берегись! — стынет в сопках.

«Гись! Ись! И-и-и!» — балуется многоголосое эхо.

И вдруг будто молотком ударили по железной бочке: половина огромной скалы медленно поднялась в воздух, разломилась на части, замерла на секунду и рухнула вниз, на дорогу. Ручей, бормотавший что-то, замолк, но потом снова заговорил, быстро и невнятно.

— Бульдозер давай! — кричат внизу, у моста.

По обе стороны завала на дороге стоят машины, уткнувшись друг в друга, словно слепые котята. Шоферы закуривают все сразу, как по команде. Они торопятся и нервничают, потому что сегодня суббота и солнце уже садится за гору, а впереди еще два перевала.

— Давай бульдозер! — кричат они маленькому бригадиру в белом от известковой пыли ватнике.

— Да на танцах он,— отвечает бригадир,— пойди-ка его вытащи!

— Я вот тебе сюда «Крокодил» вытащу! — сердится Петя Оболенский, шофер из 16-й мехколонны.— Бульдозерист, видите ли, танцует, а у меня график на флейте играет, да?

Бригадир кончает чесать затылок и уходит.

— Слушай, не ори ты,— на ходу оборачиваясь к Оболенскому, досадливо говорит он, хотя тот не произнес ни слова, потому что раскуривал новую сигарету.

Бульдозерист Жора Серегин — огромный, курносый, стриженный под бокс.

В рабочем клубе сегодня танцы, и Жора стоит у окна рядом с буфетчицей Лизой. Лиза — беленькая, с косой вокруг головы. У нее есть сын Ванька. Лиза считает, что в нее влюблены начальник участка, Федька Взрыв, два шофера, моторист Арон и бульдозерист Жора.

Сегодня Жора в бостоновом костюме. Масляное пятно на лацкане он прикрыл букетиком цветов, а галстук завязал узлом величиною с кулак.

— Лиза! — говорит он и вздыхает, наблюдая за тем, как маленькое красное солнце прячется за сопки. Приходят сумерки. Синие, они словно небо, опустившееся на землю.

— Я, Лиза, как вы знаете...— продолжает Жора, хочет сказать что-то еще, но замолкает. Почему-то именно в этом месте он замолкает уже четвертую неделю подряд.

— Лиза, я думаю, что мне надо...

— Ой, Жора, вы похожи на киноартиста Бориса Андреева! — смеется Лиза.— Просто ужасно!

— Я вашего Ваньку люблю,— вздыхает Жора,— я его на бульдозер с собой беру, чтобы привыкал...

Лиза перестает смеяться. Жора хмурится и собирается сказать что-то еще, по-видимому очень важное. Но в это время к нему осторожно подходит бригадир.

— Жора, не сердись на меня. И не кричи, чтобы я шел к родственникам,— осторожно просит он и галантно здоровается с Лизой.— Жора, на дороге завал, и машины не могут идти.

Лиза молчит и смотрит на Жорин наморщенный лоб. Жора тоже молчит, потом машет рукой и идет следом за бригадиром.

— Позже зайти не мог? — спрашивает он. Бригадир ничего не отвечает и прыгает с камня на камень, словно косуля.

Шоферы замолкают, когда Жора подгоняет свой бульдозер. Перед тем как начать работать, он снимает пиджак и осторожно кладет его на траву у обочины. Жора врезается на бульдозере в завал и начинает вертеться среди огромных глыб, как танк. Скрип, скрежет, грохот. Жора морщит лоб, брови, смешно двигает своим маленьким, курносым носом и лихо орудует рычагами машины. Бульдозер отходит назад, почти вплотную к обрыву, а потом устремляется вперед с грохотом и ревом.

Наконец путь готов. Жора отводит бульдозер в сторону, надевает пиджак, чистит брюки травой и бежит наверх.

— В гараж бы загнал махину свою! — кричит вдогонку бригадир.

— Я завтра с утра, постоит,— отвечает Жора, не оборачиваясь. Он бежит по дороге с твердым намерением сегодня же все сказать Лизе...

— Бульдозер! — кричат далеко внизу.— Бульдозер сюда давай!

«Чтоб вас там всех позавалило!» — думает Жора и поворачивает обратно.

«ГАЗ» засел по самые рессоры.

— Зачем семь тонн вместо трех везешь? — сердито спрашивает Жора.— Деньги зашибаешь, а машину гробишь? Грунт, ведь сам знаешь, зыбучий...

— Три куба везу, три куба, не говори клеветы,— скалит зубы шофер Айрапетьянц,— только тащи осторожно, а то загремлю.

Бульдозер дрожит, как малярийный больной, и вытаскивает машину. Жора снова надевает пиджак и, вскочив на подножку трехтонки, едет наверх.

— Бульдозер! — снова кричат внизу.— Давай сюда!

— Слушай, Жора, не слушай их,— советует Айрапетьянц,— сами вылезут.

Жора соскакивает с подножки, что-то шепчет себе под нос и бежит вниз. Там увязла полуторка. Шофер Баскаков, желчный парень, огрызается, когда Жора начинает ворчать.

— Ты не шипи, Серегин,— говорит он.— Сделал бы дорогу как следует, тогда бы и танцевал.

— Помолчи,— не соглашается с ним Жора,— не трепи языком.

— На то он и язык. А ты тяни.

— Я те потяну! — обещает Жора и снимает пиджак.

Баскаков садится за руль, и Жора вытаскивает его машину.

...В клубе танцуют. Запыхавшийся Жора ищет Лизу. Он подходит к прорабу. Тот стоит один около шахматного столика.

— Вы Лизу не видели? — спрашивает Жора растерянно.

— Нет,— отвечает прораб,— не видел.

И, вздохнув, передвигает белую королеву через все поле.

— Ее Федька-взрывник никак пошел провожать,— говорит официантка Людочка и проходит мимо, задевая своим худеньким, острым плечом огромную руку Жоры.

Серегин хмурится и отстегивает от лацкана цветы. Потом развязывает галстук, намокший во время работы, прячет его в карман и уходит, столкнувшись в дверях с Силиными, отцом и сыном.

Далеко внизу урчит бульдозер. Это Жора заново расчищает дорогу. Фары его огромной машины выхватывают из темноты ночи быстрые видения тайги. Когда бульдозер на секунду замолкает, слышно, как где-

то совсем рядом трещат соловьи. Ручей еще бормочет, но уже совсем тихо. Жорин бульдозер вертится, словно танк, и под ним скрипят, крошатся и стонут камни. В сопках шумит ветер.

«Завтра с собой Ваньку на целый день возьму,— думает Жора и улыбается,— а потом вместе в город поедем...»

Прораб идет по поселку, который был построен за три месяца в глухой тайге. Домики светятся огнями. В палисадниках сидят парочки. Кто-то перебирает струны гитары и поет:

Сядь со мною рядом.
Рассказать мне надо,
Не скрывая, не тая,
Что я люблю тебя...

Прораб идет на телеграф и заполняет бланк телеграммы: «Новокузнецк, Красноармейская, 67. Светлане Громовой. Приезжай, потому что я люблю тебя.»

ПУТЬ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

ЛЮДИ

На столе ответственного секретаря нашей газеты Сапырина лежит только что вскрытый конверт. Сапырин откладывает в сторону три листа, а остальные протягивает мне.

— Этот документ,— говорит он,— важен как программа.

Сапырин любит преувеличения, я знаю. Но я молчу и улыбаюсь. Я смотрю на листки бумаги, которые он протянул мне. Они вырваны из ученической тетради. Аккуратные синие клеточки были предназначены для мудреных арифметических задач о трубах, которые почему-то забирают воду из бассейна, или о поездах, которые стремительно катят навстречу друг другу, но никак не могут встретиться.

На листках бумаги вместо цифр — слова. Если листки эти попадутся учителю словесности, он их исчеркает красным карандашом: чуть не в каждой строке — ошибка. И почерк корявый. Неровный, заваленный влево.

Это письмо в редакцию — описание профсоюзного собрания, которое созвал старик Алаторцев, старейший в Сибири поисковик алмазов. Собрание происходило в тайге, в двухстах километрах от человеческого жилья, на берегу порожистой, стеклянной Сумары.

Созвал экстренное собрание Алаторцев потому, что Анатолий Горохов, начальник их поисковой партии из экспедиции профессора Цыбенко и Воронова, приказал прекратить поиски алмазов по Сумаре.

Осень шла за геологами. А за осенью следует зима. А с зимой в тайге нужно считаться. Но геологи решили не считаться с зимой, потому что здесь, у Сумары, должны быть алмазы. За это говорили данные шлихов и опыт стариков. Алмазы должны быть здесь, только надо получше поискать. Со злостью. Без злости алмаза не найдешь. А Горохов велел прекратить поиски.

Он был крепким человеком, он каждое утро купался в реке, делал зарядку и сохатого бил одной пулей. А сейчас он не хотел никого слушать.

— Мы перевыполнили все планы,— говорил он,— мы прошли с поисками на сто километров больше, чем надо было. За это всем будет премия.

— Да нам алмаз нужен,— злился Алаторцев,— а не премия! Она сама собой приложится.

— Может, ты и от зарплаты откажешься? — засмеявшись, спросил Горохов и начал намыливать щеки. Он брился каждое утро и уверял, что, если кончатся лезвия, он станет бриться топором.

— Зачем же отказываться? — удивился Алаторцев.— Никак не откажусь, я до денег жадный.

— Так в чем же дело? Через неделю вернемся в поселок, и ты переведешь деньги на аккредитив.

— Что касается меня,— заметил Лешка Пашков, самый молодой в партии рабочий,— так я бы аккредитивы красного цвета делал.

— Это почему? — спросил Алаторцев.

— А потому, что я дальтоник. Мне синий цвет глаза режет.

— Ничего, и с синим жить можно,— засмеялся Горохов.— Так, значит, завтра трогаем, друзья?

— Нет, Анатолий Иваныч,— покачал головой Алаторцев и облизнул кончиком по-детски розового языка свои толстые потрескавшиеся губы.

Горохов нахмурился и выбрил щеки еще раз. Сполоснув стакан и кисточку, он вымыл лицо холодной водой, пофыркал, довольный, и спросил:

— Кто здесь главный, Алаторцев? Ты или я?

— Разберемся,— ответил старик и созвал профсоюзное собрание.

Люди расселись вокруг костра. От одежды валил пар, смешанный с тяжелым запахом пота. По-прежнему моросил дождь, и дрова от этого шипели, вспениваясь белыми пузырьками.

От реки поднимался холодный туман. Плотный, серого цвета, он рвался на белые, ватные куски, когда

ветер гнал его на берег, поросший густым колючим кустарником. От луга тоже поднимался туман, но этот туман был теплым, хотя ночи становились холодней с каждым днем.

– Форум у нас есть? – спросил Алаторцев, когда люди, вытянув к костру ноги, приготовились слушать.

– Не форум, а кворум,– поправил Алаторцева его племянник Саша Сизых.

– Ладно, чего там! – обидевшись, буркнул Алаторцев и повторил: – Так, значит, кворум налицо? Сизых тут, Мишка тут, Леша тут, Анатолий Иваныч тут, и я, обратно, тут. Значит, все?

– Все,– подтвердил Лешка Пашков,– так что начинай.

Алаторцев подвинулся к Горохову и спросил его:

– Вот ответь, Анатолий Иваныч: тебе что важно?

– Работа,– засмеявшись, сказал Горохов.

– Работа работе рознь,– заметил огненно-рыжий красавец Мишка Савельев.– Это я к тому говорю, что меня вот если, к примеру, плотником поставишь или бухгалтером, – с тоски помру. Ужас будет.

– Хоть и туманно, но ясно,– сказал Алаторцев.– Ты, верно, о том хотел высказаться, что в каждой работе смысл важен, так?

– Вот точно, Мироныч! – обрадовался Савельев.– Ну просто ты словно жонглер какой: мысли на расстоянии читаешь. Вот к нам в Бодайбо один такой приезжал...

– Погоди,– оборвал его Алаторцев,– ты про фокусы разные чуть погодя расскажешь.

– Иван Мироныч,– обратился к Алаторцеву Лешка,– я так полагаю, что в каждой работе конец важен, чтоб плоды появились.

Алаторцев внимательно посмотрел на Горохова. Тот прятал улыбку в уголках красивого рта.

– Вам знакома категория бесконечности, Алаторцев? – спросил Горохов после минуты молчания.

– Вы меня, Анатолий Иваныч, всякими там вашими категориями не стращайте.

Алаторцев покраснел и отвернулся от Горохова. Сизых придвинулся поближе к старику. Савельев принес охапку хвороста и начал подкладывать в затухавший костер тонкие ветки.

Горохов перестал улыбаться. Нахмурившись, он оперся на кулаки и встал.

— Странное дело выходит, товарищи,— начал говорить он, то и дело потирая мизинцем резкие морщины у переносицы,— мы уже две недели торчим у Сумары, а толку никакого нет. Так что о категории бесконечности я не зря спросил. И вы уж не обижайтесь, Алаторцев, словно барышня. Я просто хотел сказать, что мы здесь можем провозиться бесконечно долго, а вот будут ли алмазы — сие никому не известно.

Горохов говорил свободно и красиво. И чем больше он сейчас говорил, тем сильнее начинал верить в то, что алмазов на Сумаре действительно нет, и тем скорее ему хотелось вернуться в поселок экспедиции и увидеть геолога Наташу Рябинину...

— Итак, повторяю, алмазов здесь нет, хотя данные шлихов и благоприятны. Если бы алмазы были, мы бы их уже нашли.

— Мы найдем,— сказал Сизых,— только еще маленько поискать надо.

— Алмаз тут есть,— подтвердил Алаторцев.

— А план есть?! — вдруг разозлившись, спросил Горохов.— Для вас план есть?

— Для того и живем, чтобы планы при надобности ломать. Мы за последние годы планов много поломали, и ничего плохого, кроме хорошего, из этого не получилось. А планами нас стращали не то что ты, Анатолий Иваныч,— головами куда повыше.

Дикий луг оделся росой. Сквозь низкие тучи проглянула хитрая, лисья мордочка месяца.

— Ну, знаете,— сердито нахмурился Горохов,— вы так черт знает до чего договоритесь!..

— Мы не договоримся! — загремел старик.— А если нужно будет, так я где угодно заявление сделаю: пле-

вал я на твои планы и бесконечности, если стране алмаз нужен! Не для дяди на зимний риск идем. Понял?

Стало тихо. Тесно прижавшись к высокому Алаторцеву, сидел Савельев и свирепо раздувал ноздри. Он боготворил Алаторцева и знал, что старик умеет сохранять спокойствие. А сейчас он заорал потому, что его обидели. Лешка Пашков, зачарованно глядевший в костер, поднял на Горохова круглые глаза и полез за кисетом.

— Так вот что,— медленно сказал Горохов,— я отвечаю за нашу поисковую партию. В тайге главное — слитность, чувство локтя. Чтобы существовать, мы должны быть машиной, единой, сильной машиной. И я в этой машине, если хотите,— мотор, руль. А вы — колеса, подчиненные моей воле. Ясно? Пока мы здесь, вы будете беспрекословно выполнять мои приказы. Завтра мы отсюда уходим. Поиски прекращаем. Все!

— Эх, ты...— покачал головой Алаторцев.— Никакое я не колесо, а полноправный гражданин Советского Союза. Понял?

Старик обернулся к людям и спросил:

— Как, ребята, считаете, будем продолжать поиски?

— Будем,— ответил Мишка Савельев.

— Да,— сказал Сизых.

— Да,— сказал Лешка.

Горохов собрал глаза узкими, собольими щелочками.

— Критиковать меня критикуйте, но такого решения вам принимать никто не давал права.

— Давали,— успокоил его Алаторцев,— из рук в руки получили. Прямиком из ЦК. Точка. Единогласно, что ли?

— Я против,— сказал Горохов и ушел к себе в палатку.

— Ладно,— вслед ему крикнул Алаторцев,— отметим в протоколе!

«...Резолюция собрания членов профсоюза. Слушали и постановили: поиски алмазов на Сумаре продолжать. А.И.Горохову предложить остаться вместе с нами

и давать научный взгляд на поиски. А если не хочет – пусть уходит, провианту все равно не дадим, потому что у самих очень мало. За председателя – Алаторцев».

...Я отложил письмо в сторону.

– Ну как? – весело спросил меня Сапырин.– Любопытно, а?

– Очень. Только кое-что непонятно. Чем все это кончилось? Нашли алмазы у Сумары или нет?

– Понимаешь, старик, дело тут не только в алмазах. Тут вроде любовь-злодейка замешана. Хотя, черт его знает, может быть, это все фантазия. Алаторцев в конце пишет, что Горохов-то вроде у другого геолога их экспедиции,– Сапырин заглянул в письмо,– у Воронова, девушку любимую хотел отбить, что ли... Поэтому, мол, и торопился уйти. Словом, во всем деле разобраться стоит: иди в бухгалтерию, оформляй командировку.

Я добрался до экспедиции через три дня. Алаторцева я не увидел: он еще не возвращался с Сумары. И Горохова тоже не застал: он всего лишь два дня назад ушел обратно в партию вместе с геологом Наташей Рябининой.

– Зачем они пошли? – спросил я начальника экспедиции профессора Цыбенко.

Старик посмотрел на меня, хмыкнул в бороду и ответил:

– Правдоискательство, мой друг, правдоискательство. Девица хочет реабилитировать Горохова, потому что я назвал его, изволите ли видеть, дезертиром...

ЛАСКА

1

– Неужели сбились, Наташа?

– Не знаю. У тебя спички есть?

– Да.

– Зажги.

Горохов слез с оленя, достал из кармана коробок и

начал чиркать спички одну за другой, ломая их. Ветер швырял верхушки кедров. Тайга гудела тоскливо, сердито...

– Спички сырые,– сказал Горохов.– Черт, неужели сбились?

– Заночуем здесь? – спросила Наташа.

Горохов подошел к ней и вздохнул.

– До зимовья должно остаться не больше пяти километров. Может, дотянем?

– Дай мне спички,– попросила девушка.

Горохов нашел ее руку, и она почувствовала, какие у него холодные пальцы.

– Ты замерз?

– Нет. Немного.

Наташа опустилась на колени, согнулась и, спрятав коробок в ватник, зажгла с третьего раза спичку. Она успела разбросать снег вокруг себя и приглядеться: тропы не было. Дула пороша. Все следы замело. Непроглядная тьма легла на землю так плотно, что даже запуталась в ногах у деревьев. Олени не хотели идти вниз. Горохов с остервенением бил их кулаками в бока и тянул за собой изо всех сил.

– Не надо, Толя, ведь все равно не пойдут. Давай лучше костер разложим.

– Какого черта нам этот костер? Все равно не разожжем. Ветер...

Ветер... Он коварный здесь, в Саянах. Он заметает тропу, он вяжет людей незримыми ледяными ниточками.

– Топор у тебя, Толя?

– Да.

Он долго искал топор во вьюках.

– А ты его вообще-то взял?

– Откуда я знаю! – ответил Горохов высоким голосом, не похожим на его обычный, чуть хриповатый басок.– Я не знаю, зачем тебе понадобилось идти на Сумару, просто не знаю!

Наташа улыбнулась в темноте. Она поняла, что Горохов так нервничает из-за нее. Если бы он попал в

буран один, он наверняка бы не волновался так, как сейчас.

— Ты сердишься? — спросила девушка.

— Ничего я не сержусь. Просто порезал палец.

Наташа стала разгребать сугроб под елью. Пальцы мерзли, снег был сухой и колючий, он набивался под ногти. Потом рукам сделось теплее: Наташа докопалась до мха. Она сунула пальцы под шапку, отогрела их и только потом начала рвать сухой мох для костра.

— Нашел! — радостно крикнул Горохов.— Нашел топор!

...Через полчаса они сидели около костра, близко прижавшись друг к другу. Острые блики пламени метались по их лицам наперегонки.

— Чай пить будем? — спросил Горохов.

— Обязательно.

Горохов достал из вьюков котелок и зачерпнул снега. Поставил прямо в костер. Котелок сразу же стал черным. Костер сердито зашипел, языки пламени стали лизать снег, превращая его в синюю воду.

Горохов снова сходил к вьюкам и принес карабин.

— Зачем? — спросила Наташа.

— Шатун, говорят, бродит.

— Медведь?

— Конечно, не кошка.

Девушка придвинулась к нему и сказала тихо:

— Страшно.

— Ты, оказывается, трусиха.

— Ага.

— А еще геологом называешься. Что же тебе бояться, когда я рядом?

Он обнял девушку. Наташа съежилась. Горохов прижал ее к себе и поцеловал в нос.

— Холодный. Люблю тебя.

Он взял ее лицо в руки и начал целовать глаза медленно и долго. Губы у него были шершавые, потрескавшиеся. Наташа вспомнила, что у Воронова точно

такие же губы. Только он совсем не умел целоваться. Она целовала его, а Воронов только краснел и растерянно щурился.

— Толя,— спросила девушка,— Толя, а ты меня правда любишь?

Горохов ничего не ответил. Расстегнул ее куртку и положил руку на грудь. Голова у Наташи закружилась. Ей стало еще холоднее, а по спине поползли цепкие мурашки. Снова вспомнился Воронов, неуклюжий, долговязый, в очках. А рядом — Горохов. И губы у него шершавые и руки властные.

— Не надо,— попросила девушка и отодвинулась.

Горохов достал из кармана махорку и свернул козью ножку. Выхватил из костра головешку и, перебрасывая ее с руки на руку, ловко прикурил. Хмыкнул, покачал головой.

— Смотри, чай закипает,— сказал он.

— Да, пузырится. Пора класть заварку и соль.

— Сейчас я принесу.

Горохов поднялся и ушел в темноту. Олени, связанные друг с другом, разгребали копытами снег и щипали ягель — свое лакомство, похожее по виду на лавровый лист.

— Что ты долго так, Толя?

— Ищу.

Наташа закрыла глаза. «Что же это такое, Воронов? Почему тебя нет рядом? Ведь ты раньше всегда был рядом, всегда и везде. Ты помогал мне разбираться в других и самой себе. А когда я решила идти с Анатолием к Алаторцеву, ты ничего не захотел мне объяснить. Ты просто сказал, что каждый волен в своих поступках.»

Тайга молчала. Ветер стих. И вдруг дикий, нечеловеческий крик рванул ночную темь. Наташа вздрогнула, подняла глаза и увидела перед собой шатуна — бурого медведя.

— Толя,— позвала девушка,— Толя же!..

Крик повторился, но теперь уже слабее: Горохов убегал, продираясь сквозь заросли.

Медведь встал на задние лапы и шагнул к костру. Ощерил пасть. Зубы у него были неровные, налезавшие один на другой, словно плохо ставленный частокол. Медведь зарычал, и рев его отдался эхом.

Прошла секунда, не больше. Наташа откинулась на руки. Правая попала на ствол карабина. Девушка рванула карабин к себе, вскинула к груди и нажала курок. Приклад больно стукнул ее в подбородок. Наташа выстрелила еще раз, и мохнатая огромная туша бухнулась в костер. Запахло паленым.

Наташа поднялась. Ноги дрожали в коленях. Куртка на груди была по-прежнему расстегнута...

— Наташа! — позвал ее Горохов. Он шел из зарослей.— Наташа,— повторил он.— Наташа, боже мой...

2

Они добрались до зимовья, построенного около устья Няндармы, далеко за полночь. В избушке было еще холоднее, чем в тайге. Горохов принес дров и разжег маленькую печку, сделанную из железной бочки. В избушке стало тепло через десять минут.

— Ну что ж, давай распаковываться,— предложил Горохов.

Наташа сняла куртку и подошла к печке. Подбросила еще два поленца и села на пол, поближе к огню.

— Поставь чай, — сказала она.

— Я не люблю, когда мне приказывают.

Девушка ничего не ответила. Протянув руки к открытой дверце печки, она грела пальцы, сжимая и снова разжимая маленькие кулаки. Горохов сходил за снегом, поставил котелок на печку и сел рядом с Наташей.

— Послушай, великая охотница,— улыбнулся он,— а ты на меня серьезно дуешься?

Наташа внимательно посмотрела на него и вдруг рассмеялась.

— Я не дуюсь на тебя, ничуть не дуюсь.

Горохов нахмурился, отошел к столу, сколоченному из плохо оструганных досок. Потер мизинцем переносье.

«Это все, конечно, станет известно в экспедиции,— подумал он.— Просто чертовщина какая-то!»

Достал из заднего кармана флягу со спиртом и спросил:

— Ты хочешь погреться?

Девушка ответила:

— Да.

Горохов налил ей спирта и разбавил его теплой водой. Наташа выпила и закашлялась. Она долго дышала носом и жмурилась, чтобы скрыть слезы. Горохов подвинул ей кусок хлеба и посыпал его солью. Наташа съела промерзший кусок и вытерла пальцами под глазами. Глаза у нее были смешные, лунные, словно у китаянки.

Потом выпил Горохов. Он крякнул, закурил и, улыбнувшись, покачал головой:

— Вот ведь какая штука жизнь, а?

Наташа ничего не ответила. Тогда Горохов взял ее руку в свои и сказал:

— Я шатун, Наташенька, самый настоящий шатун. Я ищу, я вечно ищу, но ничего не могу найти, потому что мне мешают другие медведи, более сильные. Вот тебя я нашел — и то, вижу, теряю. Оттого, что попался более сильный шатун. Что смеешься? Не надо. Если бы я сидел у костра, а ты пошла бы за солью к вьюкам, ты поступила бы так же, как и я.

— Может быть. Только Воронов бы так не поступил.

— Воронов? — переспросил Горохов.— Ты говоришь, Воронов?

Он увидел, что Наташа смотрит на него с усмешкой, и это было самым неприятным. Пусть бы она плакала. Когда женщина плачет, тогда легче. Горохов знал это и умел утешать плачущих женщин.

— Ты очень красива,— задумчиво сказал он,— а я ценю красоту и болезненно воспринимаю диспропорцию. В чем бы то ни было. Когда я видел Воронова рядом с тобой, меня рвала злоба. В конце концов мы все — биологический вид. Самцы и самки. И нам нуж-

на гармония. Ты и я — гармония. Ты и Воронов — диспропорция. Пусть даже он и стал бы кидаться на медведя с кулаками. Ты должна быть со мной, и ты будешь со мной.

Горохов подсел к Наташе и больно взял ее за руки у плеч. Он рванул ее к себе и прижал холодное лицо девушки к губам. Наташа оттолкнула его и сказала:

— Ты не шатун, Горохов. Если бы ты был шатуном, честное слово, я бы осталась с тобой. Но ты просто ласка. Ты знаешь этот биологический вид?

Горохов опустился перед девушкой на колени и, прижавшись головой к ее ногам, зашептал:

— Наташа, любимая, не надо! — И вдруг закричал: — Наташа! Я люблю! Не надо так!

— Слушай, перестань,— поморщилась девушка,— противно.

Она снова улыбнулась.

— Ну какой ты шатун? Ласка. Быстрая, красивая, хитрая. И знаешь, это великое счастье — то, что случилось сегодня. Я увидела настоящего шатуна и настоящую ласку.

Горохов снова стал целовать ее ноги в меховых штанах, обшитых чертовой кожей.

— Я бросил все на Сумаре, чтобы увидеть тебя, Наташа! Я все бросил, все ради тебя. Я оправдывал себя, потому что это во имя тебя!

— И убежал, когда был шатун, тоже во имя...— засмеялась девушка.

«Если сейчас она станет моей,— подумал Горохов,— тогда все изменится.»

Он поднялся с колен, хрипло засмеялся и задул свечу. Наташа бросилась к двери, где стоял карабин.

— Как только ты посмеешь подойти ко мне, Горохов, я выстрелю в тебя.

...Всю ночь она просидела около печки, подбрасывая время от времени березовые поленца. Она смотрела в огонь и думала: «Хороший мой, добрый Воронов. Любимый мой человек. Ты думаешь обо мне?»

АЛ-МАС[1]

Начальник поисковой экспедиции профессор Цыбенко сидел возле окна. Стекла были разрисованы тонким кружевом инея. За печкой пел сверчок. Бревенчатые стены дома пахли жарким хвойным лесом.

Цыбенко был неисправимым поклонником охоты и всего к ней прилагавшегося: над узенькой железной кроватью висели три ружья, хотя стрелял профессор из рук вон плохо. Чуть пониже ружей висели ножи: огромные тесаки и маленькие, с наборными ручками финки.

— Что же мне сказать вам, Наташенька? — задумчиво спросил Цыбенко и потрогал оттопыренным мизинцем граненый стакан.— Я просто не знаю, что сказать. Я лучше спрошу. Вы фильм «Летят журавли» смотрели?

— Смотрела.

— А «Дом, в котором я живу»?

— Тоже.

— Ну и как? Понравились?

— Очень.

Профессор сморщил лицо и сказал жалобным голосом:

— А мне ужасно не понравились. Консерватор? Ханжа? Нет. Ни то, ни другое. Когда героиня одного фильма изменяет тому, кто на фронте защищает ее честь,— это для меня не героиня. Фильм, посвященный верности, никак, ну, никак не может иметь в первооснове своей неверность. И, бога ради, не убеждайте меня, что душой она верна. Я, понимаете ли, матерьялист...

Последнее слово Цыбенко произнес нарочито постаринному, через мягкий знак. Взглянув на девушку, он нахохлился и снова начал вертеть стакан коротенькими, плоскими пальцами.

— А когда героиня другого фильма, жена геолога,— снова начал он, сердясь на что-то,— отдается первому встречному,— ах, ах, с тоски! — для меня это тоже не ге-

[1] Ал-мас — наитвердейший *(арабск.)*.

роиня. Терпеть не могу ущербности. А ссылаться в гадостях на тоску и скуку чудовищно в наше время. Вы видели, сколько по Москве расклеено объявлений о наборе рабочих на Север и в Сибирь? А вы знаете, какие дают подъемные? А вот Стивенсону подъемных не давали и проезд не оплачивали. Сам ехал. И вообще тоска — это следствие нездорового воспитания, честное слово.

Наташа покачала головой и сказал задумчиво:

— В жизни всякое бывает, Иван Петрович. Жизнь — не телеграфные столбы, вытянутые по прямой.

Профессор запахнул свою коротенькую цигейковую куртку и пошел к шкафу. Пошуршав там бумагами, он достал большую коробку шоколадных конфет.

— Угощайтесь,— предложил Цыбенко,— это очень вкусно. Вы любите шоколад?

— Не очень.

— Это почему же? Шоколад полезен.

Наташа улыбнулась.

— Знаете, Иван Петрович, мне по возрасту не положено относиться к чему бы то ни было с точки зрения полезности.

— Ваша любезность не знает границ,— заметил Цыбенко.— Значит, шоколад нужен только старым развалинам вроде меня? Так?

— Вы меня в краску вгоните.

— Вряд ли,— сказал Цыбенко,— вряд ли я смогу вогнать вас в краску.

У Наташи загорелись уши. Она сдержалась, чтобы не встать и не уйти. Цыбенко заметил это и засопел носом.

— Так вот, о героях и героизме. Джек Лондон — это мужество, а Багрицкий — героизм. Этому я поклоняюсь. Серятинка обывательских бурь меня раздражает.

— Не всегда это серятинка и обывательщина. Иногда это жизнь.

Цыбенко забегал по комнате, натыкаясь на стулья. Давно сдерживаемое прорвалось.

— Жизнь, говорите? Чушь! Галиматья! Романтика миллионов — это жизнь. Жизнь — это то, что происхо-

дит сейчас в России. И не смотрите на меня так, будто я учитель политграмоты. Творят счастье не в крахмальных манишках, а в рваных ватниках и вонючих унтах. Воронов — это романтика! Я — это романтика! И не смейте,— крикнул Цыбенко, остановившись перед Наташей,— не смейте порочить мое понятие романтики!

— Иван Петрович, не сердитесь,— попросила девушка,— я просто говорю, что в жизни всякое бывает.

— Бывает? Да, бывает. Положите под микроскоп породу, и вы увидите там многоцветность, восхитительную по тонам и пустую по смыслу. Вся эта восхитительная мишура не стоит одного крохотного кристалла алмаза. Вы должны выбросить всю эту многоцветность во имя алмаза, потому что он наитвердейший! Но если вы только за красоту, сопутствующую алмазу,— нам не по пути. В людях я уважаю то же, что и в алмазе: твердость.

— Я понимаю это,— сказала девушка, не поднимая головы.

— Не верю,— отрезал профессор.— Если бы понимали, так первым делом спросили бы меня, где Воронов. Где человек, который любит вас, как самый последний идиот?

— Где Воронов, профессор?

Цыбенко обрадовался и снова забегал по комнате.

— Где Воронов, спрашиваете? Уехал! В Якутию! Да-с, к черту, к дьяволу, к океану.

Наташа подалась вперед.

— Когда?

— Через день после того, как вы с Гороховым отправились за этой — как ее? — за вашей особой романтикой. Это романтика, когда всякое случается, всякое бывает!

— Да, бывает,— сказала Наташа и посмотрела в лицо профессора глазами, полными слез.

— Молчите! Не смейте оправдываться! «Бывает» — отговорка слабых. У них многое бывает. «Бывает» смакуют те, кто сидит в перенаселенных квартирах на пя-

ти квадратных метрах, но зато с теплой уборной. Смакуют это проклятое слово те, которые не понимают прелести дальних дорог, горя разлуки, трепетного ожидания встреч. Смакуют те, кто ни черта не смыслит в жизни и радостях ее, те, которые с романтикой знакомы по кинематографу! Смакуют от тоски, от жены, которая радуется два раза в месяц — в дни получения мужем зарплаты; а жене тоскливо от мужа, у которого главная радость в жизни — купить бостоновый костюм с покатыми плечами, поиграть в преферанс и напиться до чертиков в дни праздников. Молчите, Наташа, вам нечего сказать мне!

— Да,— ответила девушка.— Да, Иван Петрович, мне нечего сказать вам. Я просто напишу.

— Роман в письмах?

— Проще. Заявление об уходе.

Профессор откинулся на спинку стула, сморщил лицо.

— Значит, бежим?

— Нет, едем.

— В Москву? К бабушке?

— Нет! В Якутию, к Воронову!

Цыбенко погладил свою блестящую, словно блюдце, лысину.

— Поздно, Наташенька,— сказал он,— чуточку поздно. Воронов улетел последним самолетом. Теперь связи с его партией не будет месяца три-четыре.

— Будет,— ответила Наташа, засмеявшись сквозь слезы,— обязательно будет.

ПОВАРИХА НИНА

После увольнения из вагона-ресторана, натерпевшись страха в прокуратуре, она приехала в этот мужицкий лагерь, в поселок геологической экспедиции, ради того, чтобы по-настоящему заработать. А где заработать женщине, как не среди мужиков, которым что ни дай — съедят, что ни налей — выпьют? Нина знала, что поселок небольшой, всего сорок геологов и

рабочих, по преимуществу молодых ребят, пришедших в тайгу по комсомольскому набору.

Она разочаровалась в первый же день. Во-первых, готовить борщи и гуляши приходилось в палатке: дом под столовую еще не был закончен. Во-вторых, как раз перед тем, как она собралась открыть продажу завтраков, к ней, откинув полог, вошел начальник экспедиции Воронов и начал, словно настоящий обехаэсовец, лазить по котлам ложкой и пробовать еду. Нина вытерла руки о фартук и предложила:

– Садитесь, Илья Владимирович, я вам борща налью.

– Налей.

За стенками палатки скрипел снег. Геологи, словно застоялые кони, прыгали с ноги на ногу, ожидая горячей еды, – впервые за двадцать дней их пребывания здесь.

– Повар-душа, скоро? – кричал Бабаянц.

Нина налила Воронову самую гущу, выбрала мяса без жил и плеснула полполовника сметаны. Воронов съел борщ в минуту. Нина смотрела на него с жалостью. Кончив есть, Воронов вытер масленые губы ладонью, наблюдая за тем, как Нина орудовала огромным половником, и вышел, не сказав ни слова.

Повариха улыбнулась и подумала: «Все люди жрать здоровы. Мясо – оно и для идейного мясо».

Потом она открыла полог, и в палатку вместе с тюлевыми клубами морозного пара ворвались шумные голодные ребята. Нина плескала борщ и кидала в каждую миску по кусочку мяса. На соленые мужичьи шутки она отвечала смехом, высоко запрокидывая большую голову, тяжелую от белокурых волос, уложенных сзади в пучок.

– Повар, не стойте в своем окошечке! – закричал Сергей из пятой палатки.– У меня начинается сердцебиение!

– Повар-душа, когда наступит весна, я подарю тебе фиалок,– пообещал Бабаянц.

– Благодарю,– сказал шофер Сейфуллин,– однако влаги в твоем супе более чем достаточно.

Когда завтрак кончился и геологи разошлись по своим объектам, к поварихе снова пришел Воронов. В руке он держал миску с чьим-то недоеденным борщом.

— Ты это серьезно? — спросил он.

— Ой, о чем это вы разговариваете? — подняла брови Нина и расстегнула пуговицу на блузке.

Кругом было тихо, и только остатки борща бурлили в котле. Повариха расстегнула еще одну пуговицу, подошла к Воронову и засмеялась горлом.

— Ты со мной дружи, я добрая...

Воронов опустил глаза и сказал:

— Еще раз ребят бурдой накормишь — акт составлю.

Повернулся и вышел.

Нина застегнула блузку и обиженно поджала губы. А через несколько дней она переехала в новый дом. Столовая была большая, светлая. В кухне печь отделали кафелем, хотя это не было предусмотрено по смете. Повариха смеялась:

— Что мы, в Японии живем, что ли? И без кафеля обойтись можно.

— Это почему же в Японии? — спрашивали ребята.

— Потому, что там все изощренные и со своими бабами не живут, а на стороне нанимают,— объяснила Нина.

Когда работа в столовой кончалась, повариха доставала гитару с белым бантом на деке и начинала петь про подмосковные вечера. Голос у нее был низкий, с хрипотцой, но приятный.

— Тоскует баба,— говорил Сейфуллин,— утешить бы...

Кто-то пустил смешной слух, что Нина и не повариха вовсе, а известная певица и киноартистка и приехала сюда, чтобы сделать кинофильм о геологах.

Когда в поселке стараниями снабженца Геметова открылась промтоварная лавка, Нина пришла к Воронову и спросила его:

— Что у тебя в магазине продают, начальник? Кальсоны да книги. А я женщина. Мне, может, на ва-

ши кальсоны смотреть противно. Пусть шелку привезут да штапеля в синюю розочку...

...Осенью в поселке приключилась беда: по недосмотру техника сгорел новый генератор. Крохотная электростанция стала. Нина сорвала с себя фартук и закричала на людей, собравшихся в столовой:

— Грязь жрите, землю! Она тут жирная! Пока света не будет, готовить не стану.

— Не наша вина-то, Нин...

— А мне плевать!

И повариха ушла из столовой, оставив людей без ужина. Наутро ее не пустили на кухню: там хозяйничали геологи во главе с Вороновым. Они чистили картошку перочинными ножами и пропускали через мясорубку немытую свинину.

Повариха стояла на пороге и не знала, что ей делать: смеяться или кричать. Она долго раздумывала, а потом заплакала.

— Гады вы проклятые,— всхлипывала она,— из-за вас вся жизнь у меня перекореженная. Чтоб вам ни дна ни покрышки!

Вечером Нина пришла к Воронову, выпив перед этим полстакана спирта. Она смотрела на него блестящими, навыкате глазами и говорила:

— Ты что из себя другого выдаешь? Такой же ты, как и все. Зачем сюда люди идут? За рублем. За рублем едут в эту проклятую тайжищу глухоманную! А ты что, словно в драмкружке, выпендриваешься?

Воронов курил и сопел носом.

— Сам на меня небось как жеребец смотришь, а форс даешь. Зачем? Одна у нас жизнь, чего ж ее бежать? Люди так людьми и помрут...

— Ты для чего Сейфуллина к себе водишь? — спросил Воронов.

Женщина молчала.

— Ты зачем перед Бабаянцем задом вертишь и блузку раскрываешь? — Воронов говорил негромко, раздувая ноздри, морщась.— Ты почему ребят дрянью кормишь, мясо воруешь и на прииске перепродаешь? Ты

зачем всем и каждому жужжишь, что плохо у нас, скучно и кино нет? А? Ты что в нашей жизни понимаешь?

— Жизнь у всех одна,— тихо ответила женщина.

— Врешь ты. У нас с тобой жизнь разная.

Через неделю, когда установились дороги, схваченные цепкими руками первого мороза, повариха Нина уехала из поселка. Тайга расступилась и снова сомкнулась, оставшись один на один с людьми, которые сражались против ее зеленой силы...

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Машины шли медленно. Свет фар пробивал белую стену снега только на пять метров. Мороз ломал стволы деревьев. Они скрипели, и от этого казалось, что лес стонал.

В головной трехтонке начальник снабжения Якутской геологической партии Дмитрий Сергеевич Геметов то и дело протирал рукавицей чистое ветровое стекло и сокрушенно качал головой.

— Бабу везем, вот и не видно ни черта. Пурга.

— Все равно была бы,— возразил шофер Сейфуллин,— прогноз такой.

— Ты что, метеоролог?

Сейфуллин непонятно улыбнулся. Ссориться с Геметовым никак не входило в его планы, потому что везли сейчас, помимо оборудования для электростанции и двух кинопередвижек, шампанское, спирт, вина и всяческую снедь к встрече Нового года. А перед отъездом из экспедиции, три недели тому назад, новый начальник Воронов, человек, как выяснилось, непьющий, объявил, что свою порцию шампанского, а равно и другого производного не только от виноградной лозы, но и от пшеничного хлеба отдаст шоферам, если груз будет доставлен в полной сохранности и к сроку.

— Вон как везу осторожненько,— сказал Сейфуллин, забыв о том, что рядом с ним не Воронов, а Геметов.

В силу профессиональной проницательности снаб-

женец понял, куда клонит Сейфуллин, и ответил загадочно:

– С неба звездочка упала.

Сейфуллин внимательно поглядел на небо, ничего, конечно, кроме беспросветной белой мглы, не увидел, но дипломатично согласился:

– Да, бывает...

...Шофер второй машины, Проценко, ехал один и пел. Он всегда пел. Он даже думал словами стихов или песен. Когда Проценко хотел объясниться с медсестрой Людочкой, он говорил:

Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под этим взглядом
Слушать чувственную вьюгу.

Людочка смеялась и садилась рядом с ним. Проценко лихо закидывал ногу за ногу, пощипывал струны гитары и запевал томно:

На деревне расставание поют,
Провожают В.Проценко в институт...

Людочка теребила косынку.

– Скажите, девушки, подружке вашей,
Что я о ней одной страдаю,–

нерешительно заканчивал Проценко и всегда после этих слов норовил Людочку обнять. Но каждый раз после этой неудачной попытки он оставался один.

– Эх, неприятно! – вздыхал он и тоскливо смотрел в бесконечную веселую пропасть синего ночного неба.

...В третьей машине вместе с шофером Гостевым ехала Наташа. Сначала девушка ему не понравилась. Он косил глазом весь первый день пути, изучая ее

профиль. Шофер видел курносый нос, ямочку на щеке и мохнатые серые ресницы. Второй и третий день Гостев беспрерывно курил. Курил так, что в кабине, где воздух был раскаленным от маленькой печки, делалось сине, как в тайге летом после грибного дождя.

Вечером третьего дня решили заночевать в пути, потому что до ближайшего зимовья осталось километров пятьдесят, а по такой пурге, да еще ночью, эти пятьдесят километров могли бы оказаться похуже других пятисот.

Наташа вызвалась дежурить. Шоферы уснули сразу же, как по команде. Девушка сидела рядом с Гостевым и думала о том, как ее встретит Воронов. Он не знал, что она едет к нему. Собственно, Воронов и не мог знать, потому что никто не верил, что машины смогут пробиться в поселок, за тысячу километров, в декабре, месяце буранов...

Моторы работали на холостом ходу, убаюкивая. Лихо, по-разбойному посвистывал ветер. Наташа вылезла из кабины и пошла к головной машине.

Геметов спал на плече у Сейфуллина, подложив под щеку ладони, сложенные лодочкой. Во сне он был не страшным, не таким, как показался Наташе в первый день, в Якутске, когда она умоляла снабженца взять ее с собой. Геметов тогда раскричался и заявил, что у него тара. Почему тара, какая тара, он не объяснил. Наташа пошла в обком, и только это спасло ее от зряшнего трехмесячного пребывания в городе. Геметов рассвирепел и заиграл желваками.

— Я думаю, что экспедиция без вас не погибнет,— сказал он Наташе, когда они вместе вышли от инструктора промышленности,— но если погибнем мы, так только из-за того, что вы едете вместе с нами. Я, знаете ли, боюсь женщин в дороге.

— Правильно делаете,— согласилась Наташа и, не попрощавшись, пошла в гостиницу собираться.

«Через неделю я буду с тобой, Воронов»,— думала девушка и не могла сдержать счастливой улыбки.

...Первым проснулся Проценко. Он проснулся от того, что отлежал себе шею.

Мариника, Мариника,
Ты не спи-ка,
Ты не спи-ка!

Он пропел это бодрым голосом и отправился будить Геметова. Ему он пропел ту же песенку.

— Лемешев,— гордо сказал Сейфуллин.

Геметов протер глаза и ответил:

— Значительно хуже.

Наташа осторожно разбудила Гостева. Тот сладко потянулся, зачмокал губами, хрустнул пальцами и спросил:

— Ма, эт ты?

Увидев Наташу, он покраснел и, чтобы скрыть смущение, закашлялся. Потом с такой силой нажал на акселератор, что мотор, казалось, должен был лопнуть от напряжения.

Наташа села рядом с Гостевым и уснула сразу же, уронив голову на его руку.

— А я повторяю, что баба несет водителю автомобиля несчастье. Это очень правильно,— мрачно заметил Геметов,— потому как примета такая есть...

Дорогу замело так, что головная машина забуксовала. Геметов с Сейфуллиным вылезли из кабины, позвали Проценко и втроем двинулись к гостевской машине. Они заглянули к нему, увидели, что девушка спит на плече шофера, и пошли расчищать путь одни.

Стометровую полянку одолели за полчаса. Когда машины въехали в тайгу, Сейфуллин отер пот со лба и сказал мечтательно:

— Сейчас бы семьдесят пять грамм шампанского...

— А двадцать грамм спирта хочешь?

Зная хитрый нрав снабженца, Сейфуллин ничего не ответил, а только вздохнул.

— Чего вздыхаешь?

— Дедушку вспомнил.

– Больше никого не вспомнил?

– Никого.

– Ну, тогда жми.

Машины шли медленно, и снег отлетал от них тугой, словно каучук. Дорогу теперь приходилось расчищать почти через каждые десять километров. Лбы у водителей начали шелушиться от пота, козырьки шапок оторвались и все время налезали на глаза. Геметов скрипел зубами. Проценко пел:

До тебя мне идти далеко,
А до смерти четыре шага.

Гостев поправлял его:

– Шесть, шесть шагов.

– Восемь,– замечал Сейфуллин,– я сам высчитывал.

Наташа смеялась. Геметов переставал скрипеть зубами и переглядывался с шоферами. А когда во время очередного привала Наташа отобрала у всех шапки и пришила козырьки, Геметов сказал:

– От имени и по поручению, словом... большое спасибо...

Утром 31 декабря Геметов начал нервничать. До экспедиции оставалось никак не меньше сорока километров, причем самых страшных: дорога шла вдоль реки, похожей сейчас на лестницу, составленную из битых, нагроможденных друг на друга зеркал. Из синего прибрежного льда торчали деревья, обернутые в белую вату инея.

– Слушай, Хатиб,– обратился Геметов к Сейфуллину, – а ты быстрее ездить умеешь?

– По шоссе – да.

Дорога петляла вдоль реки, а потом внезапно свернула в тайгу. Снега здесь было чуть поменьше, и Сейфуллин сразу же наддал газ. Так проехали несколько километров, и Геметов даже замурлыкал песню. Он представлял себе, какая в экспедиции будет радость: электричество и шампанское к Новому году.

Он представлял себе, как геологи станут благодарить его, как Воронов даст ребятам премию в месячный оклад, как закрутят кинофильм «Мы из Кронштадта», как во все дома придет электричество. Словом, Геметов представлял себе самые радужные картины. Поэтому он недовольно нахмурился, когда Сейфуллин притормозил.

– В чем дело?

– Полянка хитрая, Дмитрий Сергеевич.

– Проскочим.

– Боязно.

– Хатиб,– сказал Геметов с укором,– мне стыдно слушать тебя.

Машина рванулась с места. Стрелка спидометра заметалась, как вратарь в воротах проигрывающей команды. В кабине стало жарко, словно в бане. Геметов оглянулся: Проценко несся за ним впритык.

«Вот дурень,– подумал Геметов,– воткнется же».

Он распахнул дверцу, стал на подножку и закричал:

– Не наступай на пятки!

Проценко ничего, конечно, не услыхал. Геметов махнул ему рукой: мол, отстань,– но в ту же секунду почувствовал резкий удар в плечо. Пальцы его разжались, и, описав в воздухе дугу, он упал головой в сугроб.

Когда Сейфуллин вытащил его из снега, Геметов ошалело сказал:

– Прямо как из рая вынули. Там все белое.

Потом он посмотрел на Сейфуллина, на Проценко с рассеченным лбом, на его помятую машину, на Гостева с Наташей, которые бежали к нему со всех ног, и сказал:

– Плохо, ребята, дело...

...Гостев взял Проценко на буксир, а Сейфуллин с Геметовым двинулись следом, выкопав передние колеса своей машины из глубокой ямы, занесенной снегом. Сейфуллин то и дело посматривал на стрелку уровня масла. Давление неуклонно падало.

— Наверное, сальник,— сказал он Геметову, который все время вертел шеей, вспухавшей с каждой минутой все больше и больше...

Проценко в своей машине кусал губы и вытирал со лба кровь, которая сочилась из-под марли. Он взглянул на себя в зеркальце и пропел:

Голова обвязана, кровь на рукаве,
След кровавый стелется по сырой земле.

Проценко до боли в суставах сжимал руль, потому что ехать на буксире было необычайно трудно. Снег лежал сухой, крупчатый, пошедший кое-где наледью. От этого машина вихляла, как новичок на катке.

Избушка зимовья, рубленная позапрошлым летом в центре безмолвия, на поляне, стиснутая со всех сторон сильными, заломленными в небо руками деревьев, казалась здесь чем-то сказочным, декоративным.

Луна стояла как раз над поляной. Снег искрился так ярко, что думалось, будто с луны кто-то бросал зажженные спички. Но спички эти были лунными, холодными, как бенгальский огонь, который не может согреть, а уж зажечь — тем более. Только густым черно-белым тучам, окружавшим желтый диск, было, по-видимому, жарко от ночного светила, потому что все они проносились мимо луны на порядочном расстоянии, опасаясь растаять, разорваться на мелкие, беспомощные клочки...

— Приехали,— облегченно вздохнув, сказал Гостев, но тут же вздрогнул, услыхав позади три протяжных гудка — сигнал тревоги.

— Эй,— кричал Сейфуллин,— сюда! У меня мотор заглох!

— Вот тебе и приехали,— сказал Гостев Наташе.— Айда к ним, посмотрим, в чем дело...

В зимовье стало тепло. Проценко сидел, нахмурив брови. Наташа перебинтовывала ему голову, а он внимательно следил за ее быстрыми руками.

Потом Наташа растерла шею Геметову. Тот кряхтел и морщился. Когда девушка закутала его шарфом, он одобрительно хмыкнул:

— Молодец ты с нашим братом управляться.

— Велика наука,— улыбнулась Наташа.

Проценко остался верен себе. Он пропел:

Спасибо, сердце,
Что ты умеешь так любить!

Все отчего-то замолчали. Маленькое окошко, наполовину застекленное, наполовину забитое фанерой, было похоже из-за полукруглой формы на одноглазого волшебника. Сходство это дополнялось тем, что как раз над ним висели ветвистые оленьи рога.

— А не встретить ли нам Новый год? — вдруг спросил Сейфуллин.— Все равно здесь засели.

— Никто не засел,— рассердился Геметов.— Гостев у нас персонаж положительный, ему и ехать в экспедицию. А мы подремонтируемся — и следом.

— Я с Гостевым, Дмитрий Сергеевич,— сказала Наташа, но, увидав потемневшее лицо снабженца, добавила тихо: — Разрешите, пожалуйста...

Геметов несколько раз подряд глубоко задохнулся махорочным дымом, потом потушил цигарку о стол и отшвырнул в угол.

— Неистовая ты, ей-богу...

— Спасибо вам, Дмитрий Сергеевич. Значит, можно?

— Сказал же... Пошли машины перегружать, ребята!

Консервированные фрукты, икру, печенье, бутылки со спиртом, вино и шампанское перенесли в гостевский «ГАЗ», а передвижки и оборудование для электростанции — к Проценко.

Пальцы на морозе стыли. Бутылки с шампанским были скользкие, то и дело падали в снег. Каждый раз, когда бутылка падала, Геметов начинал кричать:

— Что, руки у тебя отсохли, да? Рак кожных покровов у тебя, да?

Когда Проценко выронил сразу две бутылки, а Геметов особенно сильно раскричался, Сейфуллин сунул в карманы несколько банок консервов, три бутылки шампанского и пошел в избушку зимовья.

Геметов сначала растерялся, а потом заорал:

— Чего, чего?!

— Я хоть и татарин,— медленно, с расстановкой ответил Сейфуллин,— а Новый год встречаю по-христиански. Ясно? А это,— он хлопнул себя по набитым карманам,— усушка и утруска. Для вашей перестраховки, потому что никто и слова не скажет.

— Ну и жох,— протянул Геметов.— Ладно, черт с тобой, возьми еще и спирта.

«Воронов, любимый мой Воронов,— думала Наташа, перегружая тюки с крупами,— скоро, совсем скоро я увижу тебя...»

Через полчаса все столпились вокруг стола. Геметов раскупорил бутылки. Выпили за счастье в Новом году. Проценко принес из машины гитару и заиграл «Амурские волны».

Наташа взглянула на часы и сказала:

— Товарищ Гостев, разрешите мне пригласить вас на вальс.

Длинный, нескладный Гостев покраснел.

— Я не умею,— тихо ответил он и спрятал ноги под табуретку.

В печке трещали дрова. В запотевшем окошке отражался тусклый свет переносной лампы. Стены зимовья пахли малиной и вяленой рыбой. Янтарные капельки смолы застыли невыплаканными слезами. Проценко смотрел на девушку грустно, с любовью. Гостев вспоминал свою дочь Дашку. Сейфуллин в мохнатых унтах, с застывшим лицом танцевал с Наташей вальс. Он держал девушку почти на весу, потому что пол был неровный, со щелями.

Потом Наташа танцевала с Геметовым.

— А я безногий, что ль? — перестав играть, спросил Проценко. Он обхватил Наташу за талию и, сам себе напевая, прошел с ней два круга.

Гостев поднялся, как только Наташа кончила танцевать, нахлобучил ушанку и сказал:

— Ну, пока! Я поехал потихоньку.

И вышел, не дожидаясь девушки.

Глухая ревность кровь пьянит,
Пусть Гостев нас тут не винит,—

сказал вслед ему Проценко.

Наташе стало радостно и весело: она была очень молода и поэтому радовалась всегда, когда чувствовала, что нравится окружающим.

Все вышли провожать их.

— Осторожней, парень,— сказал Геметов,— дорога — сам знаешь.

— Чего там...

— Там «чего» нет,— ответил Геметов,— не терпевший никаких морфологических неточностей в речи,— а вот «ничего» там быть может. Постиг?

Когда машина тронулась, Наташа увидела, как шоферы вынесли переноску и все втроем полезли под проценковскую машину.

«Как же они будут в такую стужу ремонтировать? — подумала Наташа.— Разве мыслимо?»

Девушка закрыла глаза и сразу же увидела Воронова. Она счастливо засмеялась. Гостев недоуменно посмотрел на нее.

...Лед вспузырило, как простоквашу.

— Через реку махнем,— сказал Гостев, быстро взглянув на светящийся циферблат часов,— а там до дома пять километров.

— Успеем к двенадцати?

— Должны.

— А Геметов волновался...

— Правильно делал. В тайге без дружбы нельзя.

Наташа не поняла.

— Ну, когда один,— пояснил Гостев.— В тайге одному нельзя, пропадешь зазря.

— Это верно,— согласилась девушка.

— У меня к вам вопрос.

— Какой?

— Вы нашему товарищу Воронову не родственницей будете?

Наташа улыбнулась.

— Нет.

— Странно,— вдруг обрадовался Гостев.— А то мне ваша личность показалась знакомой. У Воронова на столе стоит. Только там значительно некрасивше. Это точно.

Гостев посмотрел на девушку, увидал ее профиль, хотел сказать что-то, но не успел: впереди чернела полынья. Гостев вывернул руль и почувствовал, как у него сразу же вспотели ладони: что-то захрустело так, будто рвали коленкор. Наташа уперлась руками в сиденье, чтобы не удариться лбом о стекло. Передние колеса провалились под лед.

Гостев рванул рычаг коробки скоростей вверх и дал задний ход. В ту же минуту раздался треск, но теперь уже с боков. И в кабину хлынула дымная, обжигающая вода.

Наташа вскочила на сиденье. Гостев распахнул дверцу и прыгнул вниз. Через мгновение он прохрипел:

— Давай сюда!

Наташа заглянула вниз и увидела Гостева. Он стоял по горло в воде. Его лицо стало белее снега. Это было так страшно, что девушка зажмурилась.

— Скорей, черт! — заорал Гостев.— Скорей.

Наташа шагнула вниз и почувствовала, как ее подхватили сильные руки шофера. Он держал ее над головой и нес к берегу. Руки у него дрожали, глаза налились кровью, а тело покалывало тысячью иголок, не больно, но противно.

Он добрел до берега и бросил Наташу в снег. Здесь, у берега, ему было так же, как и около машины, почти по горло. Он начал карабкаться, но лед был свежий, скользкий. Гостев все время падал вниз, в воду. Наташа протянула ему руки.

– Держись!

Гостев взял ее пальцы и, упершись ногами в крутую стенку ледяного берега, начал подтягиваться. Наташа заскользила. Как она ни старалась упираться коленями, снег под ней полз прямо в черную полынью, к Гостеву. Он увидел это. Разжал пальцы. Упал в воду, и брызги, поднятые им, сразу же зазвенели льдинками. Гостев пошел вдоль берега, отыскивая место, где можно было бы выбраться из воды. Он шел, словно ледокол в Арктике: от него отскакивали маленькие льдинки и тонко звенели, сталкиваясь друг с другом.

Наташа бежала по снегу, проваливалась, вылезала и кричала не переставая:

– Давай руку! Давай руку, Гостев!

Шофер упрямо мотал головой и брел все дальше, к тому месту, где рядом с водой из снега торчала стеклянная ива. Там он вылез и упал в снег.

– Беги вдоль по берегу,– сказал он девушке, задыхаясь, чувствуя, как сердце у него поднималось к горлу.– Беги! Ну!

– Ты что? – испуганно спросила Наташа, увидав, как весь он, на глазах, покрывался хрустящей корочкой льда.

– Что ты?! – закричала девушка, и лес отозвался смешливым многоголосым эхом.

Когда женщина чувствует, что мужчина, спутник в трудной дороге, слабее ее, она может стать впереди, она может повести его за собой. Но когда женщина знает силу своего спутника, его мужество, а потом видит его бессильным, не таким, каким привыкла видеть всегда, вот тогда она теряется, становясь только женщиной, которая призвана любить, бояться и жалеть.

– Беги! – снова прохрипел Гостев.– Вдвоем нам ни к чему...

Наташа заплакала, а потом схватила Гостева за воротник, рванула на себя и с размаху, что есть силы, ударила его по лицу.

– Не надо,– прошептал Гостев,– больно мне.

Девушка почувствовала, как у нее напряглись мышцы шеи. Она снова схватила Гостева и снова начала его бить по лицу. Потом стащила с него ватник и джемпер. Ватник, хрустнув, сломался. Наташа сорвала с плеч свою куртку и стала втискивать в теплые рукава холодеющее тело Гостева. Наташа застегнула на нем все пуговицы, рванула Гостева на себя и посадила в снег. Он упал. Наташа снова посадила его, а он снова упал. Тогда девушка стала бить его руками по холодному лицу, ногами толкать в ребра и живот.

— Больно,— зло сказал Гостев.

Наташа засмеялась сквозь слезы: «Больно — это тепло...»

Девушка стащила с себя меховые штаны. Холод сразу же прошел сквозь легкую фланелевую ткань лыжных брюк. Эти брюки ей сшила в Москве бабушка по последней моде: узенькими, с накладными карманами и белой строчкой по швам. Наташа развязывала шнурки у лодыжек и все время следила за тем, чтобы Гостев не упал в снег. Но он все-таки упал. Наташа подскочила к нему, схватила за руки и принялась разводить их в стороны, стараясь разогреть Гостева. И вдруг Наташа подумала: «Ведь в машине спички и спирт. Это спасение!»

Она оглянулась на полынью, на машину, которая врастала в лед, на стеклянную иву у берега, на долговязого человека с белым лицом, который только что спас ее, и побежала к реке.

— Стой! — закричал Гостев.

Ему показалось, что кричал он зычно и громко. А на самом деле он свистяще шептал:

— Стой! Стой! Наташа! Стой!

Девушка бежала по льду. И тогда он поднялся. Как пьяный, раскачиваясь из стороны в сторону, Гостев пошел следом за Наташей. И чем дальше и быстрее он шел, тем больше чувствовал в себе силу, которая победит холод.

Сейфуллин, Проценко и Геметов лежали под машиной на тулупе. Геметов светил переноской, а шофе-

ры лихорадочно кончали ремонт. Решили сделать одну проценковскую машину и на ней привезти в партию кинопередвижки и движок, чтобы в новогоднюю ночь у людей был свет.

– Да,– продолжал Сейфуллин, усмехаясь,– посмеются над нами, как нагрянем. Я, между прочим, очень обожаю консервированные сливы с манной кашей. Вернемся – две банки съем.

– Так я тебе две банки и дам! – возразил Геметов.

– А за героизм?

Все засмеялись. Сейфуллин торопился, и поэтому гаечный ключ то и дело соскакивал с пробки маслобака.

– Черт,– сквозь зубы сказал Сейфуллин и выругался.

«Товарищ, я вахту не в силах стоять»,–
Сказал кочегар кочегару,–

простонал Проценко и закончил прозой, которую так презирал: – Башка, ребята, лопается.

– Потерпи, браток,– попросил Геметов,– немного уж осталось.

Проценко крякнул и снова, как фотограф в темный мешок, запустил руки в мотор. Стараясь хоть чем-нибудь помочь шоферам, Геметов начал рассказывать смешные анекдоты.

«Хороший какой мужик,– подумал Сейфуллин,– беспокойный и заботливый...» Он посмотрел на снабженца и улыбнулся ему. Тот сморщил лицо и сказал:

– Неспокойно у меня на душе за наших. Просто черт знает как скребет. Не надо было их одних пускать. Пропади это шампанское пропадом!

Проценко довернул гайку, бросил ключ и сказал:

– Все. Поехали.

...Воронов проснулся оттого, что в дверь громко стучали ногами. Он нашел рукой очки на тумбочке, быстро надел их и крикнул:

– Кто?!

– Я, Геметов.

– Молодец, старина! – засмеялся Воронов, натягивая джемпер.

– Да скорей откройте! – крикнул Геметов.

Воронов босиком подбежал к двери, откинул щеколду. В комнату вошел снабженец. На руках у него лежала белая Наташа. Воронов отступал, пока не сел на кровать.

– Пустите,– попросил Геметов,– я ее положу. Воронов встал, взял у него из рук девушку и, склонившись над ней, спросил:

– Наташа, Наташенька, ты слышишь меня?

Девушка открыла глаза, узнала Воронова и заплакала.

– Ну, с Новым годом вас! – сердито сказал Геметов.– А я пошел Гостева спиртом лечить. Поморозился парень. Да, товарищ Воронов, гречку сейчас раздавать или вместе с рыбными консервами? Я трески привез...

Воронов не слушал его. Он смотрел в Наташино лицо неотрывно, жадно. Геметов покачал головой. Пошел к двери и уже с порога сказал:

– А подруга ваша – девка что надо.

...Стрелки маленького будильника показывали половину третьего. Новый год пришел, а с ним пришло счастье...

...О моей поездке к геологам в нашей газете было напечатано совсем немного. На третьей полосе, в нижнем левом углу, петитом было набрано: «Трудная работа геологов. Только за последние два месяца в районе р.Сумары обнаружено три крупных алмазных месторождения. Поиски велись под руководством старейшего сибирского поисковика И.М.Алаторцева.

В восьмистах километрах севернее Сумары экспедицией И.В.Воронова открыта алмазная трубка. Поиски продолжаются...»

ГОЛУБЫЕ ГОРОДА

Дом был старый, рубленный крепко и надолго. Бревна – большие, мореные, хранящие в себе до сих пор пьяные запахи летней тайги. Пакля – перевитая, белая, будто на старом паруснике. В красном углу висели иконы – без серебра, в строгой кедровой рамке. Лица святых были строги, вавилонские, длинные глаза смотрели пристально и жарко.

Здесь, под образами, на двух сдвинутых одна к другой кедровых лавках жил прораб. После трех лет, когда мы расстались на разъезде Балыксу, который он построил за месяц, я разыскал его снова в самом глухом углу тайги, на берегу Казыра, в стороне от жилья. Он стиснул мою руку своей, жестяной и шершавой.

– Садись,– сказал он,– сейчас напою чаем.

Мы сидели под образами и пили чай, настоянный на сухой малине. Жар разливался по телу, густо тяжелели ноги, у висков проступала испарина.

– Все воюешь? – спросил я его.

– Воюю.

– Долго что-то...

– Тише едешь, дело мастера боится.

Этот парень, с лицом мясистым и грубым, с громадными плечами и короткой шеей борца, был одержим идеей. Она жила в нем, взявшись неизвестно откуда – как у солдата из светловской «Гренады». Он, мой прораб, жил мечтой о «голубых городах».

В первую нашу встречу мы сидели в холодном бараке, в тайге, а вокруг нас были колючая проволока в три ряда, но она уже не страшна была тогда, потому что лагеря не было и все его обитатели разъехались по домам. Мы топили «буржуйку», прораб смотрел на пареньков, приехавших сюда с путевками МК, которые сейчас спали, укрывшись старыми тулупами, оставшимися здесь от стражи. Прораб тогда говорил:

– Помнишь, у Толстого? Голубые города. Бред солдата-архитектора, обжорливость нэпа, проклятое спокойствие насытившихся обывателей. Помнишь? А

он мечтал о голубых городах на берегах рек, он мечтал о стеклянных улицах и алюминиевых домах. Но для этого тогда ему нужен был пожар, чтобы спалить старые домишки и охотнорядческие улицы. Это было, когда килограмм хлеба стоил миллионы, а сыпняк валил людей прямо на холодные полы российских вокзалов. А потом стали строить города с ростральными колоннами и с карнизами, на которых лепили цементное изобилие. Мне по душе Карбюзье. Он по духу космонавт, он хотел приподнять здания, он хотел нарушить закон заземления.

– Ты строитель,– говорил я ему тогда,– ты же обязан быть реалистом, а сам проповедуешь, как чревовещатель в цирке.

– Про цирк – молчи. Вы все думаете, что цирк – это тюлени и Кио. А цирк – это арена, для цирка Гомер писал.

– Гомер писал для себя.

– Для себя моя племянница пишет, она только пять букв знает. А вот ты мне можешь объяснить, зачем сюда в тайгу завозить сборно-щелевые дома, когда лес на просеках без толку лежит? Почему не строить здесь коттеджи – двухэтажные, красивые, вписанные в красоту тайги? Почему надо возить сюда уроды-шкафы из Москвы, а не сделать в коттеджах стеллажи из кедра или пихты? Ты мне можешь это объяснить?

– Не могу.

– Можешь. Просто тебе лень. Все наши неурядицы от лени. Я хочу, чтобы здесь, рядом с рельсами, выросли голубые города, понимаешь ты? Мне не нужны алюминий и стекло. Мне нужен лес, а он тут есть. Даровой. Я хочу сделать здесь поселки из розового кедрача, я хочу обставить дома мебелью, сделанной здесь же, за верстаками. Я хочу, чтобы было все красиво, понимаешь?

Он вышел на крыльцо и поманил меня пальцем. Я стал рядом с ним и сразу вспомнил Пастернака: «Надмирно высились созвездья в туманной бездне января...» Сторожевые будки покосились, а если налетал

ветер, они скрипели, как мачты затонувшего корабля. По нафталинному насту снега петляли пьяные следы хитрого зайца. Луна светила хорошо поставленным театральным светом, делая тайгу нереальной и декоративной, как задник в театре.

— Я понимаю художника,— задумчиво сказал прораб,— он любит работать на чистом холсте. Вот мой холст,— он кивнул на тайгу,— и я обещаю тебе сделать здесь неплохую картину, как бы мне ни пришлось воевать за это.

И вот мы сидим и пьем чай, настоянный на малине, а позади — три года, громадные и одновременно короткие, как память.

— Ну,— говорю я,— где голубые города?

— Протри глаза,— посоветовал прораб.

— Думаешь, тогда увижу?

— Увидишь.

Он открыл свой чемодан, измятый, словно лицо пьяницы, и разложил на столе грохочущие листы ватмана. Я увидел дома будущего таежного поселка. Окна были громадны и разнообразны, как в здании «Известий». Здание столовой было похоже на салун в Клондайке. Танцверанда была вынесена к реке — пронзительно-синей, как небо у Сарьяна. Дома были вписаны в тайгу, дорога бережно петляла среди пихт, и только высоко вверху, по-над сопками, шли рельсы, безжалостно разметая все на своем пути. Станция была тоже новой — простой и полукруглой, подсвеченной неоном.

— Красиво,— сказал я,— только это не голубой город. Он скорее розовый, как и всякая фантазия.

— Смотри ниже,— предложил прораб,— вот что здесь самое красивое. Видишь? Подпись. Это уже не мечта. Это директива.

Потное мясистое лицо его расплылось в улыбке. Круглые зеленые глаза смеялись. Большие руки мечтателя лежали на кедровом столе. Они пахли у него смолой, как у художника.

— Если хочешь, можешь завтра поехать с нами на седьмой километр.

— А что?

— Ничего,— ответил он, сдерживая высокомерную улыбку победителя.— Просто мы там закладываем этот город.

Мы продирались через тайгу, вышагивая топкие километры следом за трактором. Тайга была безмолвна, как зрительный зал. Мы шли за прорабом, растянувшись в цепочку. Он привел нас на пригорок, сбросил рюкзак в синий мох и срубил длинную осинку.

— Очисть ее от веток,— попросил он Рыбкина.

Пока Рыбкин срезал здоровым тесаком ветки, прораб вынул из рюкзака фанерку, на которой чернильным карандашом было написано:

«ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД».

Потом прораб прибил к осине эту фанерную дощечку, а осину вкопал в жирную рыжую землю.

— Вот так,— сказал он,— и не иначе.

И — засмеялся. И ребята засмеялись. И тайга отозвалась им, как зрительный зал, который приветствует актера.

Когда мы шли обратно, прораб отстал. Я шел с ним рядом. Лоб его собрался морщинами, а круглые глаза спрятались под бровями.

— Слушай,— сказал он,— если победителей не судят, то я выскочу.

— О чем ты?

— О том, что подписи на проектах я подделал.

— Это плохое слово...

— Зато дело хорошее.

НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО

В тот вечер мне позвонил мой давнишний приятель. Он учился на юридическом факультете, а я вольным слушателем посещал исторический. Приятеля звали Славка. Он сказал, что работает инспектором МУРа в центральной милиции на Петровке, 38, и пригласил провести сегодняшнюю ночь с ним — он был дежурным по уголовному розыску.

...Трое его помощников из оперативной группы играли в домино вместе с шофером дежурной машины. Один спал, свернувшись калачиком на диване. Мы сидели со Славкой на подоконнике и разыгрывали ферзевый гамбит.

Дежурство было спокойным — я ждал иного. Один из оперативников пошел в «Эрмитаж», там украли бумажник у артиста эстрады, и он бурно негодовал в комнате милиции; пожар, возникший в районе Измайлова, быстро потушили, и туда никто не поехал; ребенка, потерявшегося в парке культуры, нашли без помощи центральной милиции, так что можно было играть в шахматы.

В три часа утра, когда мы только-только легли спать, позвонили из Быковского отделения милиции: на тридцатом километре вооруженное нападение на машину — с избиением и угоном. Славка взял двух помощников, мы сели в оперативную «Волгу» и понеслись под красные семафоры по пустой и прекрасной, очень чистой, умытой поливальными машинами Москве. Там, где встречались редкие пешеходы, шофер врубал сирену, и сразу тихие улицы ночного города становились тревожными. Уже светало, небо на востоке делалось сиреневым, а поверху было придавлено чернильно-синим, а уже после — лежала звездная ночь. Было все, как у пророка Исайя: «еще ночь, но уже утро». Изредка Славка включал рацию и спрашивал дежурного по уголовному розыску:

— Алло, алло, я — Воронеж. Ничего нового?

— Пока ничего,— отвечал дежурный,— быковская группа еще не вернулась с места происшествия.

— Чего ж они так возятся? — ворчал Славка.— Могли б и поскорей. Оружие-то у бандитов какое?

— Потерпевший говорит, что били его рукояткой «ТТ».

Славка выключил рацию, обернулся ко мне и спросил:

— Слушай, старик, я на завтра взял билет. Пойду смотреть «Милый лжец». Это — хорошо?

Он не играл, спрашивая меня про спектакль, и про завтрашний день, и про веселую трагедию о Шоу. Ловить людей с пистолетами «ТТ», которые бьют рукоятью и угоняют машины,— его профессия, его труд. Как у детского врача. Или уборщицы. Или редактора.

Уже возле самого Быкова дежурный включил рацию и пророкотал в микрофон:

— Воронеж, Воронеж, я — Омск.

— Я — Воронеж, слушаю тебя,— ответил Славка.— Что-нибудь веселое?

— Нашли одного из банды — он был шестым, не влез в машину.

— Молодцы,— сказал Славка.

Он снова обернулся ко мне и сказал:

— Говорят, что мхатовский «Милый лжец» лучше, чем в театре Моссовета. Ты там не смотрел?

Парень, которого задержали, сидел на табуретке, а Славка — на краешке высокого стола с зеленым сукном и молча разглядывал его, изредка ударяя костяшками пальцев по дереву, закапанному разноцветными чернилами.

— Ну? — спросил наконец Славка.

Парень заерзал на стуле и стал быстро повторять:

— Я ничего не знаю, ничего не знаю я, не знаю я ничего...

Славка закурил, не отрывая от него глаз, а потом сказал:

— Имей в виду, если они напортачат на этой машине — ты пойдешь по делу вместе с ними. Если ты

поможешь нам сделать так, чтобы они не нашкодили на той «Волге», тебе же будет лучше.

– Врете вы все.

– Врут, если боятся чего-то или если иначе станет скандалить жена. Ты мне не жена, а боишься меня ты – так что все выходит наоборот.

Парень поерзал на стуле, а потом отвернулся к стене и стал выбивать каблуком частую дробь. Славка сказал:

– Ну?

Парень помотал головой. Славка затушил окурок в старой консервной банке и вышел из комнаты. Я вышел следом за ним. Славка сел на деревянную скамейку, потянулся и сказал:

– Через десять минут все скажет.

– Почему думаешь?

– Тип такой. Пальцами хрустит. И каблуками постукивает.

– Ты, верно, возненавидел род людской, а?

– Наоборот.

– Брось... С такими – возненавидишь.

– Нет,– повторил Славка,– все наоборот, старик. Это сложно, но тем не менее я говорю правду. Я, как собака: понимать – понимаю, а сказать про это не могу.

Через пять минут мы вернулись в комнату. Славка сел на краешек стола и засмеялся.

– Привет, глупенький,– сказал Славка,– сейчас с Длинным очную ставку получишь.

Потерпевший нам рассказал, что один из грабителей был длинного роста. Славка решил играть этими обрывками данных. Но сказал он эту фразу про Длинного так спокойно и уверенно, что парень встрепенулся и спросил:

– Взяли Серегу?

– Взяли.

– Где?

– Сам знаешь, куда они поехали.

– Свистишь, начальник. На пушку берешь.

– Храбрый ты, парень, как я погляжу. Взяли их всех, понял? – Славка уперся в парня глазами.– Всех взяли на промтоварном.

Машину угоняют, как правило, для того чтобы «взять» магазин – продуктовый или промтоварный. Жулики живут по законам, которые до сотой доли познаны сыщиками.

Парень дрогнул лицом и спросил:

– В Санарях?

– Тут я задаю вопросы, а не ты. На ручку. Пиши, пока их привезут.

– Зачем писать, если вы и так все знаете?

– Порядок такой. Ты что, новичок?

– Первый раз. Пьяный я был, Серега уговорил.

Славка спросил:

– Блинов, что ли?

Я понял, что Славка назвал первую пришедшую ему на ум фамилию. И снова он выиграл. Парень ответил:

– Да нет, Кизяков. Длинный.

Славка вышел в комнату дежурного и сказал:

– Пошлите людей в Санари, там видимо, ограбили магазин. И установите Сергея Кизякова. По кличке Длинный.

– А его устанавливать нечего. Сволочь, недавно вернулся после хулиганства и снова, видишь, начал. Он с Дубков. Дом восемь. Мы же его знаем, как голого.

Славка поставил меня в простенке между окнами. Он и два его помощника на цыпочках пошли к крыльцу дома номер восемь. На углу, в двух шагах от меня, стал третий. Он вытащил пистолет из заднего кармана брюк и сунул его в карман плаща.

Поднималось солнце. Речка, разрезанная солнечными лучами на яркие черные и желтые полосы, дымилась седым туманом. Деревня Дубки еще спала. В лесочке – зеленом, березовом, молодом – пели птицы. Казалось, что в мире ничего больше нет, кроме этого

пронзительного весеннего пересвиста прилетевших с далекого юга птиц.

И казалось диким, что сейчас в это молчаливое, птичье, солнечное утро мы должны прятаться под окнами дома, в котором живет бандит, и хватать его, если он выпрыгнет из окна, и стрелять, если он начнет отстреливаться.

Славка долго прислушивался к тому, что было в доме. Он стоял, приложив ухо к двери, упершись руками в косяк. Потом осторожно поманил меня пальцем, я на цыпочках поднялся к нему, он налег плечом на дверь, и она, пронзительно скрипнув, отворилась. В деревнях не запирают дверей на ночь. Славка стремительно проскочил сени и распахнул дверь, которая вела в комнаты. На большой кровати, укрытый красным ватным одеялом, спал Длинный. Он улыбался во сне. На печке взметнулась старуха и молча схватилась руками за побелевшие, морщинистые щеки. Славка ринулся через комнату к кровати, на которой спал Длинный, схватил его за шею, рванул на себя и сжал обе его руки своими железными пальцами.

— Где пистолет? — спросил он.

— В комоде,— быстро ответил Длинный, побледнев так же, как и старуха на печке: со щек — книзу.

— А вещи из магазина?

— В сарае,— так же быстро ответил тот, сглотнув слюну, и острый кадых черканул его горло.

Славка отпустил парня и сказал:

— Одевайся, деятель. Сейчас поедем.

Длинный вдруг изогнулся, запустил руку под матрац и ринулся на Славку с финкой. Но он запутался в одеяле и неловко упал на дощатый пол, ударившись лбом о стул. Славка засмеялся и наступил ногой на финку. Парень взвыл:

— Суки, суки! Ненавижу вас...

— Думаешь, я тебя обожаю? — усмехнулся Славка.— Я тебя тоже ненавижу. Хватит выть, не пес. Одевайся.

Старуха слезла с печки и, беззвучно плача, подошла к Славке.

– Снова чего натворил? – спросила она.– Ирод проклятый, паразит...

– Натворил, мать,– ответил Славка.– Натворил.

– Эх ты,– сказала старуха,– на кого ж мать кидаешь? Зубов-то у меня нет, скрошилися, кто кормить станет?

– Замолчи,– сказал Длинный.– Прижми язык.

Оперативник достал из комода «ТТ» и передал его Славке. Славка вытащил обойму, пересчитал патроны, завернул их в тряпочку, и все это – обойму, пистолет и патроны – сунул в карман пиджака.

Длинный открыл шкаф, достал синий бостоновый костюм и драповое, новое пальто. Он надел костюм, повязал галстук, набросил на шею кашне и стал надевать пальто.

– Снимай барахло,– сказал Славка.

– Это мое, а не ворованное.

– Снимай, снимай, герой-одиночка. Матери оставь – продаст.

– Пущай об ней власть позаботится,– сказал Длинный,– у нас власть добрая.

– Ах ты, паразит, паразит,– тихо плакала старуха,– чего же тебе в жизни не хватает, ирод окаянный? Всего тебе было в жизни... Всего...

– Ну! – крикнул Славка, покраснев.– Я что сказал!

Длинный дрогнул лицом, усмехнулся и стал снимать пальто, а потом синий бостоновый костюм.

– Мамаша, ватник ему принесите,– сказал Славка,– и старые брюки.

Пришел второй опер и доложил:

– Вещи в порядке, все цело, под дровами в сарае.

– Хорошо. Сиди здесь, я пришлю машину – заберут.

Когда Длинного увели, Славка задержался на минуту в доме и обратился к хозяйке:

– Мамаша, водички дайте, пожалуйста.

– Сейчас, сынок,– ответила старуха. Она, плача, смотрела, как Славка пьет воду.

– Сынок,– сказала старуха.– За что ж мне мука такая?

Славка обнял старуху за плечи. Меня поразило его лицо — скорбное и мгновенно постаревшее, и в то же время удивленно-обиженное, словно у младенца, который в первый раз столкнулся со злом и неправдой.

Мы вели Длинного по широкой, нескончаемо протяженной деревенской улице, к нашей оперативной машине. В сараях надрывно мычали коровы. Голосили петухи. Из труб валили дымы — штопорящиеся, прозрачные. По шоссе, что шло неподалеку, проносились машины и красные автобусы. Из домов выбегали ребятишки с портфелями. Было слышно — откуда-то издалека по радио транслировали урок гимнастики. И через этот утренний, прекрасный покой шел жулик по кличке Длинный, подняв острые плечи и глубоко засунув руки в карманы старых брюк.

Возле машины Славка остановил Длинного и сказал:

— Обернись, парень.

Тот обернулся.

— Посмотри, что ты потерял. Посмотри на все это. Посмотри как следует.

Длинный молчал.

— Ты можешь все это вернуть,— сказал Славка.— Можешь. Только для этого надо стать человеком.

ТРОПА

В конце сентября тайга сделалась гулкой и пустой. В ней появился новый цвет осторожный, сероватый, кое-где переходящий в синеву, а это серо-синее было иссечено коричневыми стволами деревьев и черными ветками.

Мне надо было уйти с охотничьей заимки возле Синих Падей, где, ожидая начала белковья, стоял лагерем промысловик Саша. Я должен был добраться до села Чары. Оттуда раз в неделю в Читу ходил ЛИ-2.

Когда я сказал Саше, что дальше в тайгу я не смогу пойти, он понимающе усмехнулся. Прикурив плоскую сигарету от уголька из костра, он глянул на меня своим фиолетовым глазом, чуть подмигнул и лег на землю, сплошь усыпанную желтыми опавшими листьями. Поставив себе на грудь маленький транзисторный приемник, он стал искать музыку. Красненькая шкала цеплялась за разноязыкий говор и вырывала резкие музыкальные фразы из таинственного мира радиоволн.

— Один не выберешься,— сказал Саша,— здесь тропа с перерывом. Теряется здесь тропа. Дошлепаем до Распадка, там лесосплав, там и решим.

В Распадке, опустевшем к осени, сейчас жили три человека: медсестра Галя, сторож (в тайге эта должность выглядит довольно смешным новшеством) и начальник сплавконторы, который дожидался приказа, чтобы уйти в Чары. Но приказа все не было, и он сидел в Распадке, играл со сторожем в карты и домино, а по утрам уходил ловить хариусов в стеклянной мутно-зеленой заводине. Начальник, с которым Саша был дружен, отпустил медсестру Галю на три дня раньше срока, благо лечить здесь было некого. И на следующее утро мы пошли с Галей через тайгу в Чары.

Саша проводил нас до мосточка, переброшенного через ручей. Он стоял на мосточке долго — до тех пор, пока мы не свернули с дороги в тайгу. Маленький нежный якут с фиолетовыми глазами и тонкими руками танцовщицы — хороший мой товарищ, который

умел и молчать, и смеяться, и пить спирт, когда наваливалась мильонозвездная ночь, и находить в кромешной темноте оленей, если надо было уходить от дождя с гольцов в чащобу, и не смеяться, когда ты неловко грохался со скользкой древесины в ручей,— словом, который умел быть другом, а это, как известно, редкостное и ценное качество.

Галя шла по тропе быстро, словно куда-то опаздывала. Она шла впереди, я — за ней. Мушка ее тозовки раскачивалась в такт шагам. Иногда девушка принималась высвистывать песенку, но каждый раз, едва начав, обрывала себя и прибавляла шагу.

— Нам далеко? — нелепо спросил я.

— Километр с гаком,— ответила девушка не оборачиваясь.— Только здесь гак особый, таежный. В одном гаке от пяти до ста километров, точно пока еще никто не замерил.

Я засмеялся. Девушка впервые за все время обернулась: курносая, с черной челкой на лбу, глазищи голубые, круглые, на щеках рыжие веснушки.

— Ты местная? — спросил я.

— Ну да! Я столичная, с Иркутска.

— Давно здесь?

— По распределению. Третий год.

— А самой сколько?

— Старуха.

— Значит, двадцать два,— предположил я.

— Ну да! — фыркнула девушка.— Двадцать два — это уже бабка, а я не бабка, а пока просто старуха. Двадцать мне.

Мы вышли из мрачного серого перелеска на взгорье. Перед нами в низине лежали два озера. Одно было длинное, формой похожее на Байкал, а второе круглое, как сковорода. Длинное озеро было прозрачное, а круглое — черное, маслянистое. Посредине черного озера сидела стая белых уток. Они казались белыми из-за того, что подкрылышки у них были светло-голубыми. На черной воде светло-голубые линии крыльев были видны издали, и они-то делали уток белыми. Это

была последняя утка, северная, она шла по ночам огромными табунами, и мы слыхали посвист их крыльев: стаи были громадные, проносились низко и стремительно, будто реактивные истребители при взлете.

Галя долго смотрела на черное озеро и на белых уток. Вокруг было тихо, только иногда где-то далеко в тайге сухо потрескивал валежник. Но этот потреск еще больше подчеркивал тишину; без него тишина не была бы столь слышимой и величавой.

Девушка вздохнула и начала тихонько высвистывать песенку про тишину. Потом резко оборвала себя, грустно чему-то улыбнувшись.

— Ты отчего ни одну песню до конца не свистишь?

— Нельзя. Если свистеть — денег никогда не будет. С забывчивости свищу, вроде Леньки.

— Это какого ж?

Галя ничего не ответила, только мотнула головой. Лес теперь был низкий, все больше сосны с расплющенными кронами, будто с японских рисунков по фарфору.

Внезапно Галя остановилась, махнула мне рукой, чтобы и я стал. Она сняла с плеча мелкашку, приложилась и выстрелила — почти не целясь, по-мужски. Что-то мягко стукнулось об землю. Галя сразу же после выстрела ринулась к сосенке и подняла красно-серую белку. Она положила ее в сумку и наставительно сказала:

— Шкурка шкуркой, а гуляш с нее тоже — сплошное объеденье.

Рыжее солнце, иссеченное черными стволами сосен, было низким и холодным. В воздухе высверкивали серебряные струны паутины. Иногда среди синей хвои загоралась красная листва клена. Я вспомнил шпаликовскую песенку:

Клены выкрасили город
Колдовским каким-то цветом.
Это значит — очень скоро
Бабье лето, бабье лето...

...Часа в три мы остановились на отдых. Я срубил сухое дерево, и мы разожгли костер. Галя пошла за водой. Она шла и прислушивалась. Она ступала осторожно и мягко. Сделает несколько шагов — и станет. Поворачивает свое курносое голубоглазое лицо из стороны в сторону, словно принюхивается.

Потом она скрылась в чащобе. Я ждал ее, глядя в костер. Пламя было белым, обесцвеченное солнцем. Девушка изредка покрикивала, и я отвечал ей. Она вернулась с котелком, в котором была синяя вода. Эта синяя вода пахла морозом и хвоей.

— От такой воды год жизни прибавляется,— сказал я.

— День,— очень серьезно поправила меня девушка,— это уж точно, как медработник говорю.

Она отстегнула топорик с красной пластмассовой рукоятью и начала рубить два сухих дерева.

— Зачем? — спросил я.— На костер хватит и одного.

— А я не для костра.

Девушка срубила сухие деревья, сделала из них указатель и вырубила по стволу: «Вода». А подумав, добавила: «Мин.вода».

— Там этот родник,— сказала она,— здесь иногда встречаются эти родники, они целебные, силы прибавляют. Вот я оставлю указатель для того, кто двинется следом. Мы ж тут первыми идем, тут раньше никто не ходил, это прямиком дорога.

— Заблудимся.

— Ну да! А компас зачем?

Мы выпили по большой кружке дымного чая. Большие чаинки плавали поверху. Галя поддела чаинку кончиком своей аккуратной наборной финки, а потом спрятала за шиворот.

— Это зачем? — удивился я.

— К подарку,— ответила девушка и засмеялась.— Обязательно будет подарок, если всплыла такая громадная чаинка. А если ночью над домом гуси кричат, значит получишь телеграмму. Я проверяла, знаю... Ну, двинем...

И мы пошли дальше. И снова девушка вышагивала впереди, и мушка ее тозовки кувыркалась в такт шагам, словно ванька-встанька. Мы перешли обезводивший ручей по серой шершавой гальке. На том берегу начался бурелом, лес был частый, жуткий, увит ссохшимися жгутами дикого хмеля. Галя вытащила топорик и, когда идти становилось особенно трудно, ловко помогала себе, прорубаясь сквозь сухой бурелом. Мы шли долго. Лоб и виски стянул пот. Я оглянулся: позади нас в замшелом буреломе тянулась отчетливо заметная каждому тропа.

А вскоре мы выбрались к реке. Это была Чара, самая красивая река из всех, какие я видел в жизни. Она глубока, метров пять, не меньше, но вся видна на просвет. Даже разноцветные громадные камни на дне. Мы долго стояли на берегу и смотрели, как среди громадных разноцветных камней по дну навстречу течению — рокочуще-стремительному — медленно плыли большие, жирные рыбы. Можно долгие часы смотреть, как живет река. Девушка разглядывала дно зачарованно, и курносое лицо ее было одухотворенным и прекрасным.

Дальше мы шли по тропе, вдоль реки. И как-то совсем не думалось, что мы прорубились сквозь чащобу и оставили людям новую короткую тропу, которой раньше вовсе не было. В Чары, на поле, где садится самолет, мы вышли, когда солнце ушло, небо стало прозрачным, и студеным, и необычайно высоким, и в нем медленными линиями выстроились громадные косяки гусей.

— Ну, пока,— сказала Галя,— счастливо долететь.

— Спасибо тебе. Куда теперь?

— Куда пошлют, туда и полечу.

Она пошла по мощеной широкой дороге, которая вела к большим домам села. Среди двухэтажных сборных домов ее фигурка показалась вдруг неуклюжей. А в тайге, когда мы шли с ней, она была необыкновенно грациозна и хороша в лыжных брюках, коротких сапожках, с финкой, мелкашкой и топориком — женщина, о которой всю жизнь мечтал Джек Лондон.

Я слышал, как она тихонько насвистывала: в вечерней тайге звуки не исчезают сразу, они долго сохраняются в воздухе. Я подумал, что если когда-нибудь стану писать об этой нашей дороге из Распадка в Чары, то рассказ назову «Девушка, которая оставляет тропу». Это было дьявольски хорошо: осенний лес, косяки гусей, громадная тишина и маленькая девушка впереди. Все это заставляет вспоминать настоящую поэзию, и звучат в памяти строки:

Глухая пора листопада,
Осенних гусей косяки.
Расстраиваться не надо,
У страха глаза велики.

Пусть ветер, рябину занянчив,
Все стонет под нашим крыльцом,
Порядок творенья обманчив,
Как сказка с хорошим концом.

Там все так же, как здесь, в Центральной России. И люди там такие же, только, может, самую каплю иные, и реки там такие же, только чуть-чуть отличаются от здешних, и леса такие же, только там больше хвои.

ИЗ РАССКАЗОВ ОБ ОДЕССЕ

МОЙ ГИД

Я шел мимо одесского базара. Я любовался тем, как чумазые малыши, растирая по своим рафаэлевским мордашкам сок, уплетали желто-синие персики. Я смотрел, как рыжие кузнецы, матерясь и вытирая веснушчатые руки о кожаные фартуки, подковывали колхозных лошадей. Я слышал смех женщин, привезших на базар домашнюю кровяную колбасу.

Базар шумел, базар гремел веселым довольством и фламандской доброй сытостью. Я не видел здесь гобеленов с лебедями и синими девами, вылезающими из тины пруда. Я не слышал пришептываний барышников. Я видел базар изобилия. Я видел за прилавками не пьяных мужиков, а краснощеких, арбузогрудых колхозниц. И я радовался этому базару, и никто не посмеет упрекнуть меня за эту моя радость.

Когда я остановился у кузни, ко мне подошел курчавый голубоглазый мальчик в школьной аккуратной форме и спросил:

— Дядя, вы кого-нибудь ищете?

— Да,— ответил я.

— А кого вы ищете, дядя?

Я не смог бы ему точно объяснить, кого я ищу и что я ищу. Поэтому я ответил:

— Я ищу, где здесь продается мороженое.

Лицо мальчика засветилось при слове «мороженое», и он с невыразимым сожалением спросил меня:

— Ну и где же вы ищете? Вы считаете, мороженое есть в кузнице? Так его там нет.

— Ты думаешь?

— Дядя,— сказал мальчик,— когда я говорю, так я уже не думаю. Когда я говорю, тогда я знаю.

Я потрепал его по африканским жестким кудрям. Он улыбнулся мне ртом, в котором зубы были разбросаны, как кукурузные зерна, но только рукой сильно подвыпившего сеятеля.

– Вы не одессит,– сказал мальчик, все так же ослепительно улыбаясь,– и вы даже не человек с Украины. О, у меня хороший глаз на приезжих! Может, показать вам наш город? У меня есть немного свободного времени.

– Покажи,– попросил я,– буду тебе благодарен.

– Ах, дядя, мы же не дипломаты, к чему вы так говорите!

Мы гуляли по городу часа три. Мой курчавый гид говорил так:

– Что я вам могу объяснить за дюка Ришелье? А ничего! Зачем говорить за дюка, когда о нем все сказали мушкетеры? И за Пушкина я вам тоже ничего не буду говорить. Я вам только напомню, что уж если кто и любил Одессу, так это Пушкин. И что я расхваливаю Одессу! – вдруг спохватился Витька.– Хорошенькое дело, я расхваливаю Одессу! У вас есть глаза – так смотрите!

Мы стояли на набережной и смотрели на порт, где поворачивали свои цыплячьи, жалкие шеи многотонные портальные краны. Мы смотрели на корабли, стоявшие на рейде. Мы смотрели на зеленое море, на белые домики и на синее солнце.

– Дядя,– потянул меня Витька за руку,– пойдемте, дядя, я свожу вас в Музей обороны. Там есть пистолеты в стендах.

– Ты думаешь, это очень интересно – пистолеты в стендах?

– Дядя, если вам выпало счастье воевать, так мне этого счастья не выпадало.

– Ты убежден, что воевать – это счастье?

– Когда пистолет, тогда всегда счастье,– убежденно сказал Витька, и мы пошли с ним в музей.

Он ходил по холодным залам и завороженно глядел на оружие. Потом мы снова вышли на звенящую, солнечную одесскую улицу, и он спросил:

– Ну, как вам город?

– Прекрасный город.

– Вы рано сказали, что это прекрасный город, дядя. Если вы не посмотрите кино Гриши Поженяна

«Жажда», вы ничего не поймете за Одессу, дядя.

И мы пошли смотреть кино Гриши Поженяна «Жажда». Пока мы стояли в очереди за билетами. Витька говорил:

— Я вам скажу честно, дядя, я пока еще нигде не был, кроме Одессы, хотя мог бы сплавать в Батуми, когда захочу, потому что мой брат работает на «Победе» коком. А я не был в Батуми. Вы спросите: «Почему?» И я отвечу так: не хочу уезжать из Одессы даже на день. И если мне говорят, что в Батуми можно купаться в декабре, так, вы думаете, это сообщение делает меня несчастным? Нет. Это не делает меня несчастным, хотя я люблю купаться. А вы любите купаться?

— Люблю.

— Вот видите! Все люди любят купаться, когда отдыхают. А когда есть школа, тогда не до купанья, так ведь?

— Да,— согласился я.— Ты, конечно, прав.

— Дядя,— сказал Витька, когда мы вышли из кинотеатра,— только скажите мне честно: вы советский гражданин?

— Советский,— сказал я.— А ты что забеспокоился?

— Пограничный город,— пояснил Витька,— все-таки опасно так откровенничать, как я. Мой дедушка говорит, что, пока Аденауэр в Западной Германии работает президентом, нельзя быть очень-то откровенным. А скажите, дядя, вы, случаем, не торговый моряк?

— Нет,— признался я,— к сожалению, нет.

— Ай-яй-яй! — покачал головой Витька.— А мне почему-то показалось, что у вас есть обменные марки.

— И обменных марок у меня нет.

— Я понимаю,— вздохнул Витька,— ну что же, мне пора.

Этот разговор происходил рядом с мороженщицей, и Витька, задавая мне вопросы, то и дело поглядывал в ее сторону.

Я подошел к мороженщице и купил самое большое мороженое, какое только было. Витька вожделенно

развернул его и начала аккуратно облизывать шоколад острым языком, сложенным в трубочку.

— Дядя,— сказал он,— я понял, что вы добрый человек, дядя. У вас есть бумага и ручка?

— Нет.

— Тогда подождите меня здесь минут десять, я очень прошу вас.

Витька юркнул в подворотню. Я ждал его минут восемь.

Он вернулся запыхавшись. В руках он держал пузатый портфель. Он вытащил оттуда ручку и лист бумаги, вырванный из тетради.

— Дядя,— попросил он,— напишите в школу, что я помогал больной старушке добраться до дому.

— Ты пропустил уроки?

— Дядя,— ответил Витька,— мне больно отвечать на ваш вопрос.

Я написал ему записку, и он ушел, напевая что-то веселое.

АССИСТЕНТ ЛЁД

Море в жаркие, солнечные дни вдруг может стать похожим на снежное мартовское поле. Пароход, на котором снимали кинокомедию про тигров, шел по этому безбрежному мартовскому полю все дальше и дальше от Одессы. На палубе готовились к съемкам и поэтому отчаянно кричали друг на друга. И на фоне этого подготовительного гама и суетни один только долговязый парень, ассистент дрессировщика Фесенко, взятый на временную работу две недели тому назад, неторопливо и обстоятельно расставлял барьеры и укреплял стыки предохранительных клеток.

Я подошел к нему и спросил:

— Вас как зовут?

Он ответил:

— Леопольд,— и, вопросительно посмотрев на мою бороду, поинтересовался: — А вас?

— Так же неудобоваримо.

— Коллеги,— сказал он,— привет вам, дорогие родители!

— Вас Леней звать надо,— предложил я.

— Леня — это от яслей. А Леонид — тот же Леопольд, только из Греции. В школе меня звали Лёдом — я сносил.

— Лёд так Лёд,— согласился я,— а меня можете звать по фамилии.

— По фамилии анархисты друг друга звали.

— Почему?

— А черт их знает! Гордые были люди, но глупые.

Лёд связывал стыки защитных клеток и весело болтал, поглядывая на меня своими маленькими желтыми глазами. Работал он, как все одесситы, споро и весело. Потом к нему подошел укротитель тигров Фесенко и, тронув парня за плечо, сказал:

— Сегодня пойдешь в клетку к зверям.

Сказал и отошел. Он был без рубашки. Я видел его спину. Она была напряжена и закручена канатами продольных мускулов. Его спина жила: я понимал его спину так же ясно, как понимал лицо иного человека. На-

верное, такая спина бывает только у дрессировщиков.

Каждый раз, когда дрессировщику предстоит ввести в клетку к зверям нового ассистента, он нервничает. Но нервничает он почти так же, как генерал перед сражением. А генерал есть генерал: даже если войско разбито и сам он пленен, победители оставляют ему кортик. А солдат, участвующий в сражении, знает только одно: либо победа, либо смерть. Солдат всегда или победитель, или мертвый.

Лёд из хитроглазого долговязого парня в модных шортах превратился в испуганного и жалкого мальчишку.

— Ты еще ни разу не входил в клетку? — спросил я.

Лёд отрицательно покачал головой и сглотнул комок в горле.

Дрессировщик Фесенко сказал не поворачиваясь:

— Поскорей кончай и приходи ко мне за оружием.

Лёд молча кивнул головой.

— Я не слышу,— сказал Фесенко.

— Хорошо,— сказал Лёд,— сейчас приду.

Тигров укачивало. Они лежали в клетках, стонали и глядели на пробегавших мимо людей с тоской и затаенной злобой.

— Зверей здорово укачало,— сказал Фесенко, подойдя к постановщику,— боюсь, что сегодня они не станут играть.

— Мы взяли поросенка. Он будет кричать, и звери разойдутся.

— Разнервничаются,— поправил постановщика Фесенко.— А это плохо, когда звери нервничают.

— А то, что я нервничаю? — рассердился режиссер-постановщик.— А то, что студия нервничает? А то, что главк нервничает?

— Так то ж люди,— возразил Фесенко, и в глазах у него что-то быстро зажглось и так же быстро погасло. И этот толстый увалень с канатной, зрячей спиной, казавшийся недобрым и черствым, сделался на какой-то миг очень близким и понятным.

— Пусть только поросенка спрячут под клетку,— сказал Фесенко, отходя от постановщика,— чтобы звери его не видели и не могли ухватить. А то вы расстроитесь еще больше, а уже про главк я не говорю...

В эпизоде, который должны были снимать в тот день, главный герой кинокартины прячется от разъяренных тигров в их же клетку. Тигры должны кидаться на стальные прутья, а актер всячески пугаться этого и прятаться от них в угол, затянутый второй, мелкой сеткой, не видимой для зрителей и недоступной для тигриных лап.

А для того чтобы укачавшиеся звери полезли на клетку, они должны были услыхать крик поросенка, спрятанного в подполе. В каждой клетке есть подпол, нечто наподобие ящика в письменном столе. Вот туда-то и начали запихивать поросенка.

Надо быть очень жестоким, чтобы подробно описывать, как один маленький поросенок сражался с тремя здоровенными ассистентами. Они вязали поросенку ноги, они бинтовали его веревками, они крутили его, как могли, а он, смешной, бело-розовый с нежным своим пятачком, вырывался и орал так, что все остальные звуки на пароходе вдруг замерли и исчезли.

Поросенок визжал все громче и отчаянней. Тишина нагнеталась тем больше, чем яростнее орал поросенок. Я увидел Лёда. Он стоял у борта и смотрел в море. Я подошел к нему и тронул его за руку. Он вздрогнул и быстро обернулся. Глаза у него сейчас были добрыми и очень голубыми, как у новорожденного. Он хотел что-то сказать, но не успел: подошел Фесенко и протянул Лёду кобуру с наганом, заряженным дымными пистонами.

— На, обмотайся,— сказал он и вдруг прикрикнул: — И не кисни! Поросенок орет — так то не атомная бомба!

Лёд остался одесситом.

— Правильно,— сказал он,— когда атомная бомба, тогда так же шумно, только чуть пожарче...

На палубу медленно входили тигры. Я стоял на маленьком выступе, сделанном на рубке, метрах в трех

над съемочной площадкой. Я видел тигров совсем рядом с собой, без успокоительных прутьев клетки. Я видел, как у них под модной «нейлоновой» шкурой перекатывались ленивые желваки огромных мускулов.

– Они высоко прыгают? – спросил я постановщика, стоявшего рядом.

– До нас допрыгнут,– ответил он и, приблизив к губам блестящий жестяной рупор, крикнул актеру, запертому в клетке: – Ну, как вы?

– В клетке,– ответил тот.

– А вы? – спросил постановщик оператора.

– Я тоже,– ответил тот вполне резонно, потому что тоже сидел в маленькой клетке, приспособленной для съемки.

– Приготовились! – заорал помощник режиссера, стоявший высоко наверху, на капитанском мостике.

Кто-то сразу же ударил хлопушкой и закричал:

– Дубль 17а!

– А может быть, 17б? – поинтересовался оператор, меняя оптику.– Не торопитесь жить, дружище...

– Приготовились! – снова заорал помощник режиссера.

И снова оператор, прикинув камеру по глазу, начал менять оптику, приговаривая:

– Не торопитесь жить, дружище, не торопитесь жить...

– Приготовились! – мрачновато выкрикнул мой сосед в свой блестящий рупор.

– Коллега,– ответил ему оператор уважительно и ядовито,– я готов.

– Начали! – пронзительно прокричал сверху помощник режиссера, и снова громко ударила хлопушка.– Дубль 17в!

На палубу вышел последний тигр, а следом за ним, щурясь от солнца и от синих юпитеров, вразвалочку – Фесенко.

Он обернулся, щелкнул тонким бичом и крикнул:

– Леопольд, что ты там копаешься?

Лёд вышел на палубу, ступая своими длинными но-

гами, словно солдат на параде. Все тело его было напряжено, и я даже почувствовал холод его пальцев, сжимавших тонкую палку с заостренным наконечником.

— Возьми мою спину,— сказал Фесенко,— все хорошо идет, видишь?

Лёд стал метрах в трех от него, полуобернувшись к зверям. Тигры медленно разгуливали по палубе. Стало тихо, хотя где-то внизу, под палубой, глухо работал дизель.

Мимо Фесенко тигры проходили как-то по-особому: чуть замедляя шаги и приволакивая ноги. Мне показалось, что они ходили мимо Фесенко так, как ходят неумелые актрисы, играющие роли старух. Те тоже смешно приволакивают ноги, и сразу становится видно, что они играют и что им очень нравится играть так. Им кажется, что такая походка дает полную достоверность образу. Наверное, так же и тигры: они думали, что такая походка должна успокоить Фесенко, сделать его добрым и щедрым. А мимо Лёда тигры проходили иначе: быстро и чуть приседая. Наверное, именно так они ходили на охоту: ни на что не глядя и все время приседая, чтобы ежесекундно быть готовым к прыжку, стремительному и смертоносному.

Вдруг один тигр остановился перед Лёдом. Мне показалось, что я слышу, как тикают часы у меня на руке. Когда страшно, тогда всегда слышишь, как тикают часы.

Тигр выжидающе смотрел на Лёда. Они долго смотрели друг на друга, а я все время думал: «Что же он не окликает Фесенко?!» Лёд не окликал Фесенко, а смотрел в глаза тигру, не моргая, только все больше и больше щурясь. Потом тигр облизнулся, нарочито безразлично зевнул и отошел к клетке оператора.

— Ну что, дурачок? — ласково спросил его оператор.— Скоро вы играть начнете?

А тигры явно не хотели играть. Им не хотелось лезть на клетку, в которой сидел человек и что-то кричал, размахивая руками. Крики актера их не трогали. Они не хотели лезть на клетку: им не из-за чего было лезть на эту клетку.

— Толкните поросенка! — крикнул помощник режиссера сверху.— Пусть он заорет!

Фесенко, не оборачиваясь, протянул руку и коротко приказал Лёду:

— Палку!

Лёд вложил ему в ладонь палку и остался безоружным. Фесенко просунул палку в подпол и начал щекотать поросенка в ляжку. Ничего не помогало: поросенок, затаившись, молчал.

Тигры перешли за спину Фесенко: теперь они стояли перед Лёдом.

Прошло уже минут десять, а съемка все не начиналась. Тигры не хотели «работать», а поросенок так и не подавал голоса, хотя Фесенко щекотал его палкой.

— Подразни тигров еще раз! — попросил актера оператор.

Актер снова стал делать страшные рожи и замахиваться на зверей, крича при этом:

— Вот я вас!

Тигры смотрели на него так же, как взрослые — на шаловливого, надоедливого ребенка.

Тогда помощник режиссера, стоявший наверху в безопасности, гаркнул в свой рупор актеру:

— Отдерите одну планку и высуньте поросячью морду! Тигры тогда разыграются!

— Как бы поросенок не вбежал в клетку,— предупредил дрессировщик.

— Он не может вбежать,— ответил помощник режиссера сверху,— зачем вы сгущаете краски?

Когда актер отодрал планку, поросенок стремглав выскочил из своего укрытия. Это случилось в долю секунды — остановить его или удержать в подполе не было никакой возможности.

В тот самый миг, когда в клетке появилось белое смешное четвероногое существо, палубу словно прошили восемь желто-коричневых, стремительных линий. Тигры исчезли с тех мест, где они только что находились. Тигры уже лезли на клетку, рыча и хватая

зубами стальные прутья.

— А-а-а! — закричал оператор счастливым голосом.— Играйте, родные, играйте!

Эти слова относились в равной мере и к тиграм и к актеру, метавшемуся по клетке. Оператор снимал, топая ногой и беспрерывно покрикивая:

— А-а! Хорошо! Умница! Гений! Молодец!

Действительно, все происходящее для кино было огромной удачей: тигры, свирепея с каждой минутой все больше и больше, лезли на клетку, в которой метался человек, стараясь поймать поросенка.

Потом я увидел, как один из тигров — самый большой — метнул в клетку лапу и ухватил поросенка. Тот завизжал так страшно, что вдруг стало очень холодно и кожа покрылась пупырышками.

Актер, позабыв про осторожность, бросился в незащищенный угол и стал вырывать поросенка из лап тигра.

Фесенко преобразился. Он стал худым, поджарым и быстрым. Лицо его замерло в холодной, безжизненной улыбке: в цирке так улыбаются воздушные гимнасты и укротители. Фесенко метнулся к клетке и стал щелкать у тигров перед носом своим тонким пронзительным бичом.

— Назад! — кричал он.— Назад!

Тигры грозно рычали. Они то кидались на Фесенко, то снова бросались к клетке. Я понял, что он отвлекает их на себя, потому что иначе они уже успели бы разделаться и с поросенком и с руками актера.

Потом я увидел, как самый большой тигр сел перед Фесенко и, ощерив огромные — в палец — клыки, заревел, захлебываясь и рокоча.

Остальные тигры словно взбесились. Они слышали крик поросенка, они видели поросенка, они могли разорвать его, а человек, стоящий перед ними, мешал им сделать то, что велела сделать кровь.

— Возьми спину! — крикнул Фесенко Лёду.

Лёд, стоявший чуть поодаль, выбросил вперед левую ногу, потом правую, а потом подался корпусом.

Он двигался сейчас как заводной. Он должен был пройти мимо большого тигра, который по-прежнему сидел против Фесенко и рвал когтями палубу. Большой тигр заметил Лёда. Он заревел еще злее, ударил хвостом несколько раз подряд и стал ласкаться, извиваясь и замирая. Было ясно, что тигр готовился к прыжку.

– Хлопушка! – негромко прикрикнул Фесенко.

Лёд, продолжая медленно идти мимо тигра, стал царапать негнувшимися пальцами тугую кожу кобуры. Он никак не мог отстегнуть крышку и достать наган. Он морщил лоб и кривил лицо, как от зубной боли, продолжая неотрывно смотреть в глаза зверю, который бил хвостом, готовясь к прыжку.

Лёд вытащил наган в тот самый миг, когда тигр, подобрав под себя лапы, лег на палубу и стал ерзать – точно как кошка перед броском на воробья. Тигр вдруг замер, и огромное его тело напряглось. И в этот самый миг Лёд, вытянув руку, направил на тигра наган и выстрелил. Хлопнул синий дымок, и тигр, зажмурившись, обмяк и отскочил в сторону.

– Молодец! – негромко сказал Фесенко.– Держи мою спину, все время держи мою спину, звери очень нервничают...

Фесенко щелкал бичом, отгоняя тигров от клетки, а Лёд неотступно следовал за ним, сжимая в руке наган. Они теснили зверей к коридору, ведшему к клеткам на корме. Тигры приседали на задние лапы, рычали и скалились. Они все время норовили зайти к Фесенко со спины, но там стоял Лёд с наганом в руке. Тигры постепенно отступали от клетки. Поросенок, оказавшись на руках у актера, трясся и стонал. Актер крепко прижимал его к себе и шептал ему что-то ласковое и успокаивающее. А поросенок все равно трясся мелкой дрожью, такой же точно, как актер, и оператор, и постановщик, и я, и, наверное, все, кто наблюдал происходившее. Всех нас трясло, потому что происходившее было по-настоящему страшным. Рассвирепевшие тигры, в которых при виде поросенка проснулся инстинкт, хотели крови.

Постановщик вытер со лба пот и сказал чужим голосом:

— Разве кто-нибудь поверит, что наш хлеб — такой хлеб! — он кивнул головой на опустевшую палубу.— Все думают, что жизнь в кинематографе — сплошное веселье. Вот оно, наше веселье! Мы должны искать правду и снимать правду, а это всегда трудно, да особенно с тиграми, которые могут убить, и ты будешь бессилен, ты не сможешь помочь ничем и никак. А снимать «бодягу» нельзя. Надо, чтобы люди верили: в картине снимались не статисты в полосатых костюмах, а звери, которым хочется крови...

— Между прочим,— сказал я,— только что было настоящее кино. Этот долговязый ассистент впервые вошел к тиграм и сразу попал в переплет.

— Это не кино,— возразил постановщик,— к сожалению, это не кино. В кино должно все время что-то происходить, а тут ничего не происходило, потому что он оказался храбрым парнем...

Выстрел. Еще один. Еще один.

«Бах! Бах! Бах!»

Стреляют на корме. Там, куда только что отогнали тигров.

— Что случилось?! — страшным, враз осипшим голосом спрашивает постановщик.

Никто ничего не знает. Все молчат. А потом несется протяжный голос:

— Тигр за бортом!

А через минуту еще страшнее:

— Человек за бортом!

Пароход, словно споткнувшись, зарывается носом в море. Мы спрыгиваем вниз, на палубу, и бросаемся на корму, к клеткам. Оказалось, что, когда незагнанным остался только один, самый большой тигр, на кормовую палубу, которая расположена метрах в двух над клетками, выбежал паренек из машинного отделения. Он столкнулся лицом к лицу с тигром. Тигр, спружинив, кинулся на парня. Лёд успел в эту последнюю, роковую секунду вскинуть наган и выстрелить три раза подряд. Тигр

в прыжке метнулся в сторону и, неловко распластавшись в воздухе, полетел за борт. Парень из машинного отделения как стоял, так и бухнулся в обморок. Фесенко закричал что-то, а Лёд, неторопливо отстегнув кобуру, подошел к борту, вспрыгнул на поручень и, шагнув вперед, полетел в море солдатиком следом за тигром.

Пока останавливали машину, пока спускали моторную лодку, тигр и Лёд скрылись из виду. На море была небольшая, чередующаяся волна. Солнце играло в белых шипучих гребнях, оно слепило глаза. Солнце, одно только отраженное в море солнце было видно сейчас. Только не было видно ни Лёда, ни большого тигра.

Все поднялись на капитанский мостик. Все смотрели в бинокли и наперебой давали капитану советы. Когда первая, самая неожиданная и непосредственная опасность минует, люди всегда начинают давать советы. Неважно кому и неважно зачем. Это что-то инстинктивное и необъяснимое в людях.

Один кричал капитану, что он видит тигра «там», и показывал рукой на запад, другой уверял, что человек плывет не «там», а «тут», и показывал рукой на восток. Один предлагал вызвать по радио вертолет, а другой советовал связаться с пограничниками. Все кричали, размахивали руками, мешали друг другу, а особенно капитану. Тот долго терпел, а потом не выдержал.

— Товарищи, вы меня извините, пожалуйста, только я очень вас прошу, идите отсюда!..

Прошло уже пятнадцать минут, как спустили моторную лодку, которая ходила все увеличивающимися кругами вокруг парохода, но ни Лёда, ни тигра найти не удалось.

Лёд плыл рядом с тигром. Когда тигр набирал слишком большую скорость, Лёд говорил ему:

— Погоди, дорогой, я не поспеваю.

И тигр оборачивался, умно смотрел на человека, плывшего рядом с ним, и останавливался, еле пере-

бирая лапами. Потом они плыли рядом, и Лёд что-то говорил тигру, и тот смотрел на своего спутника круглыми испуганными глазами напроказившего малыша.

Лёд все время менял направление, потому что пароход часто ломал курс, поворачивая из стороны в сторону.

«Они ищут нас,— подумал Лёд,— и не могут найти из-за волны».

Лёд сжал ноги, вобрал в себя побольше воздуха и подпрыгнул что было сил. Тигр испуганно шарахнулся в сторону. Звери, как и люди, часто боятся того, чего не могут сделать сами.

— Не бойся,— сказал Лёд, отдышавшись.— Я хочу, чтобы они нас увидели.

Тигр быстро уплывал в сторону от парохода. Лёд погнался за ним, упрашивая зверя:

— Да погоди же! Они так потеряют нас совсем! Потонем ведь! Стой, говорю!

Тигр замер, а Лёд, не рассчитав скорости, не смог вовремя остановиться и врезался в желто-коричневый бок зверя. Он уперся ладонями в бок тигра и зажмурился. Сначала страх оглушил его, а потом первым ощущением, которое дошло до сознания, была дрожь. Тигр дрожал, как простуженный больной человк с высокой температурой. И тогда Лёд открыл глаза и потрепал тигра по голове, совсем не чувствуя страха, и сказал ему спокойным голосом, так же неторопливо, как и Фесенко:

— Не бойся, дурашка, они найдут нас...

Теперь он плыл совсем рядом с тигром. Он теперь плыл очень медленно, потому что здорово устал и тигр тоже устал, а пароход был по-прежнему далеко, еще дальше, чем был раньше, а маленькие волны с белыми солнечными гребешками шли одна за другой, то и дело сбивая дыхание, которое стало прерывистым и тяжелым.

— Подожди-ка,— попросил Лёд тигра,— дай-ка я отдохну на тебе, а?

И, ласково похлопывая тигра левой рукой, он обнял его правой и замер так, отдыхая. Отдышавшись, Лёд сказал:

– Ты только не бойся. Я хочу, чтобы они увидели нас.

Лёд отплыл чуть в сторону и стал выпрыгивать из воды, размахивая над головой руками. Он долго прыгал, размахивая над головой своими длинными руками. Он прыгал так, выбиваясь из сил, захлебываясь. Он прыгал до тех пор, пока пароход не завалился на правый борт и не дал самый полный – прямо сюда, к нему, к Лёду, и к тигру, который был рядом...

Первым на сходни взобрался тигр. Он забрался с большим трудом, потому что очень устал в воде и все тело его дрожало. Он пошел вверх, шатаясь, низко опустив голову. Следом за ним, тоже шатаясь, шел Лёд.

Тигр взобрался на палубу и лег. И Лёд вышел на палубу и лег рядом с тигром. На палубе не было ни души, только тигр и человек, лежавшие рядом, голова к голове.

Люди стояли на капитанском мостике и молчали, не зная, что делать. Фесенко несся к пароходу, стоя на носу моторной лодки. Он кусал ногти и вертел головой из стороны в сторону, как большая птица.

А Лёд лежал рядом с тигром и старался отдышаться. Потом он поднялся, легонько хлопнул тигра по заду и сказал ему:

– Пошли!

Тигр поднялся и пошел следом за парнем, который вел его в клетку...

Когда Фесенко взбежал на палубу, большой тигр уже сидел в клетке.

– Где парень? – спросил Фесенко.

– Пошел обедать в кубрик,– ответили ему.

Фесенко, весь сразу обмякший и постаревший, поднялся к себе в каюту, достал из стенного шкафа бутылку коньяку, налил полный стакан и, выпив его одним махом, повалился в кресло.

37 – 56

ЛЕТОМ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО

Нас тогда на Спасо-Наливковском осталось трое: Витек, Талька и я. (Раньше с нами всегда был Юрка Блюм, но после того, как забрали его отца, он переехал куда-то на Можайское шоссе). По утрам мы собирались возле шестого подъезда, читали по складам «Пионерку», играли в «классики» или «штандер», а потом ходили по этажам – смотреть опечатанные квартиры. Каждую ночь в нашем доме опечатывали несколько квартир. Иногда их опечатывали сургучом, и тогда мы уходили ни с чем, но если сургуча не хватало, опечатывали воском или пластилином; мы осторожно соскабливали его, лепили солдатиков, опускали их в лужи, и они становились совсем как оловянные.

– Говорят, вчера маршала Буденного арестовали,– сказал я,– за то, что у него на даче жила японская балерина.

– Откуда знаешь? – сердито спросил Талька; он не любил, когда кто-нибудь из нас первым сообщал наиболее важные новости.

– Люди говорили,– ответил я уклончиво, потому что мама настрого запретила рассказывать про то, что я слышал дома. «Ты уже взрослый мальчик,– сказала она,– ты должен понять, что сейчас надо молчать». «Почему?» – спросил я. А она стала рассказывать про врагов народа, которые теперь, благодаря нашим успехам, со всех сторон окружают родину,– будто я сам не читал об этом в «Пионерке». Родители вообще стали какие-то странные с тех пор, как отец начал меня брать с собой днем. Раньше-то он уезжал на машине к себе в редакцию, где у него были две красивейшие секретарши, которые давали мне печатать на машинке. Одна, тетя Роза, была дьявольски хороша, и я по ночам мечтал, чтобы она стала моей матерью. Я всегда мечтал о красивой матери, но свою я тоже любил.

Раньше я редко видел отца, а теперь мы ходили с ним по улицам, и он расклеивал театральные афиши. А раз я крепко струхнул. Я в последнее время часто слышал, как он по ночам тихо говорил матери:

— Краснощекова забрали, а Курочкина поставили к стенке.

Я сначала не понимал, что значит «поставить к стенке». Мы, когда играли в «штандер», тоже ставили к стенке, чтобы удобнее было целиться теннисным мячом в того, кто проиграл. А когда отец сказал про дядю Сашу, что его тоже «поставили к стенке», мать охнула и тихо спросила:

— Неужели Сашу тоже расстреляли?

Стало быть, «расстреливать» и «ставить к стенке» — одно и то же, понял я. Так вот, в воскресенье мы поехали с отцом в Парк культуры. А в вагоне метро ехал один пьяный в лыжных брюках с коричневыми штрипочками, на которые он то и дело наступал каблуками. Когда мы вышли из вагона на станции «Коминтерн», пьяный ударил отца по голове. Отец закричал:

— Перестаньте хулиганить! Я вызову милицию!

Образовалась толпа. Подошел милиционер и сказал отцу:

— Гражданин, не мешайте проходу, станьте к стенке.

Я заревел со страху, решив, что отца сейчас будут расстреливать. Я стал хватать его за руку и тащить вверх, на улицу, где было солнечно, и гудели машины, и не было этого страшного кафельного полумрака. Пальцы у отца сделались холодными, а еще я увидел, как у него затряслось колено, когда милиционер стал требовать паспорт. На улице отец взял меня за руки и прижал к себе, как будто я маленький. Я обнял его за шею, а она у него тряслась, и мне стало стыдно, и я испугался, как бы все не заметили, что он дрожит.

...Витек начертил на асфальте новые «классики» с большим «огнем» и начал скакать первым. Он великолепно скакал,— и «квадратиком», и «змейкой», и «че-

рез раз», и «вслепую». Он лучше всех играл в «штандер» и никогда не мазал мячом, если целился в проигравшего. Он был единственный из нас, кто не обижал девчонок и не скрывал, что влюблен в Алку Блат. Вообще, Алка была не по годам серьезным человеком и знала всю правду о семейной жизни. Когда я сказал ей, что у вождей нет пиписек, она хохотала до слез.

— Вот что,— шепнула она, подойдя к нам.— Но дайте честное октябрятское, что никому не скажете.

Мы дали честное октябрятское.

— Мне стало известно,— сказала она,— откуда берутся дети. Они рождаются.

— Это понятно,— сказал Витек.— А как?

— Очень просто,— ответила Алка Блат.— Для этого надо очень крепко обнять друг друга и поцеловаться.

Мы с Талькой начали презрительно смеяться, а Витек подошел к Алке и сказал:

— Я хочу, чтобы ты родила мне ребенка!

— Ну, пожалуйста,— ответила Алка Блат.

Витька обнял ее и поцеловал. Мы с Талькой стояли потрясенные. Потом Талька покашлял в кулак, полистал «Пионерку» и сказал:

— Я тоже хочу ребенка.

Алка вопросительно посмотрела на Витька. Тот сосредоточенно скакал в «классиках» и ни на кого не глядел.

— Он мне друг,— убежденно сказал Талька,— он разрешит.

— Давайте,— вздохнул Витек,— только побыстрей.

Но только наш Талик обнял Аллу Блат и начал примериваться, как бы ее поцеловать, Витек пустил камень, который гонял по «классикам», прямо в Талькину ногу. Талька завыл, потому что камень попал в косточку, а она электрическая, в глазах темнеет от боли. Талька скакал на одной ноге и плакал. Алка смеялась и, уперев руки в бедра, говорила, как ее бабушка:

— Какой же ты мужчина, если плачешь?! Нет, только мы, женщины, умеем переносить боль!

...Вечером, после того как мама напоила меня чаем с малиновым вареньем, я сразу же уснул. А проснулся оттого, что в нашей квартире лаяла собака. Сначала я удивился, потому что у нас не было собаки, сколько я ни просил родителей. Я мечтал воспитать ее и отправить на границу, товарищу Карацупе. Но потом, в перерывах между лаем, я услышал быстрый мамин голос. Как только она смолкала, сразу же начинал лаять пес. Я решил, что родители мне сделали подарок и ночью привели немецкую овчарку. Я поднялся с кровати, надел красивые меховые тапочки, которые привез из-за границы Николай Иванович, и потихоньку двинулся в ванную, где лаяла собака, а мама тихо говорила:

– Ну, не надо, не надо, успокойся... Не надо, прошу тебя, не надо...

Я чуть приоткрыл дверь и увидел в щелку, что папа сидел на табуретке и лаял, обхватив голову костистыми длинными пальцами, а мама одной рукой гладила его лицо, а другой прижимала к груди отцов маузер, который у него всегда был заперт в столе.

Я вернулся в комнату, оставив дверь приоткрытой, и сжался под одеялом в комок, чтобы не дрожать. Потом я увидел, как мама подошла к входной двери и долго слушала, прижавшись ухом к скважине. Она осторожно отперла дверь, вышла на площадку и постучалась в квартиру напротив. Там живет отец Витька, папин друг дядя Вася. Я услышал, как отперли дверь, и мне сразу перестало быть так страшно. Я слышал, как мама что-то шептала дяде Васе, но он, перебив ее, громко сказал:

– Оставь меня в покое с провокационными просьбами! Никакого пистолета я у себя не оставлю! А если твой муж, запутавшись в связях с врагами народа, хочет уйти из жизни,– не мешай ему!

И захлопнул дверь.

Мама вернулась в комнату и стала плакать. Тогда из ванной пришел отец и начал гладить ее по голове. Мама плакала очень тихо и жалобно.

Кивнув на меня, отец сказал:

— Если бы не он, я бы знал, что делать.

— Тише,— прошептала мама,— прошу тебя, тише...

— Мальчика жаль,— повторил отец.— А то бы я знал, что надо сделать.

— Тише,— снова попросила мать,— неужели ты не можешь говорить шепотом?

— Я бы сделал то, что надо делать! — вдруг визгливо закричал отец.— Я бы сделал!

— Что ты говоришь?! — охнула мама.— Ты хочешь погубить ребенка?

— Я не сплю,— сказал я сонным голосом.— Я только что проснулся, мамочка.

Мать подбежала ко мне; щеки у нее были мокрые, а губы сухие и воспаленные.

— А что такое «уйти из жизни»? — осторожно спросил я.

Она вся затряслась, а потом стала меня баюкать. Отец поднялся и зло усмехнулся:

— Бардак, а в бардаке еще бардак.

В дверь постучались. Мать замерла, и я почувствовал, как у нее стало холодеть лицо. А отец засмеялся — весело, так, как он смеялся раньше, когда в нашем доме еще не опечатывали квартиры.

— Кто? — спросил он громко.

— Я,— так же громко ответил из-за двери дядя Федя, отец Тальки, чекист, комиссар госбезопасности.

Отец отпер дверь. Дядя Федя вошел в квартиру. Он был в полной форме, с золотой нашивкой на рукаве гимнастерки.

— Предъяви сначала ордер,— сказал отец.

— Дурак,— ответил дядя Федя.— Как только не стыдно, Семен... Давай я заберу оружие, Галя.

Мать дала ему маузер, и он сунул его в карман.

— Тебе лучше бы уехать сейчас,— сказал он отцу.— Куда-нибудь в деревню, в шалашик, — сено косить.

Он хмыкнул чему-то, потрепал отца по плечу и ушел.

...Утром Витек сказал мне:

– А папа мне с тобой больше не велит водиться.

– Почему? – удивился я.

– Потому, что ты сын пособника врага народа.

– Дурак,– сказал я.– Мой отец работает заместителем Чарли Чаплина.

(Это была правда; сам отец об этом сказал, когда мы с ним клеили афиши, а я досаждал ему вопросом: «кто ты теперь, пап?». В нашем дворе все мы, дошкольники и октябрята, придавали большое значение постам, которые занимали наши родители. Это было важно потому, что определяло, какую должность ты сам получишь в военной игре: начштаба, комиссара или командира.)

Витек презрительно засмеялся:

– Никогда не говори неправды. Чаплина давно поставили к стенке.

– Он артист,– возразил я.

– Ну и что? Артистов тоже ставят к стенке. Всех можно поставить к стенке.

Пришла Алка Блат с нареванным носом.

– В чем дело? – спросил Витек.

– Талька съябедил, что я вам буду рожать детей.

– Да? – спросил Витек, ни на кого не глядя.

– Нет,– ответил Талька.– Я никому ничего не ябедил. Я просто сказал, что у нас скоро будет ребенок.

– Кому? – спросил Витек.

– Бабушке.

Витек коротко стукнул Тальку в грудь, а потом ударил ногой по заднице.

– Иди отсюда,– сказал он.– Я больше не стану играть с тобой в «классики».

И мы стали играть в «классики» втроем, а Талька сидел возле парадного на скамеечке, сопел носом, но молчал, потому что боялся Витька.

К нашему шестому подъезду прикатила зеленая «эмочка», и из нее вышли три человека в кепках с длинными козырьками. Шофер не стал выключать мотор, из выхлопной трубы попыхивал голубенький дымок, солнце сверкало в полированной крыше, и в ни-

келированных бамперах, и в ослепительных колпаках, на которых красным было выведено: «Завод имени Молотова».

Трое в кепках быстро вошли в подъезд. Мы удивились: куда это они так рано? Талькин отец, чекист дядя Федя, уезжает в двенадцать, и за ним приходит машина с номерным знаком МА 12-41. На шестом этаже никто не живет, потому что там всех забрали, на пятом этаже трубач из военного оркестра, но про него говорят, что он «родственник» и потом у него туберкулез, а на трубе он играет только по ночам. На четвертом этаже живем мы с Витьком, на третьем этаже всех забрали, на втором квартира Тальки, а на первый вселился домоуправ,— после того как увезли Винтера с женой, которые оказались японскими шпионами. Они вечно кидали нам леденцы из окна, когда мы играли в «классики» или в войну. После того как к ним приехала Надежда Константиновна Крупская, мы — в знак большого уважения — стали говорить Винтерам «гутен абенд». Но мы недолго говорили «гутен абенд», потому что вскоре их арестовали. Наутро, после того как их квартиру опечатали, Талька сказал:

— А я колики в животе почувствовал.

— Ну и что? — спросил Витек.

— Ничего,— Талька вздохнул.— Если не понимаешь, так подумай.

Мы начали думать, но так ни до чего и не додумались.

— Леденцы-то мы ели чьи? — помог наконец Талька.

— Винтеровские,— ответили мы.

— Вражеские,— поправил Талька.— Вражеские, троцкистско-бухаринские леденцы.

— Ерунда,— ответил Витек, подумав,— на них было написано по-советски.

— Маскируются,— грустно усмехнулся Талька.— Верьте не верьте, а леденцы были явно отравлены проклятыми Винтерами.

Трое в кепках вышли из подъезда вместе с Витькиным отцом и мамой.

— Витенька! — закричал дядя Вася.— Сынок!

— Сыночек! — крикнула мама.— Сыночка, дай я тебя поцелую! Витенька, дай я тебя поцелую!

— Мальчик остался один! — кричал Витькин папа, когда его сажали в машину.— Мальчик остался совсем один! Поймите, товарищи, мальчик остался один!

Шофер дал газу, и машина умчалась. Витек как стоял на месте, так и замер. Талька многозначительно подмигнул мне. На первом этаже открылось окно, и жена управдома внимательно на нас посмотрела. Потом открылась наша форточка, и мама крикнула мне:

— Быстренько поднимись домой!

— Сейчас,— ответил я.

Открылось окно и в Талькиной квартире.

— Таля, домой! — крикнула его бабушка.— Быстро!

— Алла! — пробасила бабушка Блат из пятого подъезда.— Домой!

И мы пошли по квартирам. А Витька так и остался стоять на месте.

Их квартира была опечатана воском. Я сковырнул кусочек, чтобы потом вылепить солдатика. Воск был еще очень теплым и податливым.

ОСЕНЬ ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОГО

Ах, какая прекрасная была та осень! Леса стояли тихие, золотые, гулкие. Над полями гудели пчелы. В маленьких речушках,— прозрачных и медленных,— опрокинувшееся небо казалось неподвижным и торжественным, словно заутреня. Кончался сентябрь, но было словно в июне: травы — зеленые, вода — теплая, ночи — светлые.

— Господи,— сказала старуха в белом платке, стоявшая рядом со мной,— благость-то вокруг какая, а?! Будто и греха нет.

Она оглянулась: очередь на передачу в Ярославскую пересыльную тюрьму тянулась с Волги вверх,

прерывалась булыжной дорогой, где стоять не разрешалось, чтобы не было излишнего скопления возле тюрьмы, и плотно жалась на деревянном тротуаре, который вел к маленьким зеленым воротам под сторожевой вышкой.

В очереди стояли старухи с серыми от загара лицами; руки их были коричневы, синие вены казались черными, а ногти были бугорчатые от копанья в земле; стояли здесь молодые бабы с детишками, чаще всего грудными; на солнце детишки плакали, а в тень отойти нельзя, потому что очередь и есть очередь,— к тюремным ли воротам, за сахаром ли: пропустил свое, на себя и пеняй.

И среди сотен женщин стояли в очереди двое мужчин: безногий полковник запаса Швец и я. Швец передвигался на тележке, к которой были приделаны шарикоподшипниковые колесики. Раньше он ходил на двух протезах,— с громадным трудом, но все-таки ходил. Однако с тех пор, как арестовали его сына, аспиранта филфака, и по решению ОСО осудили на десять лет по пятьдесят восьмой статье за участие в антисоветской организации, преследовавшей «ослабление и подрыв существующего строя», безногий полковник запил, бросил свои хитрые протезы и стал передвигаться, как рядовые инвалиды,— на тележке.

Швец стоял под березой, в единственном месте, где была тень; он был как командир на параде,— с орденами и медалями на белом чесучовом кителе, а мимо него, к тюремным воротам, тянулась бесконечная тихая очередь.

...Приехав в Ярославль, я долго искал тюрьму и нашел ее только наутро, потому что сначала, когда еще ходили автобусы, было как-то стыдно спрашивать кондукторов, где пересылка: был субботний день, в автобусах ехали веселые молодые люди в белых рубашках и красивые девушки; они говорили тихо, нежно, о чем-то заветном. Словом, к тюрьме я добрался только ранним утром. От Волги тянуло великолепным запахом свежей рыбы, дегтя и дымка. Из открытых тюрем-

ных ворот попарно шли зэки с чемоданчиками и вещмешками. Они спускались к баржам, а по обе стороны тюрьмы, оттесненные конвоем, стояли женщины: все в белых платочках, похожие на птиц, с коричневыми лицами и громадными, натруженными руками. Заключенные шли быстро, стараясь не смотреть на своих баб, а те кричали, и невозможно было разобрать, что они кричали, потому что голоса их слились в один. Там были имена,— в их вопле слились воедино десятки Николаев, Иванов, Петров. Шла волна, когда забирали колхозников, и поэтому имена были земные, прекрасные и многострадальные.

Когда наша очередь подошла вплотную к воротам, поджужжал на своей каталке Швец и, подтянувшись на руках, забрался на деревянный тротуар. Старуха, что стояла перед нами, спросила:

— А ты по ком страдаешь, убогонький?

— По России,— ответил полковник запаса.— По России, бабка, ети ее мать...

Нас запустили в ворота. Охранник сказал:

— Быстро, быстро, граждане, не задерживайтесь во дворе!

Мы пошли по асфальтовой дорожке вдоль линии колючей проволоки, протянутой по внутренней стороне забора, мимо окон, забранных намордниками, чувствуя на своих спинах глаза охранников, стоявших с автоматами на вышке.

Запускали в тюрьму десятками. Сейчас шли семь старух, русая красавица в открытом сарафане и мы со Швецом.

В приемной камере,— в отличие от столичных Бутырок,— стоял тяжелый запах карболовки и хозяйственного мыла. Прямо напротив маленькой входной двери было окошко, а налево железная дверь, запертая на громадный висячий замок. Старухи, осторожно отталкивая друг друга острыми локтями, сразу же выстроили очередь. Окошко открылось. В квадратном вырезе, освещенном низко висящей лампой, я увидел

две большие руки, лежавшие на списках, нацарапанных чернильным карандашом. Больше в окошке ничего не было видно: две руки и списки.

Бабка, стоявшая в очереди первой, быстро прошамкала в окошко:

— Передача для Сургучевых, Павла Васильевича, Михаила Васильевича и Федюньки.

— Сургучевы? — тихо переспросили из окна.

— Да, Сургучевы.

— Какая статья?

— Пятьдесят восьмая, десятый пункт и еще какой-то,— быстро ответила бабка.— Разговаривали они, батюшка, по пьяному делу, разговаривали.

Окно захлопнулось. Стало тихо. Только муха гудела вокруг маленькой лампочки, свисавшей с потолка на кривом шнуре. Я обернулся на Швеца. Он был бледен, и сейчас, в полутьме, стали особенно заметны глубокие старческие морщины на его желтоватых висках. Русая красавица достала маленькое зеркальце и, облизнув припухлые губы кончиком острого языка, принялась рассматривать свое лицо,— то хмуря брови, то, наоборот, чуть улыбаясь.

— Пониже поглядите,— сказал я.

Женщина опустила зеркальце, увидала насосанный синяк на шее, озабоченно разглядела его, поджала губы и покачала головой.

— От гад,— вздохнула она грустно,— гадюка проклятая...

Окошко открылось; голос оттуда донесся глухо:

— Сургучевы выбыли на этап.

— Да что ты, батюшка,— оживилась старуха.— Я ж сегодня ночью этап выстояла: не было Сургучевых.

— Повторяю, они выбыли на этап.

— Ой, батюшка,— заговорила старуха быстро-быстро,— я ж лепешечек им напекла, яиц наварила, прямо с-под курочки. Вот узелок, он маленький, батюшка, вы ж примите для них, Федюнька у нас легочный, маленький он у нас, вы уж похлопочите, пожалуйста...

– Следующий,– сказал голос из окна.

– Батюшка,– точно заплакала старуха,– лепешечки-то куды? Куды ж лепешечки на масле? И яички с-под курочки?

– Следующий,– снова ответил голос из окна.

Русая красавица задумчиво сказала:

– Вот сволочь, а? Мать его рожала или сноха?

Швец начал откашливаться, будто в горло ему попала рыбья кость. Но вслух никто ничего не говорил: каждый ждал своей очереди, в глубине души понимая, что получит такой же отказ, однако человек – такой организм, который во всех перипетиях жизни ждет. Бог его знает чего, а – ждет, даже если и сам уверен, что ждать-то, в сущности, уже нечего.

– Батюшка,– дрожащим голосом сказала старуха,– что ж делать мне? Я ж лепешки не сжую, у меня и зубов нет, десны только тесто протягивают, а вкуса во внутрь не дают...

Продолжая говорить что-то быстрое и несуразное, бабка достала из-за пазухи желтую тридцатку и, комкая ее в потной ладони, сунула в окно. Тридцатка вылетела оттуда на пол, и в окне появилось лицо молоденького паренька в форме младшего лейтенанта:

– Да что вы, мамаша?! – жалобно крикнул он.– С ума свернули?! Заберите свои деньги и станьте в сторонку, пока другие не пройдут.

Бабка, жалобно причитая, спрятала тридцатку, отошла к окну и там стала мотать головой, словно лошадь, замученная оводами. Плакала она беззвучно, не утирая слез, только часто-часто хлюпала покрасневшим носом.

– Следующий! – сказал младший лейтенант.

Полковник Швец, стоявший под оконцем, выкрикнул с пола:

– Константин Иванович Швец, тридцать третьего года рождения, осужден ОСО на десять лет!

Младший лейтенант рассерженно сказал:

– Что за шутки? Заявитель, покажитесь!

– Не мо-гу!

– Не можете, так покиньте помещение!

– Мальчишка! – крикнул Швец и, резко откинув потную голову, зажмурился.

– Что?!

– То самое. Молокосос!

Младший лейтенант пристукнул кулаками по спискам и стремительно высунулся из окошка. Он увидел меня и решил, по-видимому, что это я с ним так говорил.

– Вниз посмотри! – исступленно прокричал полковник.– На меня смотри!

Младший лейтенант недоуменно посмотрел вниз, увидел Швеца на платформе с подшипниками, в лице его что-то на мгновение дрогнуло, а потом замерло, будто захолодело.

В камере было тихо, а муха вокруг лампочки жужжала громко, словно трансформатор. Младший лейтенант спрятался в свое оконце и сказал:

– Следующий!

– Швец, Константин Иванович, тридцать третьего года рождения, осужден ОСО на десять лет!

– Выбыл на этап.

– Когда?

– Вчера.

– Куда?

– По месту отбытия наказания.

Швец попросил:

– А ну, подними меня.

Я уцепил его под мышки и поднял к окну. Выставив колено, я опустил на него платформочку, Швец уцепился своими громадными, как у всех безногих, ручищами за деревянное оконце и сказал:

– Ну-ка, лейтенант, посмотри мне в глаза.

– А в чем дело? – тихо осведомился младший лейтенант.

– Дела нет никакого. Просто посмотри мне в глаза. Вот так. Только не мигай, сынок. Тебе не совестно, а? Как же тебе не совестно, сынок?! – И Швец шепнул мне: – Опускай!

Я опустил его на пол. Швец отъехал к старухе, которая по-прежнему плакала возле окна, и начал громко сморкаться в большой полотняный платок.

– Следующий,– тихо позвали из окна.

Подошел я и, передохнув, сказал:

– Тут у вас в лазарете мой отец.

– Фамилия?

Я назвал.

Младший лейтенант посмотрел на меня огромными глазами святого. Он долго смотрел на меня,– почти столько же, как Швец – на него.

– Вам нельзя с ним видеться. И передачи тоже нельзя,– сказал он наконец.– Только по прибытии к месту наказания...

Он по-прежнему смотрел на меня своими огромными глазами, в которых было отчаяние.

– А записку? – спросил я.– Просто, чтоб он знал.

Младший лейтенант молча покачал головой. Швец из угла выкрикнул:

– Какого черта ты унижаешься перед этим мракобесом?!

После долгой паузы младший лейтенант ответил:

– Я не мракобес... Я службу несу.

Он сказал это тихо-тихо, почти беззвучно.

Я достал листок, написал карандашом: «Я здесь» – и протянул младшему лейтенанту. Тот проглядел записку со всех сторон, а потом закрыл оконце. Я услыхал шаги по кафельному полу. Где-то лязгнула железная дверь, и стало по-особому тихо. Все эти десять минут, что мы провели в приемной камере, было то очень громко, то ужасно тихо: до звона в ушах. Только кто начинал говорить,– все ухало, сотрясалось вокруг, а как ждали ответа из окошка,– становилось мучительно, предсмертно тихо, даже уши закладывало.

Я ждал ответа, опершись спиной о холодную стену. Вдруг молчащую громадину тюрьмы разрезал высокий, кричащий плач. Я почувствовал себя крохотным, руки у меня заледенели и к горлу подступила тошнота.

— Ишь, балует, словно ребеночек воет,— сказала русая красавица.

Я бросился к двери, через которую нас сюда впустили, отбросил щеколду и закричал:

— Старик, я тут!

Плач прервался, и я услышал страшный, совсем незнакомый мне, но такой родной отцовский голос:

— Пустите, не затыкайте рот! Сын пришел! Пустите же!

— Папа!

Отец глухо завыл.

Я бросился в тюремный двор.

— Назад! — крикнул с вышки охранник.

Я почувствовал, как кто-то мягко схватил меня сзади за шею и больно, тисками, за ноги. Я вырывался и орал что-то, а отец выл в камере.

— Да что ты?! Да погоди! — слышал я снизу сопение Швеца, который держал меня за ноги.

— Миленький, миленький, успокойся,— шептала русая красавица, повиснув у меня на шее.— Ну, золотенький мой, ну, маленький, успокойся,— твердила она и вся вздрагивала, словно от ударов.

— Па-па! — кричал я что было сил, потому что меня уже почти затащили в камеру Швец, женщина и две старухи с сильными и длинными руками. И в это время тюрьма загрохотала, завопила, заулюлюкала. Слышно было, как в камерах стучали чем-то деревянным по стенам, топали ногами и вопили визгливыми длинными голосами:

— Дайте свиданку! Дайте им свиданку, псы! Старика пустите, пустите его, свиданку дайте!

Я увидел, как на сторожевую вышку выскочили еще три охранника, щелкнули затворы автоматов, услышал быстрые команды, на Волге начали басить баржи, заглушавшие вопль тюрьмы,— и меня затолкнули в камеру.

Швец упал возле двери, тяжело дыша; в легких у него тонко свистело, и видно было, как возле кадыка пульсировала артерия.

– Там и мой кричал,– шепнул он.– Константин. Я его голос узнал.

Прибежал младший лейтенант, распахнул свое оконце и крикнул мне:

– Ну?! Вот твоя записочка! Он сознание потерял, а мне отвечай?! Все вы только об себе думаете, совести в вас ни на грош!

– Это он прав,– тихо согласился полковник Швец.– Совести в нас ни на грош. Скоты и есть скоты, только тешимся.

– Разговорчики! Кто получил справку – очистить помещение! – приказал младший лейтенант.

В комнату к нему кто-то зашел, потому что младший лейтенант вскочил со своего места и вытянулся.

В оконце показалась седая голова капитана со шрамом через весь лоб.

– Поди сюда,– сказал он мне.

Я подошел.

– Иди завтра к подполковнику Малову в областное управление. Я ничем помочь не могу, у твоего батьки запрещение на свиданку.

– Как он сейчас?

– А ты что, не слыхал? – вздохнул седой капитан.

– Швец Константин, тридцать третьего года рождения, осужден особым совещанием,– начал выкрикивать с пола безногий полковник.

– Знаю, знаю вашего Константина,– ответил капитан,– он в карцере за нарушение режима.

– Что он сделал? – спросил Швец.

– Да так,– ответил капитан и посмотрел в глаза Швецу,– ничего особенного, только строптив, не сломался б...

Швец просиял лицом и полез за сигаретами в нагрудный карман.

– Ничего,– сказал он,– не сломается.

И как-то странно подмигнул капитану, а тот так же странно ответил ему: ничего в его лице не дрогнуло, а все равно ответил, и не просто так, а по-человечески, с болью.

— Продолжайте работу, товарищ Сургучев,— сказал капитан младшему лейтенанту и вышел.

Старуха с лепешками, мать троих Сургучевых, услыхав фамилию младшего лейтенанта, стала медленно приближаться к окну. Она утерла ладонью слезы с коричневых, морщинистых щек и спросила:

— А ты не Гришки ли сын, Сургучев? Ты не Гришки ли сын, а? С Колодиш?

Младший лейтенант внимательно и с ужасом посмотрел на старуху.

— Кто следующий, граждане? — сказал он скороговоркой.— Вопросы прошу задавать по существу.

— Гришкин,— уверенно сказала бабка.— И нос, как его,— с горбой, и чуб с крутью. Господи, господи, брат на брата, и отец на сына, толь небо пока не раскололось, когда ж? Когда, господи?!

И, словно слепая, бабка пошла из камеры вон. Следом за ней поехал на жужжалках Швец, а за ним я. В тюрьме было тихо, потому что разносили ужин.

ТА НОЧЬ В ЯРОСЛАВЛЕ

После того как в тюрьме нам со Швецом отказали в свидании с родными и посоветовали пойти к подполковнику Малову в областное управление, мы отправились в гостиницу.

Швец поджужжал на своей платформочке к окошку администратора и постучал по нему деревянным утюжком, которым отталкивался от земли, чтобы быстрее катиться.

Администраторша оказалась пожилой женщиной с маленькой головой на большом теле, но на ее крошечной головке как-то странно умещалось огромное количество крохотных бело-коричневых куделек, что делало ее похожей на барашка.

— Заполняйте бланк,— сказала она Швецу.— Мест у нас нет, но уж вас-то я устрою,— как орденоносца и инвалида.

— Мы вдвоем,— сказал Швец, кивнув на меня.

Женщина ответила:

– Я дам номер люкс из исполкомовской брони.

Швец вернулся к столу, и мы начали заполнять длинные бланки анкет, которые выдают администраторы гостиниц перед тем, как вручить гостю ключ от номера.

Напротив графы – «с какой целью приехал, куда, к кому, кем выписана командировка и на какой срок?» – я написал: «прибыл как член-соревнователь Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, для обмена опытом лекционной работы». Меня действительно приняли в общество «Знание», когда отец был еще дома. Тогда я учился на втором курсе и довольно бойко излагал разные истории про те муки, которые испытывает национальная буржуазия в странах Среднего Востока, и как она постепенно уничтожается буржуазией компрадорской.

И сюда, в Ярославль, я, понятно, приехал с красной книжечкой общества, которая так успокоительно действовала на гостиничных администраторов и вокзальных дежурных.

Взяв мою анкету с красной книжечкой, Швец покатил к администратору. Сунув в окошко наши документы, он закурил и, оглядевшись по сторонам, задержался глазами на картине «Утро в сосновом лесу», вздохнувши, как-то изумленно заметил:

– Кругом одни медведи,– куда ни глянь...

Администраторша, не отрывая глаз от наших анкет, спросила:

– Молодой человек, а вы, собственно, с кем едете обмениваться опытом?

Разыскивая отца, я проехал уже восемь городов, в которых были пересыльные тюрьмы, и всюду устраивался ночевать под маркой обмена «лекторским опытом»; ответил поэтому фразой, которая действовала безотказно:

– С группой начинающих товарищей...

– А командировочка где?

— Идет по фельдъегерской связи,— ответил я туманно.

— Ах, так,— понятливо кивнула администраторша,— что ж, хорошо...

И — отложила мои документы в сторону. Взяв анкету Швеца, она бегло просмотрела ее и — скорее для проформы — поинтересовалась:

— Что же вы не указали причины приезда, товарищ полковник?

— Прибыл в ваш замечательный город,— начал рапортовать Швец,— надеясь получить свидание с сыном, находящимся в пересыльной тюрьме...

— Где, где?!

— В пересыльной тюрьме.

— Какая досада,— сказала администраторша, поправив свои мелкие бараньи букли на крошечной головке,— оказывается, тот номер, который я собиралась вам дать, только что заняли. Придется немножко обождать.

— То был свободен, а то заняли? — набычился Швец.

— Нет, он, собственно, не был совсем свободен. Он должен был освободиться,— запутавшись, пробормотала администраторша.

— Верните документы,— рявкнул Швец.

И — выкатился на своих жужжалках из темного холла гостиницы на предзакатную, пронзительно-чистую, ветреную площадь. В небе летали голуби. Они были сизовато-белые, но иногда их крылья высверкивали неожиданным желто-красным цветом.

— Где ночевать будем? — спросил я Швеца.— Честно говоря, я уж третий день не сплю, башка звенит.

— Ничего. Сейчас пойдем на вокзал, там выпьем и закусим, и спать с кем-нибудь договоримся: что здесь номер, что там тридцатка, все одно выйдет,— с точки зрения экономики. Не бойсь, найдем где отдохнуть.

В ресторане мы заказали бутылку черноголовой московской, три салата, селедку, щи и блинчики с мя-

сом. Швец разлил водку по большим фужерам и попросил:

– Ну-ка придвинь меня, а то я на китель буду крошки ронять, неопрятно.

Я поднял его вместе со стулом и придвинул вплотную к столу. Швец кивнул в знак благодарности, цыкнул зубом и возгласил:

– Ну, выпьем за наших с тобой. Дай им бог...

Запрокинув голову, он вобрал в себя водку, неторопливо закусил селедочкой и усмехнулся:

– Анекдот есть такой. Один командировочный, вроде нас с тобой, задержался в Москве по делам, а спать негде, мест в гостелях нет. Ну, ему и посоветовали взять на ночь шлюху возле «Метрополя»,– у нее и переспать. Он пришел, а там одни красавицы в чернобурках. Смотрел он на них, смотрел, а потом подошел к одной, галантно поднял шляпу и осведомился: «Тысячу извинений, мадам, а вы, случаем, не блядь?» Что плешка у «Метрополя», что здешний вокзал... Сука в бигудях, чтоб у нее сыпь на лбу выметало...

– Она ж служит, зря вы на нее.

– Нет, не зря! Скрывать правду – значит предавать Константина, отрекаться от него, живого!

– Вы его не этим предаете. Мы все предаем друг друга совсем не этим...

Швец грохнул кулаками по столу:

– Выбирай слова! Слышу интонацию врагов народа!

– Вы действительно верите, что маршал Тухачевский был врагом народа?

– А кем же еще?

– Кто штурмовал Кронштадт в двадцать первом?

– Как кто?! – Швец изумился.– Товарищ Сталин.

– Тухачевский, Сталин и Троцкий,– тихо сказал я, оглянувшись невольно.

– Я б тебя за такие слова на фронте к стенке поставил! И самолично пристрелил, как бешеного пса! – Швец разъярился.– Запомни: тридцать седьмой год был годом великого очищения! Мы освободились от

скверны японо-германских наймитов! От гестаповцев и шпионов типа Каменева и Бухарина! Понял?! Мы выиграли войну благодаря тому, что обезвредили всех врагов народа!

Лицо Швеца вдруг жалобно сморщилось, он замотал головой и стал жалостливо повторять:

— Косинька, Косинька, мой маленький, за что ж такое?! Почему суки на свободе, а ты маешься?!

А я до ужаса явственно вспомнил плач отца, который донесся через открытые тюремные окна и его пронзительный крик: «Сынок!»

— За что такое горе, Косинька?! — Швец сокрушенно качал головой.— Ты ж нашему делу предан до последней капли, ты ж наш, наш!

К столику подошла официантка:

— Щи кончились, может, поменяем на порционную соляночку?

— Ладно,— сказал Швец, вытерев лицо квадратной ладонью, расплющенной «толкалкой».— Валяй сборную.

Он демонстративно отвернулся от меня и стал смотреть на эстраду, где рассаживались музыканты: аккордеонист, слепой скрипач, слепой барабанщик и огромная пианистка, похожая на Петра Первого. Скрипач взмахнул смычком, и оркестр заиграл песню о Сталине,— тогда все программы в вокзальных ресторанах так начинались; Швец стал проникновенно подпевать: «О Сталине мудром, большом и любимом, счастливые песни слагает народ...»

В уголках его пронзительно-черных глаз медленно накипали слезы; когда оркестранты кончили играть, Швец, аплодируя, закричал: «Браво!» В зале ресторана было всего два посетителя: он и я. Пять официанток стояли возле синих бархатных портьер, спрятав руки под белыми фартуками на толстых животах. На стене с лепными украшениями, выкрашенной в темно-зеленый цвет, висела громадная репродукция «Утро в сосновом лесу». Я посмотрел на «Мишек», тронул Швеца за руку:

— Простите меня, я, видно, что-то не так сказал...

— Да уж,— посветлев лицом, он сразу же обернулся ко мне,— я еле сдержался, чтоб не отправить тебя, куда следует. Болтаешь черт знает какую ахинею, уши вянут...

Он снова разлил водку по фужерам, мы выпили, в голове у меня зашумело; все, что было сегодня днем, сделалось каким-то отстраненным, далеким, оркестранты уже не казались такими жалкими, а, наоборот, стали представляться мудрыми хитрецами, потому что после обязательной песни об Иосифе Виссарионовиче заиграли печальный и веселый «Фрейлехс».

Швец заказал еще одну бутылку водки, быстро опьянел; я тоже. Мы начали меряться силами,— у кого крепче руки. Полковник лихо укладывал мою кисть на стол, а я тогда был боксером и подрабатывал на образцово-показательных выступлениях в рабочих клубах.

— Если нет одного,— комментировал Швец свою победу,— тогда обязательно много другого...

Эти слова мне показались очень смешными, я захохотал, а Швец обиженно постучал себя пальцем по виску:

— Смех без причины признак дурачины. Не понимаешь, что ль: нет ног — руки сильные!

Швец вздохнул, начал перемаргиваться с громадной пианисткой, а потом пригласил ее за наш стол:

— Мадам, не выпьете ли немного портфейна?

— Вы, случаем, не одессит? — спросила пианистка, опускаясь на стул.— Одесситы говорят «портвейн» через «ф».

— Какой с меня одессит? — Швец засмеялся.— С меня одессит, как с вас балерина.

Пианистка предложила:

— Может, сыграть попурри из военных песен? Мы недорого возьмем...

Швец достал из кармана кителя тридцатку:

— Извиняюсь, что нет конверта. Венерологам и женщинам я всегда давал деньги в конвертах.

Пианистка выпила рюмку, съела кусочек селедки, вернулась на эстраду и что-то шепнула слепому скрипачу. Тот кивнул и сразу же прокричал в шуршащий микрофон:

– Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!

– Опошляют героику,– заметил Швец.– Всего семь лет после войны отстучало, а уж попурри в кабаках поют. А солдатские кости еще не перегнили. Вот ты – ученый, лекции читаешь, ты мне скажи: сколько времени кость в земле гниет? Или, скажем, череп? Молчишь, член-соревнователь? Хитрые вы, полужидки, змеи извилистые.

Между тем слепой скрипач выкрикнул очередной куплет:

– По берлинской мостовой кони шли на водопой!

Загрохотал слепой барабанщик, а после музыканты стали петь, задирая головы к лепному потолку:

– Казаки, казаки, едут-едут по Берлину наши казаки!

Когда куплеты кончились, слепой скрипач, сделав шаг вперед, нащупал смычком стул, но опустился на него неловко и обвалился на пол. Швец так хохотал, что сам тоже чуть не упал. Он махал руками, вытирал слезы и, плача от смеха, повторял:

– Ой, не могу, не могу, не могу! Как жопу-то припечатал! Ой, не могу, лектор, не могу!

До полуночи мы ходили вокруг вокзала, отыскивая кого-нибудь, кто бы взял нас на ночлег. Но привокзальная площадь была пуста, только под фонарем дремал таксист в старой «Победе» да время от времени прохаживался железнодорожный милиционер в малиновой фуражке.

– Где же ваши проститутки? – спросил я.– Пошли лучше на лавку, все соснем...

– Ты хоть одну свободную видел? – рассердился Швец.– Сам виноват,– я уж договорился с пианисткой.

– Ей же сто лет.

– Неважно. Зато она большая. Для меня чем женщина больше, тем – желанней.

– А скрипач?

– Скрипач? – передразнил меня Швец.– Он слепой, скрипач этот! Что он видит? Тьму и только!

Швец заметил милиционера, сделал мне знак, чтобы я оставался на месте, и покатил навстречу блюстителю закона. Милиционер опустился перед полковником на корточки, чтобы удобнее было разговаривать.

Я видел, как они закурили, а потом стали смеяться: то Швец, то милиционер,– попеременно.

Они смеялись, а я вспомнил, как плакал и трясся Швец, заталкивая меня в камеру, а потом размазывал по своим склеротическим щекам бессильные стариковские слезы...

Милиционер наконец откозырял полковнику, и тот быстро подкатил ко мне.

– Проститутки появляются к трем ноль-ноль, когда прибывает поезд с севера,– отчеканил он.– Но тут одна должна подойти к часу, Роза,– на курьерских теперь не работает, постарела, обслуживает пригородные линии. Мильтон говорит, что ее конкуренция побила, молодежь, говорит, набирает силу, ткачихи...

И вот мы в комнате у Розы. На стенах – вышитые рисунки: красноглазые котята, лебеди в зеленах прудах среди синих башен средневековых замков. На комоде, покрытом узорной салфеткой, фотографии в бумажных рамках. И почти на всех фото – Роза: завитая, губы бантиком, двое детей с одинаковыми челками и мужчина в военном кителе без погон; у него подбритые книзу брови и рваный шрам на щеке.

– Это ему миной рассадило,– объяснила Роза, накрывая на стол: поставила три стакана, порезала хлеб и подвинула большую солонку с желтоватой солью. Швец достал из-за пазухи бутылку водки и плитку шоколада «У лукоморья дуб зеленый». Роза налила себе стакан водки, выпила по-мужицки, резко запрокинув голову; напудренное, дряблое лицо ее покраснело; она

взяла шоколад со стола и переложила на комод: «Оставим детям, они до сладкого любители». Потом деловито поинтересовалась:

— Вы меня оба будете, или безногий не может?

— Оба, оба! — Швец развеселился.— Безногий может, будь спокойна.

— На широкой ляжем, или будете переходить ко мне по одному?

— По одному,— сказал Швец.— Чтобы в движеньях не смущаться.

Мы с ним совсем пьяны, рассказываем Розе анекдоты, она просит нас говорить потише, чтобы не услыхали соседи. Потом, рассердившись внезапно чему-то, предупредила, что с каждого берет по тридцатке. Мы легко согласились, и она начала стелить постели.

— Чего сюда приехали-то? — спросила она.— В командировку?

— В тюрьму, на свиданку к родным,— браво ответил Швец.

— Эх-хе-хе,— вздохнула женщина, взмахнув залатанной простыней,— вам хорошо, у вас хоть надежда есть, что из тюрьмы вернутся, а у меня и этого нет...

— Что, муж погиб в боях за нашу советскую родину? — деловито поинтересовался Швец, расстегивая китель.

— Да нет,— ответила Роза,— я б тогда на детишек пенсию получала. Он к молодой переметнулся, а от молодых не вертаются, это не тюрьма. Вот теперь и кручусь: днем в гараже, а ночью на вокзале.

— И — давно?

— Через полгода, как ушел,— и начала. Сначала-то думала его вернуть добром,— и начальству писала, и к знакомым ходила... А он не дрогнул... Ну и пошло...

— Заработок маленький? — поинтересовался Швец.

— Да нет,— задумчиво ответила женщина, присев на краешек стула,— можно б прожить... Детишек профсоюз в детсад определил... Только липли ко мне мужики, да и сама не каменная. А с горя баба по первому делу мстит, а уж потом начинает выть, когда дров

полон воз наломала... Отомстишь, а ведь аборт денег стоит, где взять? Вот и пошло-поехало...

Она достала из комода старенький патефон, поставила пластинку, и хриплый голос запел, выговаривая слова не по-русски:

— Шпи, шенщин много на швете, шпи, твоэ сэрдцэ тошкуэт...

Роза сняла платье, пояснив:

— Надо, чтобы все было по-хорошему, с музыкой. Я и потанцевать могу, если хотите.

— Не надо. Баловство это. Нескромно,— отрезал Швец и попросил меня: — А ну подними на кровать, я сам не заберусь.

Он отстегнул лямки, которыми притягивал туловище к подшипниковой платформе, я взял его на руки и положил на кровать. Щеки у него были, как у моего старика,— колючие и морщинистые.

Роза потушила свет, выпила еще полстакана водки, остаток спрятала в шкаф, заперла на ключ и легла к Швецу. Он что-то стал шептать ей на ухо. Я устроился на второй койке. В окне металась ветка тополя, ветер раскачивал ее, и было в этом что-то тревожное и безнадежное, словно прощание.

— Какой же ты маленький,— ласково засмеялась Роза,— как ребеночек.

— Тише ты,— сказал Швец.

— Бородой не щекочись,— шепнула Роза.— Я не могу, если смешно.

— Ну вот! — Швец рассердился.— Молча полежать не можешь?! Это тебе кровать, а не Лига наций! Болтаешь языком, болтаешь, охоту отбиваешь.

Я отвернулся к стенке. Прямо на меня — в упор — смотрел с фото бывший муж Розы с подбритыми бровями. На стене по-прежнему металась тень от ветки тополя; с Волги резкими порывами задувал северный ветер.

Я проснулся от того, что меня теребили за плечо. Надо мной стояла Роза:

— Проспали! Подымайся, мне на работу пора. Черт безногий, спать всю ночь не давал, и ты еще храпел.

Все равно тридцатку плати. Или путь он вносит, я не виновата.

...Мы тихо вышли из комнаты. Я нес Швеца на руках, чтоб он не будил соседей своими жужжалками. Лицо его было отекшим и старческим. Он не смотрел на меня, дышал тяжело, а лоб его был прорезан морщинами так, словно он решал сейчас для себя самую важную жизненную задачу.

Роза подвела нас к автобусной остановке. Швец с ней прощаться не стал; она грустно усмехнулась:

— Все так... Ночью — «милая», а утром мимо смотрят и рот кривят.

— Не сердись,— сказал я.

— А я и не сержусь. Счастливо вам, горемыки...

Она села в автобус и уехала.

— Сука,— пробормотал Швец.

— Зря,— сказал я.

— Нет, нѐ зря! Все от них, от баб! А я не просто сука, я предатель, вот кто я.

Он съехал на мостовую и покатил к постовому милиционеру, который одиноко стоял на тумбе посреди площади. Я пошел следом за ним. Милиционер откозырял безногому полковнику.

— Где тут областное управление? — спросил Швец.

Милиционер снова козырнул и подробно объяснил, как туда добраться.

И мы поехали к подполковнику Малову, от которого зависело — получим мы свидание или нет. Ярославль еще спал. Небо было серым и низким. Лето сломалось, шла осень.

...Константина ввели в камеру, разделенную решеткой и частой сеткой, первым; моего отца внесли на руках два здоровенных зэка,— он дрожал, словно в ознобе, ноги свисали, будто ватные.

— Сынок,— обсмотрев меня, жарко зашептал он,— пиши товарищу Сталину, одна надежда, его обманывают враги!

Младший лейтенант Сургучев, ходивший взад-вперед по узенькому проходу между решеткой и сеткой,

кашлянул:

— Без фамилий и подробностей, иначе прекращу свидание!

Константин Швец усмехнулся, снисходительно, но ласково погладив моего старика по седой шевелюре:

— Папа, официально меня осудили за то, что я требовал напечатать письмо Ленина к съезду... Он ведь предлагал сместить с поста генсека партии Сталина...

— Разговоры! — испуганно воскликнул младший лейтенант Сургучев.

— Какое письмо?! — закричал полковник Швец.— Это клевета врагов народа, Костенька! Ты не смеешь верить вздору. Товарищ Сталин самый близкий друг и соратник Ильича!

— Сынок, родной, запомни,— вновь зашептал мой отец,— если ты сможешь передать письмо Иосифу Виссарионовичу, меня освободят завтра же!

Константин Швец посмотрел на моего старика с горьким состраданием.

— Ты приходил в мой институт, папа? — спросил он полковника.

— Да,— ответил Швец.

— Ты говорил, что я тайком читаю вражеские, клеветнические книги типа «Десять дней, которые потрясли мир»? Там ведь замалчивалась выдающаяся роль Сталина в Октябрьской революции, так?

— Да, говорил,— отчеканил Швец.— Я никогда ничего не таил от товарищей, только они и могли помочь тебе в беде.

— Вот они и помогли,— усмехнулся Константин.— Написали,— с твоих слов,— что я занимаюсь антисоветской пропагандой, статья пятьдесят восемь, все как надо...

...Той же ночью полковник Швец поджужжал на своей каталке к краю платформы и бросился под товарняк; я вернулся в Москву и написал письмо товарищу Сталину о несправедливом аресте отца — двадцатое по счету; воистину «двадцать писем к другу».

«СУДЬБА СОЛДАТА В АМЕРИКЕ»

В тот день я продал в букинистическом «Орлеанскую девственницу» с озорными иллюстрациями. За два тома уплатили триста рублей. Сто отложил на жизнь, а остальные спрятал во внутренний карман пиджака, чтобы перевести старику во Владимирский политический централ.

После букинистического я поехал к моему другу Леве Кочаряну. Он лежал на тахте и читал книгу Юлиуса Фучика. Тогда эта книга называлась «Слово перед казнью», потому что кому-то наверху «Репортаж с петлей на шее» показался натуралистическим и рекламным.

Я поднял Леву, и мы пошли в «Шары»,— так все называли маленькое кафе в проезде МХАТа. Мы тогда выработали особую походку,— точь-в-точь копия с американского актера Джима Кегни, который играл в фильме «Судьба солдата в Америке» бутлегера и драчуна. Перед гибелью он совершил массу всяческих подвигов и добрых дел. У него был коронный удар: резкий снизу — слева в скулу. Мы часто копировали этот удар: левой коротко снизу. Противник падал на затылок, и звук при падении был всегда одинаковым: словно били об асфальт старую керамику.

Уже после того, как эпидемия «Судьбы солдата» прошла, мы узнали, что настоящее название фильма было «Бурное двадцатилетие», но кинопрокат решил,— и правильно решил, конечно же,— что народу будет непонятно, про какое «бурное двадцатилетие» идет речь, возможны иллюзии, и поэтому появилось всем понятное название, и сначала на фильм никто не шел, потому что думали, что там про мучения безработных и про то, как угнетают негров, и только после того как его посмотрели человек сто из нашего института, началась настоящая эпидемия, и смотрели мы эту картину раз по десять, не меньше.

В «Шарах» мы выпили с Левой по стакану водки, закусили ирисками и, сглотнув слюну, поглядели на тарелки с сардельками и темно-бурой тушеной капустой, которые стояли под стеклом на витрине.

– Поедем на Бауманскую,– предложил Лева,– там сегодня в церкви танцы.

– Поедем,– согласился я.

И мы поехали:

Это было апрельской весной 1953 года. Сталин уже умер, Берия стал первым заместителем Председателя Совета Министров и министром внутренних дел, а врачи Кремлевской больницы, лечившие раньше правительство, по-прежнему считались агентами империализма и слугами тайной еврейской организации «Джойнт» – кровавыми убийцами в белых халатах.

...На Бауманской, в маленьком переулочке, который вел от рынка вниз к Почтовой улице, в глубине двора стояла старая церковь. Она была приземистой и какой-то уютно карапузистой, красного цвета, с громадными решетками на окнах. Церковь эту закрыли давно, когда все храмы Москвы закрывали. Сначала в этой церквушке устроили овощной склад, а после передали спортивному обществу «Спартак» для нужд секции боксеров и тяжелоатлетов. Три раза в неделю мы там тренировались на ринге у Виталия Островерхова, а по субботам устраивали музыкальные вечера. Внизу, в зале, где некогда звучали пропроведи, теперь танцевали мальчики с обрубленными челками «а ля Нерон», юные работницы окружных фабрик с толстыми, по-спортивному вывернутыми икрами, начинающие штангисты в китайских кедах и местные голубятники. Оркестр Миши Волоха располагался на том месте, где раньше были Царские врата. Джазисты в белых рубашках и черных галстуках самозабвенно играли попурри из «Судьбы солдата», а на хорах, куда сваливали весь спортинвентарь, стояли два дежурных оперативника,– на случай чего-либо непредвиденного.

Мы шли к церкви мимо Бауманского колхозного рынка. (Вообще-то дикость,– именем революционера называть базар!) Весеннее небо было предгрозовым. Над городом висела громадная черная туча. Ее края

были багровы от зашедшего солнца, и поэтому казалось, что над столицей реет черно-красный траурный стяг.

— Ринемся,— предложил Лев,— а то намокнем, складки сойдут, коленки выпрут.

— Дождя не будет,— сказал я,— ветер сильный.

Но дождь все же хлестанул по улице белой косой линией. Заухал гром, небо погасло, потом зазеленело, высветилось, треснуло пополам голубой линией — и начался весенний грохочущий ливень. Мы спрятались в подворотне. Мутный поток несся мимо нас вдоль по тротуару и ревел, низвергаясь водопадом через тюремные решетки сточной канализации. Дождь гремел, ярился и неистовствовал. Молнии высверкивали, пугая темноту неба отчетливой электрической безысходностью.

Откуда-то из глубины жуткого черного двора, словно Мельник из оперы Даргомыжского, вышел дед с маленьким котенком под мышкой. Котенок тихо мяучил. Дед ласково гладил его за ухом и мечтательно улыбался.

— Куда, старик? — спросил Лева.— Искать русалок?

— Вывелись они теперь,— ответил дед с услужливой готовностью,— одни гниды остались. А иду я этого пса топить, благо луж много.

— Какой же он пес? Он кот.

— Если б... Он — кошка. Вырастет, мяучить станет, кавалеров требовать, сон бередить.

— Перспективно смотришь,— сказал Лева,— трудно тебе, дед.

— Да уж нелегко.

— Давай котенка,— сказал Лева.

— Зачем?

— Заберем.

— Хрена. Плати пятерку. За так не отдам, за так лучше утоплю.

Я дал деду пятерку. Лева взял у старика котенка и посадил его к себе на плечо.

— Мурлычет,— сказал Лева.— Очень щекотно.

Дождь кончился так же внезапно, как и начался. Мы вышли из подворотни и стали спускаться к танцевальной церкви,— оттуда уже доносились быстрые звуки джаза.

...Танцы пятьдесят третьего года! Дай бог, чтобы памятливый искусствовед смог исследовать те совершенно особые вечера, когда официально рекомендованные к исполнению «па-де грасы» и «па д'эспани» соседствовали с запрещенными «буги-вуги», являвшими собою апофеоз буржуазного разложения. Стоило видеть, как юные спартаковские физкультурники и пожилые голубятники с латунными фиксами вышагивали аристократические танцы семнадцатого века, тянули мысочки и галантно приседали друг перед другом, словно маркизы в монархической Франции. Но едва только директор спортцеркви поднимался на хоры,— выпить чая в маленькой комнатушке вместе с оперативниками,— как джазисты, фанатики ритма и синкопы, ломали тянучий «па-де грас», трубы начинали реветь, страстно ухали саксофоны, и спортсмены с голубятниками бросались на своих подруг, весело и страстно перебрасывая их с руки на руку, а подруги смеялись и румянились наивным и чистым весельем.

Трубач — горбоносый красавец в белой рубашке с узеньким, длинным черным галстуком, завязанным по тогдашней моде узелком величиной с ноготь,— подошел к микрофону, постучал по нему мизинцем и запел на ужасном английском песенку из «Судьбы солдата»:

Кам ту ми, май меланколи бэби,
Кам ту ми энд донь би блю,
Сайл май хани дир,
Смайл антил вил би ин лав,
Ор элс шел би меланколи ту...

Зал стонал от восторга, Миша Волох врубил самодельный зеркальный прожектор, и по лицам танцующих побежали мертвенно-голубые блики. Теперь все

танцевали медленно, нагнувшись над подругами плохо выведенными вопросительными знаками, чуть покачивая головами в такт танго, словно дрессированные лошади на манеже.

Видимо, почуяв неладное, начальник спортцеркви выскочил из комнатушки на хорах. Джазисты сразу же заметили его и, сломав ритм, затянули «па-де грас». Спортсмены и голубятники немедленно перестроились, развернули подруг в графские позиции и стали приседать перед ними, выворачивая ноги, как истые аристократы семнадцатого века в эпоху предреволюционной Франции. Начальник церкви ушел, успокоенный, и джазисты снова перешли на «Судьбу американского солдата».

Мы протолкались с Левой поближе к сцене: там было раскрыто высокое стрельчатое зарешеченное окно. За этим раскрытым окном была черная после ливня, рассветающая и расцветающая ночь. Котенок, который сидел у Левы на плече, смотрел в окно желтыми глазами и, часто жмурясь, устало мурлыкал.

— Как будешь танцевать? — спросил я Кочаряна.

— Ничего. Котенок не помешает.

В поисках девушек мы разошлись по залу: он налево, я направо. Я видел, как Лева проталкивался вдоль стены, а котенок сидел у него на плече,— выгнувшись, подняв хвост трубой; все оборачивались и смеялись, а Лева, похожий на Мцыри, был бледен и невозмутим. Потом я нашел себе девушку и пригласил на па-де-де. Она танцевала, не глядя на меня, отвернув лицо, лениво разглядывая отсыревшие стены церкви. Такой был в те годы стиль: танцевать молча, не глядя друг на друга,— очень плотно прижиматься, но молчать и не замечать партнера. Девушка оказалась хорошо натренированной спортсменкой. Я понял это, потому что спина у нее на ощупь была гимнастическая: две горы, а посредине ложбинка.

— Если вы раз врежете,— сказал я девушке,— не поздоровится.

Она ничего не ответила, будто не слыхала.

— Вы очень крепкая, прямо стальная,— продолжал я осторожные ухаживания. Я тогда еще был неопытный, я полагал, что такие комплименты приятны девушке. А ей-то, даже чемпионке по толканию ядра очень хочется чувствовать себя слабой подле мужчины. Ей обязательно надо быть уверенной в его превосходстве, иначе ничего путного не выйдет.

— Видимо, вы — баскетболистка? — прокашлявшись, спросил я.— Первый разряд? Или мастер?

— Можете не болтать? — сердито откликнулась девушка.— Танцевать трудно.

Я обнял ее еще крепче, она сразу же податливо прижалась ко мне, но голову отвернула чуть не назад, будто кукла с резинкой вместо шеи. Я мог спокойно разглядывать ее профиль и даже часть затылка — так она отвернулась от меня. Но я не успел ее толком разглядеть, потому что заметил в углу, возле двери,— оцинкованной, как в мясном магазине,— толпу, которая стремительно росла. А посредине толпы стоял Кочарян с отсутствующим взглядом. На плече у него сидел котенок, а два парня подталкивали Леву к выходу.

— Вы не умеете себя вести,— говорил один.— Додумались: котенка принести на танцы!

— Распоясались тут! — говорил второй.

Я извинился перед девушкой и протолкался к Леве.

— В чем дело? — спросил я.

— А вас не спрашивают! Отвалите-ка подобру-поздорову,— сказал первый парень,— и не хулиганьте в общественном месте!

— Кому мешает котенок? — холодно допытывался Лева.— У вас есть заявитель?

— Заявителя нет, но котенка вносить в общественное помещение не разрешается!

— Где это записано? — спросил я.

— Да! Где это записано?! — оживился Лева.— В правилах это есть?

— Есть!

Толпа напряженно выжидала, когда выявится победитель, чтобы тут же поддержать его.

– Предъявите правила! – потребовал Лева.

– Хватит с ними валандаться! – сказал первый и, взяв Леву за рукав, попросил: – Очистите помещение, гражданин.

– Не применяйте силу,– попросил Лева.– Вы не в Америке, а в Москве!

Мы часто пользовались этим приемом. Мы напоминали в таких сварах, что живем в демократической стране, а не в Америке, и что у нас нельзя допускать произвол в отношении гражданина. Это многих отрезвляло, и драка не начиналась, и все мирно рассеивалось. Но в этот раз ничего не вышло,– парни попались какие-то несознательные. Один из них ловко сорвал с Левиного плеча спящего котенка и швырнул его в оцинкованную дверь. Котенок пронзительно закричал. Лева сделал короткое движение,– точно как Джим Кегни, и парень растянулся на полу с разбитым ртом,– его губы стали ярко-пунцовыми, как у размалеванной проститутки.

Лева рванулся было к двери, где кричал котенок, но ему в ноги кинулся малолетка, и они упали возле сбитого парня. Началась свалка. Сбили и меня. Сквозь пальцы, прижатые к лицу, я какое-то мгновение близко видел трухлявый пол церкви, бело-красный кухонный кафель возле оцинкованной двери, чей-то полуботинок – замша с лаком – и котенка с желтыми глазами.

А потом я ослеп от боли, потому что мне наступили каблуком на кисть правой руки,– это был довольно распространенный прием шпаны, чтобы не позволить тебе драться: попробуй, ударь распухшими пальцами! Впрочем, Лева Кочарян умел продолжать схватку, даже если целая кодла прыгала прохарями и микропорками на кистях,– лишь бы подняться. Если он находил силы вскочить, то сразу, каким-то животным чувством определял пахана, прыгал на него, как футболист на мяч, летящий вдоль ворот, и нано-

сил в падении страшный удар лбом в лицо; на какой-то миг оно делалось сахарно-белым, словно обмороженным, а уж потом превращалось в кровавое месиво. Не глядя на валявшегося пахана, Лева мгновенно поднимался, нацелившись на одного из малолеток; тот, как правило, пускался бежать. А если один дал деру, вся кодла развалится, потому что она сильна общностью, до первой трещины, и чтоб пахан стоял королем.

Лева умудрялся отмахиваться от самых грозных банд, потому что вел себя, как Джим Кегни: «самое страшное, что может случиться,— перо в бок. А кто в наше время гарантирован от этого?»

Но здесь, в спортцеркви, Лева допустил ошибку: он не учел, что люди не простят ему такой разнузданности,— котенка, видите ли, принес на танцы! Люди культурно отдыхают, а этот припер животное, надо ж так презирать общество?! Поэтому, повалив, его били по-черному, не оставляя шанса подняться. Если б вел себя, как все, не выдрючивался, поучили б сколько надо, раз заслужил, и — все. Но здесь был случай особый, высшее проявление индивидуализма, такое прощать нельзя, до добра не доведет...

...А потом была милиция, трехчасовое составление протокола за нарушение общественного порядка, перенос Левы в машину «скорой помощи», потому что ему переломали три ребра и ключицу, а после — раннее утро, перезвон колоколов на Елоховском соборе и отчаяние, потому что двести рублей, отложенные для передачи отцу, пропали во время драки. Денег нет, Лева в больнице, никто не поможет достать две сотни, а в тюрьму разрешалось пересылать двести рублей раз в полгода и одно письмо в год, и если я завтра не перешлю деньги, отец останется без курева, маргарина и мыла, а завтра — последний срок, потом надо ждать еще шесть месяцев, во владимирском изоляторе зорко следили, чтоб вражинам не было поблажек.

Я шел по рассветающему городу. На стендах уже расклеили утренние газеты. В передовице «Правды»

сообщалось, что еврейские врачи-убийцы и отравители в белых халатах – профессора Виноградов, братья Коганы, Вовси – не были агентами тайной организации «Джойнт», а представляли цвет многонациональной советской медицины. Сообщалось также, что на самом-то деле «Джойнт» – это английское слово «объединенный», а народный артист Михоэлс – никакой не враг, а гордость советского народа. И еще в передовице говорилось, что бывший заместитель министра Рюмин грубо нарушал пролетарский интернационализм и социалистическую законность,– за это он освобожден от занимаемой должности и арестован.

Вернувшись домой, я заметил в почтовом ящике конверт со знакомым штемпелем.

Я даже похолодел от внезапно возникшего чувства отчаянной радости. Наверняка на этот-то раз сообщат, что отец освобожден, что никакой он не член «запасного правого центра», а настоящий большевик, надо срочно ехать за ним во Владимир,– ходить старик не может, видимо, хотят, чтобы я привез его в свою комнату тихо и незаметно, зачем разжигать ненужные страсти, даже в семье бывают ссоры и неприятности, а тут такая огромная страна, всякое могло случиться... Я вскрыл конверт; там был узенький листочек бумаги: «Ваша жалоба рассмотрена, отец осужден Особым совещанием правильно, оснований для пересмотра дела не имеется».

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СВОБОДЫ

Он сидел в кресле у парикмахера. Половина его лица была намылена, а половина уже гладко выбрита. Он шмыгал носом и кривил губы, разглядывая себя в зеркале.

– Привет, старик! – сказал он, заметив меня. Он сказал это спокойно и просто, будто мы расстались вчера, а не пять лет назад.– Что будем делать? Хорошо бы пойти куда-нибудь к женщинам и слегка попить, а?

Он был смешным парнем до ареста. Его считали главным хохмачом во дворе. На спор он снимал брюки и, перекинув их через плечо, как плащ, гулял в длинных синих трусах и накрахмаленной рубашке по Можайскому шоссе. А еще он умел смешно говорить в рифму. Особенно это нравилось продавщицам из рыбных магазинов. Вечером, отсидев часок в обществе интеллигентов, которые, включив радио на полную мощность, жарко говорили о трагедии художника в наш век, он прочитывал им свои новые стихи и потихоньку сваливал к девицам: болтать в рифму, есть свежую рыбу и развлекаться в постели. Раздевая очередную продавщицу, он плел:

— Жил на свете милый Блюм, положили Блюма в трюм, попросили не блевать и не какать на кровать!

Его все звали Блюмом: и рыбные девицы, и мы, друзья. Никто не звал его по имени. Даже участковый, составляя протокол за то, что он купался ночью в фонтане, где воды было по щиколотку, записал: «Означенный Блюм плескался в фонтане и кричал, как Тарзан, изображая из себя обезьяну Читу».

Однажды Блюм пошел на первомайскую демонстрацию. Ему доверили нести портрет Лаврентия Павловича. Блюм шел в правой колонне и должен был, проходя мимо трибуны, провозгласить лозунг в честь нашего родного правительства. А он, подняв что было сил портрет Берии, выкрикнул:

— Да здравствует наше родное Ваше Величество!

Он был напичкан историями, которые знал от матери и помнил от отца, расстрелянного в тридцать восьмом году с группой писателей. Особенно много историй он знал про Лазаря Моисеевича, потому что его мать работала в театре Революции, а Каганович часто туда ездил. Блюм рассказывал, как однажды в тридцатых Каганович приехал смотреть спектакль «Самоубийца», поставленный по пьесе Эрдмана. Каганович сидел в зале один, а возле всех проходов, где горели синие и красные фонарики, стояли сотрудники

НКВД, охранявшие жизнь ближайшего соратника товарища Сталина.

Лазарь Моисеевич смеялся до слез: Эрдман написал злую и веселую комедию. За кулисами бедные актеры сжимали друг друга в объятиях и шептали:

— Все-таки правда торжествует! Ты видел, как он добро смеялся?

Они теперь были убеждены, что Каганович разрешит этот запрещенный спектакль. Когда занавес опустился, Лазарь Моисеевич сунул в карман неизменные четки и начал аплодировать, продолжая весело смеяться. За кулисами был праздник. К Кагановичу подбежал директор.

— Это великолепно и зло,— сказал Лазарь Моисеевич,— прекрасная, мужественная и разящая сатира, бьет наповал. Немедленно снять, немедленно. Разве это нужно показывать москвичам? Кому нужны зловещие тени, выведенные талантом выдающихся художников на сцену? Никому,— закончил он, подтвердив свои слова округлым жестом левой руки — точно таким же, какой был у гениального зодчего нашего счастья, когда тот закуривал неизменную трубку.

После двух лет знакомства я привык к веселому Блюму, который бродит по улицам без брюк, спит с продавщицами и, ошалев от водки, купается в пересохших фонтанах. Но, узнав о расстреле секретаря ЦК Кузнецова, который честно дрался всю ленинградскую блокаду, Блюм зачитал:

Ныне юродствуете во Христе,
Но ваша лояльность сомнительна,
Партию вам не распять на кресте,
Товарищи, будьте бдительны!

Это было так не похоже на все, сказанное им за два года нашего знакомства, что я опешил и быстро оглянулся по сторонам. Мы гуляли по еврейскому кладбищу. Оно тогда было на берегу Москвы-реки, где теперь стоят красивые новые дома и школа-одиннадца-

тилетка. Там была одна поразительная могила, мы очень любили ее. На сером камне по-русски и еврейски было написано под синим фарфоровым портретом хорошенькой девушки: «Илька Дэмон, которую убили при погроме. Прощай, доченька, твой папа Хайм Мойша Цырульникь».

Я оглянулся еще раз; на кладбище было пусто и тихо. По Москве-реке картинно плыли баржи, гулко басили катерки; на другой стороне реки в парке Красной Пресни высверкивала иллюминация. Там сегодня было народное гулянье, посвященное очередному снижению цен. Тогда каждый год снижались цены на галантерею, бриллианты и крахмал, но одновременно на всех заводах повышались расценки, выходило так на так, но про расценки не печатали, а о снижении цен радио говорило с шести утра, а уж в девять начинали объяснять комментаторы, приводя отклики буржуазной прессы. Мы шли молча, а потом Блюм возгласил голосом диктора Юрия Левитана:

— Цены на куриный помет снижены на семнадцать процентов!

Однажды, гуляя по улице Горького, он начал жечь свои волосы, поднося к ним свечку, и при этом громко кричал: «А вот идет космополит, Еврей Иваныч Айболит!»

Это было в дни, когда печатались статьи про безродных космополитов, продавших родину за иностранные самописки.

Это бы все ничего, за это бы, наверное, Блюма не посадили. Но в милиции, куда его забрали из-за свечки,— явное нарушение порядка,— он стал метаться по дежурной комнате, а когда его скрутили, чтобы успокоить и отправить в медицинский вытрезвитель, он заорал: «Ну что ж! Смейся, хохмач! Кулаком меня в рожу бей! Но ети вашу мать, все-таки я еврей!»

На беду в это время в дежурку зашел один из руководителей районной милиции Павел Федорович Гроднер, подполковник. Он всем говорил, что по на-

циональности литовец. Услыхав стихи Блюма, он закурил «Герцоговину Флор» и стал молча расхаживать по дежурке.

— Пьяный дурак,— сказал наконец Гроднер,— что ты болтаешь, что?

— Иуда, ты откуда? — тут же ответил Блюм в рифму.

Лицо Гроднера стало скорбным. Дежурный лейтенант фыркнул и сказал старшине, который доставил Блюма в отделение:

— Литовцы, одно слово...

Гроднер бросил папиросу в зеленую деревянную урну и, став совсем серым, сказал дежурному:

— Оформляйте протокол и позвоните в аппарат товарища Абакумова.

Оттуда приехали и забрали Блюма. А через месяц, посидев в Сухановке, он начал говорить все, что хотел его следователь. Он сказал про многих из нас. Часть ребят забрали, часть оставили,— «на разживу». Тех, кого забрали, судили в трибунале за попытку покушения на жизнь товарища Сталина. Руководителем «террористической группы» следователь уговорил стать Блюма, гарантировав ему хороший лагерь и дополнительное питание в тюрьме. Все ребята получили по смертной казни с автоматической заменой на двадцать пять лет каторожных лагерей. Самому старшему «террористу» Блюму было девятнадцать лет.

Гроднера, который сдал Блюма, тоже вскоре забрали, как «язычника», очищая кадры органов от «литовцев». Сидя в камере с Блюмом перед этапом, Гроднер поучал его:

— Чудак, тебя обработали, как куренка. Разве можно колоться и сдавать людей? Надо было брать на себя анекдот, получать пятерку по Особому совещанию и мотать в лагерную самодеятельность.

— Сука,— сказал Блюм грустно,— жидовская морда. Пусть твой папа Гроднер вертится в гробу пропеллером, сука. Ему будет плохо за такого просексоченного сына...

...Блюм вышел из парикмахерской красивым, хотя несколько ссутулившимся. Он сильно полысел за эти годы. И потом у него изменилась походка: она стала какой-то суетливой, непомерно быстрой.

– Ты чего семенишь? – спросил я.– Идешь как балерина...

– Там были деревянные колодки,– ответил он, шмыгнув носом,– соскакивали, заразы. Ну, ты придумал, куда двинем?

– Да. Нас ждут редакторши кино.

– Старухи?

– Что ты... Выпускницы ГИКа, они боготворят тебя заочно, с моих слов.

Мы сели в троллейбус. Блюм прилепился к стеклу и начал вертеть головой, как птица.

– Слушай, а сколько стоит мороженое? – спросил он.

– Смотря какое.

– Мне там часто снилось шоколадное эскимо на палочке.

Вдруг, просветлев лицом и став прежним Блюмом, он возгласил:

– Ешьте зернистую икру, это питательно и вкусно!

– Ты что? – удивился я.

– Ничего. Просто читаю объявление. Вон, видишь на стене дома.

Он помолчал немного, а потом выкрикнул на весь троллейбус:

– Ешьте мороженое, оно холодное и вкусное, и не ешьте дерьмо, оно невкусное, хоть питательное!

Пассажиры, слышавшие его реплику, стали смотреть в разные стороны, будто ничего не произошло. Блюм внимательно оглядел их и скорбно заметил:

– Все в порядке, ничего не изменилось. Люди по-прежнему хорошо воспитаны. Хоть бы один сказал, что я подонок! Нет, молчат, как мыши.

Редакторши, у которых я пасся в тот год, увидев Блюма, стали молчаливо-торжественными. Они быст-

ро затащили его в комнату, чтобы Блюма не увидели соседи, и стали просить, чтобы он рассказал им свою одиссею. Они теребили его, трогали за руки и смотрели на него влажными глазами. Блюм поначалу улыбался, лицо его стало жалким, а потом на скулах выступили красные пятна:

– Девочки, какая к черту одиссея, когда у вас тут эдакий цветничок!

И залился идиотским смехом,– похрюкивая и брызгая белой слюной. Редакторши недоуменно переглянулись. Тогда Блюм, юродствуя, перецеловал каждую, приговаривая:

– Ах, девочки, вы себе не представляете, какое это счастье прикасаться к гибкому женскому стану!

Бедные редакторши стали поочередно выскакивать в коридор. У девушек вообще есть манера выскакивать в коридор, а особенно если их трое, а нас двое, да еще один из лагеря. Они там консультировались, как быть дальше. Одна из редакторш, Мика, вернулась первой, села возле Блюма и сказала:

– Вы, наверное, ужасно устали, милый...

– Почему? – удивился Блюм.– Я ничуть не устал, крошка,– и он положил ей ладонь на грудь.

– У вас в глазах столько горя,– Мика осторожно отодвинулась.

– Какое там горе,– хихикнул Блюм, подсаживаясь еще ближе к Мике.– Нет никакого горя, когда рядом такая крошка, как ты!

– Сейчас я принесу кофе,– сказала Мика и вышла.

– Сколько у них станков? – спросил меня Блюм.– Где мне с ней примоститься?

– Не гони картину, они ж не проститутки.

– Какая жалость. А долго надо с ними разводить матату?

– Ты что – забыл?

Блюм внимательно посмотрел на меня:

– Да. Потому что там мы онанировали не на разговоры, а на репродукции с Рембрандта, где были изображены толстые женщины. Нам было не до разгово-

ров,— надо было поскорей управиться и сразу спать, мы ж начинали валить лес в шесть...

Вошли редакторши. Они несли поднос. На подносе были две бутылки водки и маленькие бутербродики, сделанные на западный образец.

— Ого,— сказал Блюм,— пожрем, девочки!

И он начал запихивать в рот бутерброды, поправляя их указательными пальцами обеих рук.

— Кир! — возгласил он торжественно.— Да здравствует кир водяры!

Бедные редакторши старались на меня не смотреть. Блюм налил себе стакан водки и начал медленно пить: иногда, замирая, он полоскал горло, будто это вовсе не водка, а боржоми с молоком. Выцедив стакан, он, зажмурившись, рыгнул:

— Девочки, давайте музыку.

— Вы, наверное, там совсем не слышали музыки,— сказала Мика, включая магнитофон.

— Почему же? — обидчиво ответил Блюм.— Я там играл в джазе.

— Где?!

— В джазе. Контрабасистом.

— У вас был джаз?

— В каждом лагере был свой джаз.

— Вы там изголодались,— сказала Мика,— берите бутерброды, они сделаны специально для вас.

— Почему это я изголодался? Я воровал, я был сыт.

Я понял, что Блюм завелся. Наверное, он обиделся, когда редакторши крадучись вели нас по коридору, чтобы не слышали соседи. Не зря, видно, Блюм тогда громко заметил мне, что он реабилитированный, а не амнистант.

— У кого воровали? — допытывалась Мика.

— У большевиков,— усмехнулся Блюм,— они доверчивые...

— Что вы такое говорите, Блюм?! — ужаснулась Мика.

— Правду,— ответил он,— только правду и ничего, кроме правды!

– Но...

– Хватит,– сказал Блюм.– Мне надоело кудахтанье. Пора перейти к телу.

Редакторша Лиля сказала:

– Я должна поработать в фундаменталке.

– А я к Юткевичу,– поднялась редакторша Надя.

– Счастливо,– сказал Блюм.– Только возвращайтесь попозже, а то мы с Микой не управимся.

– Вы не умеете себя вести,– сказала Мика.

– А вы разве девица? – осведомился Блюм.

– Я не девица, а вы совсем не умеете себя вести.

Надя и Лиля вышли. Мика выключила магнитофон и встала к двери.

– Иди ко мне, цыпочка,– сказал Блюм, дожевывая бутерброды,– я сделаю тебе больно и хорошо.

– Уходите прочь,– сказала Мика.– Мне совестно за вас.

– Сейчас, – ответил Блюм,– минуточку.

Он выпил еще один стакан водки и потер лицо пятерней так, что появились красные полосы.

– Дура,– сказал он, поднявшись.– Ты хотела, чтобы я говорил о красивых страданиях? Страдания всегда уродливы, а я не клоун. Или плати мне, как проститутке, тогда я буду выдавать тебе сюжеты про муки интеллигентов в каторжных лагерях.

– Блюм,– тихо сказала Мика, и глаза ее засияли,– простите меня, Блюм.

– Я вам не Блюм,– ответил он.– В миру меня зовут Юрой.

– Сволочи,– говорил он, пока мы ехали в Парк культуры,– им хотелось аттракциона: страдалец на файф-о-клоке. Хрен в сумку.

Он прижался лбом к стеклу, надолго замолчал, а потом выкрикнул:

– Хорошо по первопутку на санях барать якутку!

И снова в троллейбусе все, словно по команде, стали смотреть в разные стороны.

– Что с тобой? – спросил я.

– Ничего. Просто там я стал истериком. Оказалось, что это даже удобно – быть истериком. Я, когда орал и бился на земле, мог думать о чем хотел, а потом еще выцыганивал освобождение на день.

Мы нашли двух девушек перед самым закрытием парка. Одна из них была продавщицей. Я понял, что Блюма ждет счастье. Но он, вместо того чтобы сочинять в ее честь рифмы вроде прежних: «жил на свете старый Блюм, положили Блюма в трюм», начал читать стихи из цикла «Город», написанные им в одиночке. Мы шли к Новодевичьему монастырю: в те годы там находили себе пристанище не только покойники, но и влюбленные. Блюм читал:

Друг другу протянув мосты,
Уснули берега.
Опавших с неба звезд цветы
Куда-то мчит река.
И заглядевшись с высоты,
До утренней зари
Глядят ревниво фонари
Во влажные черты.

Девушки переглядывались, потому что не знали, как себя вести. Блюм смотрел на толстую продавщицу влюбленными, сияющими глазами:

Уже много дней и сегодня опять,
Облака вроде сколотых льдин,
Шалый ветер бросает листву умирать
К равнодушным ногам машин,
Уже много дней дожди без конца,
Полотняных туманов надрыв,
Как будто бог-сын потерял отца
И плачет, лицо закрыв.[1]

1 Стихи Юрия Киршона, написанные в тюрьме.

Девушки стали весело смеяться, и Блюм тоже начал смеяться вместе с ними, то и дело поглядывая на меня. Он смотрел на меня, будто школьник, забывший урок.

– Как вас зовут? – откашлявшись, спросил Блюм продавщицу.

Та игриво поинтересовалась:

– А зачем?

– Хотите выйти за меня замуж? – предложил Блюм.

– Ой, Маш, не могу,– засмеявшись, сказала девушка.

Ночь разламывалась рассветом, которого еще не было. Но рассвет угадывался во всем: и в том, как почернела вода в реке, пожелтели фонари на набережной, и в том, как прозрачны и прекрасны сделались наши лица, в весеннем предрассветье лица людей всегда прекрасны и трагичны.

– Что же будем делать, девочки? – тихо спросил Блюм.– Я хочу, чтобы вы шли рядом с нами по набережной, а я бы читал вам стихи всю ночь, а если захотите, все утро и весь день...

– А работать когда? – спросили девочки.

– Я бы читал вам самые нежные стихи, какие только знаю,– исступленно продолжал Блюм.– Я бы рассказывал вам про то, на каком страшном и мучительном разломе мы живем, я бы пел вам буддистские гимны, которые уверяют, что середина столетия всегда приходит с добром и возрождением.

Девушки испуганно переглянулись. Я заметил, как продавщица тихонько толкнула локтем подружку. Та чуть заметно кивнула головой и стала оглядываться по сторонам.

– Ты понимаешь, девочка,– говорил Блюм продавщице,– что скоро станет утро, которое, по пророку Исайе, всегда приходит с радостью, и мне очень хочется, чтобы эта радость коснулась и тебя!

Мы поравнялись с двумя такси. Наши спутницы ринулись в первую машину и стали испуганно кричать

шоферу:

— Скорей гони, шеф! Гони скорей, он псих ненормальный!

Тогда и второй шофер дал газу, и обе машины унеслись.

— Ты испугал девочек, Блюм,— сказал я.— Ты стал в лагере придурком.

— Я стал в лагере не только придурком, но еще электромонтером, контрабасистом, жуликом и импотентом,— ответил Блюм.— Правда, вешаться я пока погожу, потому что мне очень хочется посмотреть корриду, которая все-таки будет до того, как взойдет солнце.

...Он позвонил ко мне ранним утром. Его голос грохотал в трубке счастьем и добротой. Он кричал:

— Скорей приезжай! Сейчас я тебе дам адрес. Я нашел колоссальную чувиху. Она старая, живет в подвале, и окна у нее зарешеченные! Такая прелесть, честно, такая прелесть! Я почувствовал себя на свободе, понимаешь? Я почувствовал себя на свободе!

Я знал его хорошо. Со мной он никогда не играл. Если он говорил так — значит, он говорил правду.

СОДЕРЖАНИЕ

При исполнении служебных обязанностей 7

Утро рождается ночью 167

Рассказы 201
Бирюсовая коса 205
Эта прекрасная Арктика 217
Лахме вернется в 8.00 223
Не опоздайте на последний поезд 241
Песчаная дорога в лесу 243
Товарищи по палатке 246
Путь в новогоднюю ночь 277
Голубые города 311
Ночное дежурство 315
Тропа 322
Из рассказов об Одессе 328
37-56 344

В ранее вышедших томах собрания сочинений Юлиана Семеновича Семенова опубликованы следующие произведения:

Том 1	**Бриллианты для диктатуры пролетариата.**
	Пароль не нужен.
	Нежность.
Том 2	**Альтернатива.**
	Третья карта.
Том 3	**Майор «Вихрь».**
	Семнадцать мгновений весны.
Том 4	**Приказано выжить.**
	Отчаяние.
Том 5	**Петровка, 38.**
	Огарева, 6.
	Противостояние.
Том 6	**Повести и рассказы.**
Том 7	**Версии.**
Том 8	**Пересечения.**
	Тайна Кутузовского проспекта.
	Непаписанные романы.
Том 9	**ТАСС уполномочен заявить.**
Том 10	**Межконтинентальный узел.**
	Дипломатический агент.
Том 11	**Экспансия I.**
Том 12	**Экспансия II.**
Том 13	**Экспансия III.**
Том 14	**Испанский вариант.**
	Бомба для председателя.
Том 15	**Пресс-центр.**
Том 16	**Аукцион.**
	Лицом к лицу.

Семенов Ю.
Собрание сочинений: т. 17.
«При исполнении служебных обязанностей» – М.; ООО «Фирма ЭГСИ», 1997 г. – 400 стр.

Кроме повести «При исполнении служебных обязанностей» в 17-й том собрания сочинений включены рассказы 60-х годов. В авторском комментарии к книге «Новеллы» Ю.Семенов писал: «Писатель обязан быть бродягой в самом лучшем смысле этого слова. Собирая материал для романа «Пароль не нужен», я был на Дальнем Востоке, в Сибири, на Крайнем Севере. Я жил среди тех людей, которые рождались впоследствии вторично как герои моих романов. Эти рассказы очень разноплановые, я бы даже сказал разношерстные, носят характер в некотором роде исповедальный. Я отдаю на суд читателя рассказы, которые не были зарнее задуманы, а явились «сердцеизлиянием». Прорвали строй работы над романом и заставили – сами по себе – написать их. Все эти рассказы рождены записными книжками памяти. Выдуманных персонажей в них нет. Только в некоторых несколько изменены фамилии.»

Цикл новелл «37–56» также был написан в начале 60-х годов, когда писатель работал над повестью «При исполнении служебных обязанностей», одной из первых в ряду так называемой «антикультовской прозы», которая с 1961 года не переиздавалась в нашей стране.

ББК 84.3Р7

Приазовское отделение АО "Укрпрофздравница" приглашает посетить курорты на побережье Азовского моря.

Мы предлагаем Вам отдохнуть на живописных курортах Бердянска, расположенных на берегу Азовского моря у основания Бердянской косы, и Приморска - по берегам впадающей в Азовское море степной речки Обиточной.

Санатории и оздоровительный комлекс "Золотой берег" принимают отдыхающих круглогодично.

Продолжительность курса лечения в санаториях составляет 24 дня.

Продолжительность отдыха в "Золотом береге" - 12 дней, возможны варианты - с лечением и без лечения.

В летний период работают базы отдыха, туристические комплексы и детский оздоровительный центр (ДОЦ) "Красная гвоздика".

Продолжительность отдыха:
в ДОЦ "Красная гвоздика" - 20 дней,
на базах отдыха - 15 и 18 дней.
Детям до 7 лет стоимость путевки на базы отдыха - 50%.

Мы работаем и с частными лицами и с организациями.

Телефоны нашего Российского представительства в Москве:
913-87-44, 913-94-72, 452-88-16, 446-46-89, 446-04-64.

Будем рады всем желающим отдохнуть и поправиться на наших курортах.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФИРМА ЭГСИ»

Уважаемые читатели!

Наше издательство, обладающее эксклюзивными правами на издание собрания сочинений **Юлиана Семенова**, сообщает, что в следующих томах будет опубликовано:

Тома 18 и 19: – **Отчеты по командировкам.**

Далее планируется опубликовать: – **Горение** и некоторые другие произведения, а также, по многочисленным просьбам читателей, выпустить дополнительными тиражами ряд ранее вышедших томов, начиная с четвертого.

Для оптовых покупателей:
телефоны: (095) 913–8744,913–9472;
телефон/факс: (095) 452–8816.

В Москве реализация книг нашего издательства осуществляется в следующих магазинах:

– магазин №2 Южного Агентства Печати,
Б. Факельный пер., 3, метро «Таганская», ☎ ***911–2107***
– ООО «Восход»
Ярцевская ул., 34, метро «Молодежная», ☎ ***149–1125***
– ТОО «Тотем»
Минская ул., 14, метро «Филевский парк», ☎ ***144–5567***
– ТОО «Фрам»
Кутузовский пр., 24, метро «Кутузовская», ☎ **243–2795**
– ТОО «Аскольд»
Физкультурный пр., 11/25, кор. 6, метро «Багратионовская», ☎ ***148–9480***
– ТОО «Ирена–Сервис»
Руставели ул.,8,метро "Дмитровская" ☎ ***219–9505***

В других городах России реализация наших книг осуществляется:
г. Казань – ☎ (8432)–55–22–64, 55–00–91, **г. Краснодар** – ☎ (8612)–57–46–96, 54–53–77,
г. Набережные Челны – ☎ (8552)–58–53–53, **г. Нижний Новгород** – ☎ (8312)–33–65–05,
г. Новокузнецк – ☎ (3843)–44–71–18, **г. Новосибирск** – ☎ (3832) –11–19–08,
г. Омск – ☎ (3812)–65–24–09,**г. Оренбург** – ☎ (3532)–44–88–52,
г. Тверь – ☎ (0822)–33–52–11, **г. Тольятти** – ☎ (8482)–34–94–57,
г. Туапсе – ☎ (86167)–2–31–12, **г. Тихорецк** – ☎ (86196)–2–27–71,
г. Ярославль – ☎ (0852)–22–48–24.

Наше издательство заинтересовано в установлении прямых контактов с книготорговыми организациями в других регионах, покупающими наши книги в Москве у посредников.

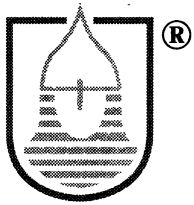
Иногородним покупателям книги высылаются наложенным платежом. Читателям, получавшим ранее наши книги по почте от других организаций и желающим получать их в дальнейшем (напрямую от издательства, без посредников), а также читателям, желающим получать книги по почте, но не приславшим нам ранее заказы, необходимо сделать предварительный заказ. Мы также высылаем ранее вышедшие тома из собрания сочинений **Ю.С.Семенова** и другие книги. Желающим получить полный каталог рассылаемых нами книг необходимо выслать в наш адрес конверт с Вашим адресом.

Заказы на книги и каталог просим высылать по адресу:

121353, г. Москва, п/о 353, Издательство "ЭГСИ"

С уважением к таланту и личности автора

Коммерческий банк



Русич

г. Москва тел. 452-88-16

Литературно-художественное издание

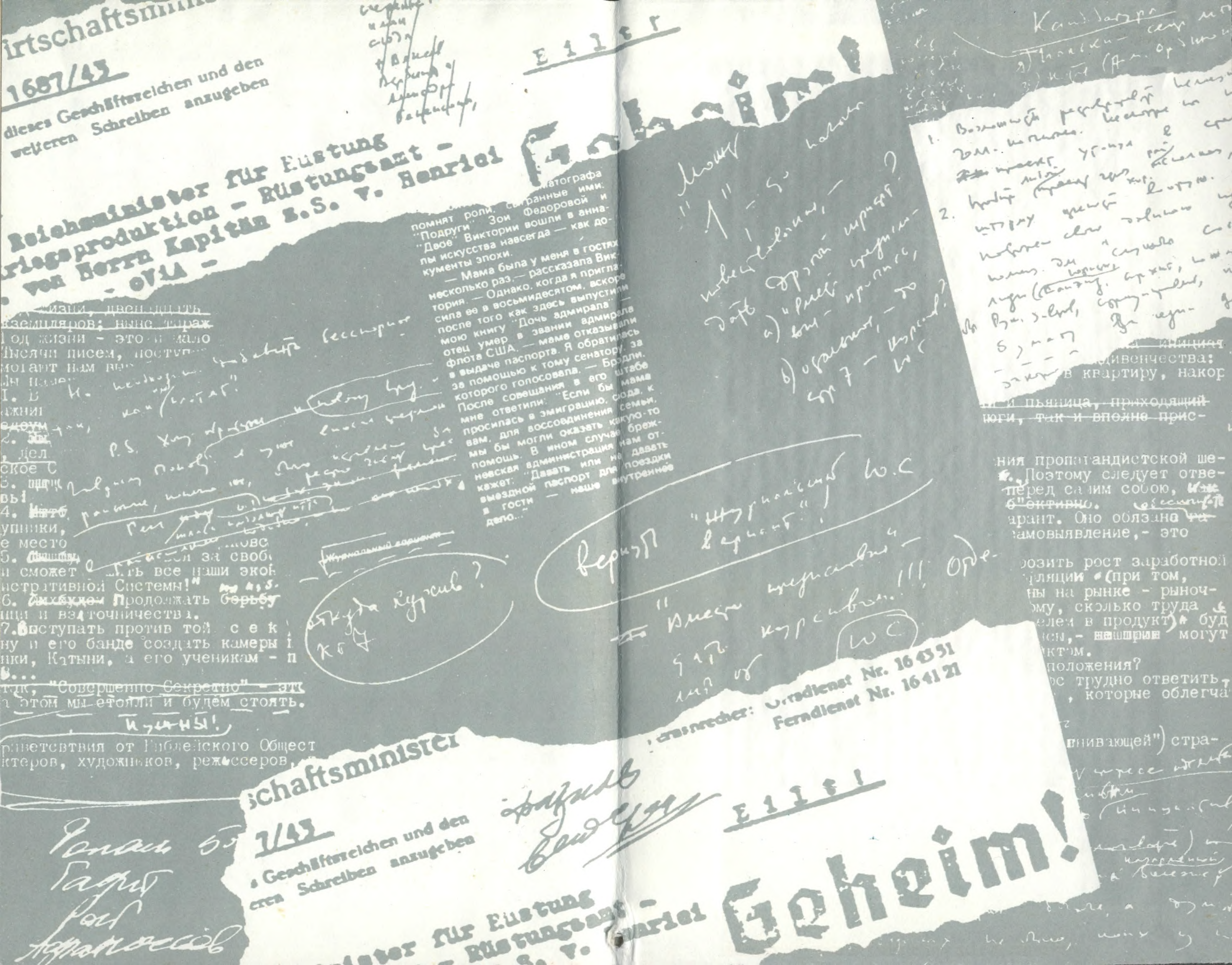
Юлиан Семенович Семенов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. ТОМ СЕМНАДЦАТЫЙ

Редактор Д.О. Грошев
Художники М.Н. Шестопал, В.С. Помочилин, В.М. Беляков
Технический редактор Г.В. Жигалова
Корректор Г.Н. Грошева

ЛР № 064288 от 14.11.95 г.
Подписано в печать с готовых диапозитивов 05.03.97. Формат 84x108 $^{1}/_{32}$,
Бумага типографская № 2, Гарнитура Литературная, Печать офсетная.
Усл. печ. листов 21,00. Усл. кр. отт. 21,63. Уч.-изд. листов 17,41.
Тираж 20000, Заказ № К-936.
117454, г. Москва, пр-т Вернадского, 62 "а" ООО «Фирма ЭГСИ».

Типография издательства «Чувашия».
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13.


irtschaftsmini
1687/43
dieses Geschäftszeichen und den
weiteren Schreiben anzugeben
Reichsminister für Rüstung
Kriegsproduktion - Rüstungsamt -
von Herrn Kapitän z.S. v. Henriei
- OVil -
Eilt
Geheim!
помнят роли, сыгранные ими: "Подруги" Зои Федоровой и "Двое" Виктории вошли в анналы искусства навсегда — как документы эпохи.
— Мама была у меня в гостях несколько раз,— рассказала Виктория. — Однако, когда я пригласила ее в восьмидесятом, вскоре после того как здесь выпустили мою книгу "Дочь адмирала" (отец умер в звании адмирала флота США. — маме отказывали в выдаче паспорта. Я обратилась за помощью к тому сенатору, за которого голосовала, — Бродли. После совещания в его штабе мне ответили: "Если бы мама просилась в эмиграцию, сюда, к вам, для воссоединения семьи, мы бы могли оказать какую-то помощь. В ином случае нам от невская администрация на давать кажет: "Давать или не давать выездной паспорт для поездки в гости — наше внутреннее дело..."
жизни, двенадцать
экземпляров; ныне тираж
Год жизни - это и мало
Тысячи писем, поступ
мотают нам
1. В
2.
, дел
ское С
3.
вы!
4.
упники,
е место
5.
и сможет ть все наши экон
истративной Системы!"
6. Продолжать борьбу
щи и вз точничества.
7. Выступать против той с е к
ну и его банде создать камеры
ики, Катыни, а его ученикам - п
так, "Совершенно Секретно" - эт
а этом мы стояли и будем стоять.
приветствия от Библейского Общест
ктеров, художников, режиссеров,
schaftsministeri
7/43
Geschäftszeichen und den
eren Schreiben anzugeben
ister für Rüstung
Rüstungsamt -
z.S. v. Henriei
Eilt
Geheim!
Fernsprecher: Ortsdienst Nr. 16 43 51
Ferndienst Nr. 16 41 21
дивенчества:
в квартиру, накор
и пьяница, приходящий
юги, так и впояне прис-
ния пропагандистской ше-
. Поэтому следует отве-
перед самим собою,
б"ективно.
арант. Оно обязана
самовыявление,- это
розить рост заработной
фляции (при том,
ны на рынке - рыноч-
ому, сколько труда
елей в продукт) буд
могут
ктом.
положения?
ос трудно ответить,
, которые облегча
вающей") стра-

60p.